А·ФАДЕЕВ

А·ФАДЕЕВ
1



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

А·ФАДЕЕВ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В
СЕМИ
ТОМАХ



Под общей редакцией

Е. Ф. КНИПОВИЧ, В. М. ОЗЕРОВА,
Б. Н. ПОЛЕВОГО, С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1969

А·ФАДЕЕВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ТОМ ПЕРВЫЙ



РАЗГРОМ

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1969

Р 2
Ф 15

Вступительная статья *В. Озерова*

Примечания *В. Озерова* («Разгром»),
Б. Беляева (Повести и рассказы)

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШОВА

7-3-2
Подп. изд.



ПЕВЕЦ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ

СИЛА ПРОЛЕТАРСКОГО ЕДИНСТВА

В Чугуевку вошел партизанский отряд.

Уже не первый раз встречало это большое село, раскинувшееся под отрогами хребта Сихотэ-Алинь, людей с винтовками. Была осень 1919 года. На Дальнем Востоке бушевала гражданская война, через село то и дело проходили военные части. Красных партизан здесь знали хорошо, помогали им, чем могли, восхищались их отвагой и бескорыстием, считали совершенно естественной бесшабашную удаль.

Но этот отряд казался необычным. Он скорее походил на регулярную часть: все бойцы в одинаковых шинелях, строго выдерживают равнение, четко печатают шаг, соблюдают предельный порядок на привале. И название у отряда такое, какое ни у кого другого не встречалось, — на алом полотнище вытканы слова: «Особый коммунистический».

Когда Саша Фадеев и его двоюродный брат вернулись с мельницы, где они работали, их встретили взволнованными рассказами о прибывших. Все уже знали, что отряд был создан на свиягинском лесопильном заводе, в него вступили рабочие-коммунисты. Сражаться в таком отряде было большой честью. И в тот же день Фадеев вступил в его ряды, вместе с бойцами «Особого коммунистического» он участвовал во многих боях и походах.

Случайно ли сошлись их дороги — кадровых рабочих-коммунистов и восемнадцатилетнего юноши из интеллигентной семьи, вчерашнего ученика коммерческого училища?

Вспомним, к каким кругам русской интеллигенции принадлежал Александр Фадеев. За его плечами были поколения демократической интеллигенции, беззаветно боровшейся с самодержавием, шедшей «в народ», погибавшей в тюрьмах и ссылках, мечтавшей о революции. Родители Фадеева встретились в тюрьме: юной петербургской курсистке было поручено под видом «невесты» пойти с передачей к арестованному революционеру. Знакомство переросло в дружбу, в любовь. В 1901 году у них родился сын — Александр. Потом жизнь сложилась так, что они расстались. Но избранной цели оба остались верны. Отец Фадеева, человек несгибаемой воли и аскетического характера, прошел через сибирскую каторгу и умер от туберкулеза. Мать, скромная фельдшерица, пользовалась любовью и уважением окружающих. Вторым ее мужем — отчимом и воспитателем Александра — стал Глеб Владиславович Свитыч, активный участник революции 1905 года, член Виленского социал-демократического комитета. Семья переехала на Дальний Восток, и здесь прошло детство Фадеева, трудовое детство мальчика, умевшего пахать и косить, запрячь лошадь, колоть дрова, мыть полы, штопать одежду.

Фадеев был влюблен в могучую природу Приморья с курящимися сопками, великанами-кедрами, разливами непокорных рек, в сильных и мужественных людей — русских переселенцев, туземцев-гольдов, рыбаков и звероловов. Зачитывался Майн-Ридом, Фенимором Купером, Джеком Лондоном, сам пробовал сочинять рассказы и повести о вольнолюбивых индейцах.

В наивные, часто абстрактные представления юноши жизнь внесла свои коррективы, втянув его в водоворот классовой борьбы. Фадеева с детства окружали люди передовых взглядов, высоких принципов. Во время учебы во Владивостокском коммерческом училище он жил у своей тетки Марии Владимировны Сибирцевой. В ее доме собиралась революционно настроенная молодежь. Саша подружился со своими двоюродными братьями — Всеволодом и Игорем Сибирцевыми, впоследствии видными деятелями советского Дальнего Востока (оба героически погибли: Всеволода японцы сожгли вместе с Сергеем Лазо в топке паровоза, Игорь был ранен в бою и, чтобы не попасть в руки врага, застрелился). Близкими друзьями Фадеева стали юноши и девушки, которых за смелые убеждения и поступки прозвали «соколятами»: Петр Нерезов, Гриша Билименко, Яша Голомбик и другие. Все они вспоминали о своем содружестве как о своеобразной «коммуне». Такой она запомнилась и Фадееву: «Мы все были влюблены в кого-нибудь, делились этим «тайным тайных», сочувствовали успехам и неудачам друг друга в любви, верили

друг другу во всем. Мы презирали деньги, собственность. Кошелек у нас был общий. Мы менялись одеждами, когда возникала к тому потребность. Как мы были счастливы!»

Уже во взрослые годы, оглядываясь на свою юность, Фадеев писал, что ему и его друзьям нетрудно было выбирать путь в жизни:

«...Полные юношеских надежд, с томиком Максима Горького и Некрасова в школьном ранце, мы вступили в революцию.

Мы полны были пафоса освободительного, потому что над Сибирью и русским Дальним Востоком утвердилась к тому времени власть адмирала Колчака, более жестокая, чем старая власть. Мы полны были пафоса патриотического, потому что родную землю топтали подкованные башмаки интервентов.

Как писатель, своим рождением я обязан этому времени».

«Соколята» активно участвовали в революционной борьбе. Устраивали ученические забастовки, создали молодежную организацию, выпускали газеты и журналы, выполняли поручения коммунистов, работая связными, распространяя прокламации.

В коммунистическую партию Фадеев вступил, едва ему исполнилось семнадцать лет. Вскоре его перебросили в освобожденные районы, и он, как уже говорилось выше, стал активным участником партизанского движения [1].

Грандиозный размах революции и ее цементирующая сила — вот что олицетворялось для Фадеева в пролетарском отряде «Особый коммунистический». Теперь в полной мере раскрылись душевные качества, нравственные возможности молодого коммуниста. Больше года Фадеев находился в рядах партизан. Сражался под Спасском и Хабаровском, был тяжело ранен. Совершал рискованные рейсы на пароходике «Пролетарий», который под дулами японских канонерок перебрасывал за Амур ценные грузы для Народно-Революционной Армии.

В феврале 1921 года Фадеева избрали делегатом на X съезд РКП(б). Вместе с другими делегатами съезда он штурмовал мятежный Кронштадт, на подступах к крепости его вторично ранило, и он несколько часов пролежал на льду Финского залива. После госпиталя вернулся в Москву и получил направление на учебу в Горную академию.

Отнюдь не академической жизнью жили студенты, еще не снявшие солдатскую шинель. Фадеев с увлечением взялся за

---

[1] Боевой молодости Фадеева посвящена автобиографическая книга «...Повесть нашей юности. Из писем и воспоминаний» (Детгиз, М. 1961, составитель С. Н. Преображенский).

учебу, одновременно вел партийную работу на одном из заводов, деятельно участвовал в общественной жизни Академии, в политических и литературных дискуссиях. Здесь опять сложился дружеский кружок, новая «коммуна», объединявшая и дальневосточников, и сегодняшних знакомцев. Общее чувство первооткрывателей нового мира, волновавшее молодежь, хорошо передано в записках Тамары Головниной:

«Несмотря на внешнюю неустроенность и весьма скудное питание (помню, что обед для сотрудников Коминтерна, где я работала, состоял из супа, приготовленного из селедочных головок и хвостов, а на второе подавалась мороженая картошка в мундире, хлеба выдавалось по двести пятьдесят граммов), несмотря на все это, мы были счастливы и вовсе не замечали этих неудобств. Мы были счастливы тем, что могли пойти в Политехнический музей слушать Маяковского, Луначарского, побывать на диспуте, где Коллонтай выступала на тему «О крылатом эросе», попасть в Колонный зал, где выступала перед студенческой аудиторией Крупская, достать билеты в Большой театр, если даже за них надо было отдать обед. Это для нас открылись двери рабфаков и вузов, мы поглощали науку не только в аудиториях своих факультетов, но ходили на лекции и по другим специальностям. Мы были переполнены пафосом строительства нового мира, и это захватывало нас».

В московской «коммуне», как некогда во владивостокской, молодежь обретала *счастье,* которое дает людям сознательная и убежденная революционная борьба — борьба за свободу человека, расцвет всех его сил и дарований. До чего далеки эти ощущения от заявлений иных толкователей нашей истории, выставляющих первое поколение строителей советского государства бездумными фанатиками!

Наоборот, глубина страстей и сила чувств отличает это героическое поколение. Ощущение характера всенародной борьбы, близкое знание тех сил, которые направляют массовое движение в русло пролетарской организованности, — с таким политическим, жизненным капиталом приступал Александр Фадеев к литературной работе. Пройдя школу революции, он сумел постичь существо внутренней перестройки людей труда, происшедшей в час крутого исторического поворота. А эти люди были ему хорошо знакомы. Когда Фадеев писал в 1922—1923 годах первые свои повести (их нередко называют рассказами) «Разлив» и «Против течения», когда в 1924—1926 годах создавал «Разгром», он щедро черпал материал из богатого запаса своих недавних впечатлений.

Произведения об уже отшумевших событиях воспринимались

читателями как весьма актуальные. Фадеев уловил главные закономерности эпохи, те связи, которые соединяют день вчерашний и день нынешний. Он осмыслил и своеобразно отобразил пафос времени.

Уже в названиях произведений Фадеева символически выражена их основная идея.

«Разлив» — это, конечно же, не только реки, вышедшие из берегов после проливных дождей. Это и стихийно поднявшиеся против старого строя народные массы. В далеком приморском селе шумят, митингуют крестьяне, пробужденные Февральской революцией, мечутся, выбирая между кулацкими подголосками, лавочником Копаем, мельником Вавилой, и большевиком — председателем сельсовета Неретиным. А в это время во всю ширь разливаются реки...

Можно ли справиться с разгулявшейся водной стихией? Этот вопрос решают Иван Неретин и его единомышленники, организуя спасение людей. Можно ли направить в нужное русло пробудившиеся массы, увлечь их не только на разрушение старого, но и на созидание нового? Такой вопрос ставят перед собой большевики, проявляя огромную волю для сплочения трудового крестьянства. Неретину приходится не только бороться с кулаками, но и обуздывать развязанные ими стихийные настроения. Но всего важнее ему — строить. Неретин хочет покончить с опискурением, уравнять гольдов в правах с русскими, мечтает о том времени, когда сюда, в глухую тайгу, проложат железную дорогу, когда горный хребет откроет свои заветные недра, а на полях будут работать электротракторы.

«Против течения» — это тоже не просто обозначение маршрута парохода, идущего вверх по реке, эвакуируя за Амур народное имущество. Это емкий образ, передающий готовность коммунистов осуществлять свои гуманистические цели наперекор всему — и выступлениям прямых врагов, и разгулу мелкобуржуазного анархизма, и любым проявлениям политической слепоты, недисциплинированности. Способностью укреплять дисциплину и умением организовывать массы измеряются коммунисты — герои произведения. Ошибка комиссара полка Челнокова непростительна, потому что он не помешал сторонникам партизанщины сорвать преобразование отряда Семенчука в регулярную часть. Зато комиссар фронта Соболь готов «идти против течения» и тащить за собой «всех, кого только можно тащить при помощи слова или нагана». Пойти «против течения» пришлось и комиссару «Пролетария» Селезневу; когда дезертиры пытались захватить пароход, — он приказал открыть по ним огонь.

Идея этого произведения получила дальнейшее развитие в варианте, опубликованном в 1934 году под названием «Рождение Амгуньского полка».

Первые повести Фадеева созданы молодым, еще неопытным писателем. Сам Фадеев с излишней категоричностью говорил об их слабости и о своем следовании литературной моде (они написаны «рубленой прозой», короткими, отрывистыми фразами), о языковых огрехах (неточные образы, излишне цветистые сравнения и метафоры и т. д.). Спору нет, этих недостатков «Разлив» и «Против течения» не лишены, как и некоторого схематизма в изображении характеров. Но тем не менее оба произведения свидетельствовали о самостоятельной идейно-эстетической позиции автора. Фадеев был в числе писателей, принесших в литературу свое, подсказанное жизнью, ви́дение революции и людей революции.

Фадеев своими произведениями спорил с теми писателями 20-х годов, которые уподобляли революцию стихийному взрыву, изображали ее в абстрактно-романтических образах. С другой стороны, он не принимал и упрощенно-натуралистического изображения жизни — в деталях быта, но без раскрытия размаха революционного движения, перспектив внутреннего роста людей.

Произведения Фадеева стоят в одном ряду с повестями и романами А. Серафимовича, Д. Фурманова, Ю. Либединского, Вс. Иванова, Л. Сейфуллиной, Л. Леонова, К. Федина, стихами В. Маяковского, Д. Бедного, пьесами В. Билль-Белоцерковского, К. Тренева и других. В этих произведениях не умалчивалось о стихийности народных восстаний, о трудности воспитания человека, выросшего в эксплуататорском обществе, об опасностях, которые таит для нестойких людей переход от политики военного коммунизма к новой экономической политике. Но разнородные впечатления объединялись признанием героики всенародной борьбы, верой в возможность и необходимость дать освобожденной человеческой энергии правильное направление на путях строительства социализма. А ведь именно об этой необходимости неустанно вновь и вновь напоминал великий Ленин.

Еще в 1918 году он писал:

«У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь» [1].

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 80.

В 1919 году В. И. Ленин вновь высказал эту же мысль:

«Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены к борьбе» [1].

Не вымышленных, сказочных, а самых обыкновенных, вполне земных людей встретил и узнал Фадеев в дни дальневосточных походов. Деятельно участвуя в организации новой армии, новых органов власти, он воочию убедился, что именно в монолитном сознательном коллективе формируется яркая человеческая личность, способная очиститься от пережитков капитализма, взяться за строительство «действительно могучей и обильной Руси».

О борьбе за создание и упрочение такого коллектива и рассказано в «Разливе» и «Против течения». О том, как рождается и формируется в огне революции отдельная личность, будущий строитель социализма, писателю еще предстояло рассказать.

МЕЧТА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Выполнить эту нелегкую художественную задачу Фадееву снова помогла сама жизнь. Тесные связи с людьми, активная работа в массах дали ему возможность близко узнать ту самую «будничную сторону» действительности, к познанию которой звал литераторов В. И. Ленин.

Академию Фадеев окончить не успел — весной 1924 года его направили на партийную работу, вначале в Краснодар, затем в Ростов-на-Дону. Он снова жил среди тех, с кем познакомился на партизанских тропах, жил их заботами — секретарь райкома партии в Краснодаре, — вникал в повседневные дела рабочих, студентов, комсомольцев, партийного актива, часто бывал в казачьих станицах. Затем Фадеев перешел на работу в ростовскую газету «Советский Юг». Он смог близко изучить самых разных людей — и горожан, и крестьян, и донецких шахтеров. На каждом шагу Фадеев убеждался, сколь сложен и богат внутренний мир людей труда, как важно художнику глубже проникнуть в него.

Никому не известно, говорил Фадеев, какими словами можно выразить в искусстве невиданный переворот в жизни, в быту, в сознании людей. В то же время он опирался на опыт классиков, Фадеев считал себя учеником Горького, мастерски изоб-

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 54.

ражавшего силу и красоту нового, побеждающего. Все больше задумывался молодой писатель об удивительном умении Л. Н. Толстого передать «диалектику души», раскрыть противоречивый процесс нравственного развития человека.

Имя Л. Н. Толстого постоянно всплывает в высказываниях строителей молодой советской культуры. На его шедеврах они учились искусству изображения характеров, внутреннего мира героев. «Реализм как основная особенность пролетарской литературы, — писал Ю. Либединский, — уже заявлял о себе в ряде хороших произведений. Но ни у кого из нас, писавших до Фадеева, этот реализм не проявил настолько своего нового качества, определенного революционным содержанием нашей жизни. Это был новый, особенный реализм, порожденный новой эпохой. Ни у кого из нас, сверстников Фадеева и его старших товарищей, он не выразился так ярко в лепке характеров, в обдуманной расстановке этих характеров, в глубине психологического проникновения и, наконец, в стройном и драматическом развитии сюжета».

Характеры, рожденные временем великого революционного переворота и выражающие это время, — таково художественное открытие Фадеева, сделавшее «Разгром» этапным произведением советской литературы.

Такое открытие оказалось тем более значительным, что Фадеев первым в советской литературе раскрыл пути становления *нового сознания и новой морали* в сложности и перспективности этого процесса. «Разгром» вновь напоминает о той монолитности революционных рядов, железной воле пролетарского авангарда, которые автор повестей «Разлив» и «Против течения» считал важнейшим условием социалистического переустройства жизни. Масса теперь изображается не суммарно, читатель видит, что плечом к плечу стоят очень несхожие люди.

О переменах в людях Фадеев по-прежнему рассказывает без какой бы то ни было велеречивости. Повествование в «Разгроме» ведется стройно и последовательно, писатель пользуется реалистическими средствами живописи, он воспроизводит быт войны, дает множество жизненных деталей, воскрешающих конкретную обстановку Дальнего Востока, партизанской борьбы. Но все описания согреты единым чувством — это мечта о новом человеке, жгучий интерес к тому прекрасному, что рождается в людях, несущих еще на себе печать старого собственнического мира.

Один за другим проходят перед нами герои «Разгрома» — их именами названы отдельные главы романа.

Морозка. Вглядываясь в облик лихого партизана, мы испытываем то счастливое чувство открытия яркого человеческого типа, которое приносит подлинно художественное произведение. Нам доставляет эстетическое наслаждение следить за перипетиями душевной жизни этого человека. Его нравственная эволюция заставляет задуматься о многом.

До вступления в партизанский отряд Морозка «не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами» и жизнь казалась ему простой, немудрящей. Воевал храбро, но порой тяготился требовательностью Левинсона. Был щедр и самоотвержен, но не видел ничего дурного в том, чтобы набить мешок дынями с крестьянского баштана. Мог и напиться вдрызг, и изругать товарища, и грубо обидеть женщину.

Боевая жизнь приносит Морозке не только воинские навыки, но и сознание своей ответственности перед коллективом, чувство гражданственности. Наблюдая начинавшуюся панику на переправе (кто-то распространил слух, что пускают газы), он из озорства хотел было «для смеху» еще сильнее «разыграть» мужиков, но одумался и взялся наводить порядок. Неожиданно Морозка «почувствовал себя большим, ответственным человеком...». Это сознание было радостным и многообещающим. Морозка учился держать себя в руках, «он невольно приобщался к той осмысленной здоровой жизни, какой, казалось, всегда живет Гончаренко...».

Многое еще предстояло преодолеть в себе Морозке, но в самом решающем — это подлинный герой, верный товарищ, самоотверженный боец. Не дрогнув, он пожертвовал собственной жизнью, поднял тревогу и предупредил отряд о вражеской засаде.

Метелица. Пастух в прошлом, непревзойденный разведчик в партизанском отряде, он тоже навечно выбрал свое место в огне классовых битв.

В ходе работы над «Разгромом» образ Метелицы переосмысливался автором. Судя по черновой рукописи, вначале Фадеев намеревался показать прежде всего физическую силу и энергию своего героя. Метелица был озлоблен старой жизнью, не верил людям и даже презирал их, считал себя — гордого и одинокого — неизмеримо выше окружающих. Работая над романом, писатель освобождает образ Метелицы от таких «демонических» черт, развивает те эпизоды, в которых раскрывается светлый ум, широта мышления его героя. Его стремительная и нервная сила, которая могла бы носить разрушительный характер, под воздействием Левинсона получила верное направление, была поставлена на службу благородному и гуманному делу.

А способен Метелица на многое. Одна из ключевых в романе — та сцена, где показан военный совет, на котором обсуждалась очередная боевая операция. Метелица предложил дерзкий и оригинальный план, свидетельствующий о его недюжинном уме.

Бакланов. Он не просто учится у Левинсона, а подражает ему во всем, даже в манере поведения. Его восторженное отношение к командиру может вызвать улыбку. Однако при этом нельзя не заметить, что́ дает эта учеба: помощник командира отряда заслужил всеобщее уважение своей спокойной энергией, четкостью, организованностью, помноженными на храбрость и самоотверженность, он один из людей, ведающих всеми отрядными делами. В финале «Разгрома» говорится о том, что в Бакланове Левинсон видит своего преемника. В рукописи романа эта мысль развивалась еще подробнее. Сила, двигавшая Левинсоном и внушавшая ему уверенность в том, что уцелевшие девятнадцать бойцов продолжат общее дело, была «не силой отдельного человека», умирающей вместе с ним, «а была силой тысяч и тысяч людей (какой горел, например, Бакланов), то есть силой неумирающей и вечной».

Герои романа демонстрируют внутренние возможности «человека массы» (выражение Горького), неиссякаемость того человеческого капитала, которым располагала революция и который сбрасывали со счетов авторы троцкистских теорий о невозможности построить в нашей стране социализм. Фадеев следовал глубоко продуманным политическим и эстетическим убеждениям. В 1932 году он так определил идею своего романа:

«Первая и основная мысль: в гражданской войне происходит отбор человеческого материала, все враждебное сметается революцией, все не способное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции, отсеивается, а все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, закаляется, растет, развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей».

Фадеев не был бы Фадеевым, остановись он на этом утверждении. Он считает необходимым тут же указать, благодаря чему осуществляются рост и закалка народных масс:

«Эта переделка людей происходит успешно потому, что революцией руководят передовые представители рабочего класса — коммунисты, которые ясно видят цель движения и которые ведут за собой более отсталых и помогают им перевоспитываться».

Исследователи иной раз спорили о том, кто является главным героем «Разгрома»: рядовой партизан или коммунист-руко-

водитель. Думается, для такого противопоставления нет оснований. Бурный рост народных масс в революции Фадеев объяснял воздействием большевистских идей и большевистского руководства. Своеобразие же характеров людей типа Левинсона во многом объясняется их ролью вожаков, организаторов масс.

Фигура Левинсона открывает галерею «людей партии» — строителей нашего государства, нарисованных советскими писателями. Художественная привлекательность этого образа в том, что он раскрыт «изнутри», озарен светом великих идей, вдохновляющих таких людей.

Как живой, встает со страниц книги невысокий рыжебородый человек, берущий не физической силой, не зычным голосом, но крепким духом, несгибаемой волей. Изображая энергичного, волевого командира, Фадеев подчеркивал необходимость для него выбрать правильную тактику, которая обеспечивает целеустремленное воздействие на людей. Когда Левинсон властным окриком останавливает панику, когда он организует переправу через трясину, в памяти всплывают коммунисты — герои первых повестей Фадеева. Но этот образ произвел огромное впечатление на читателей не сходством со своими предшественниками. В «Разгроме» художественные акценты были перенесены на мир чувств, мыслей, переживаний революционного бойца, большевистского деятеля. Внешняя неказистость, болезненность Левинсона призваны оттенить главную его силу — силу политического, нравственного влияния на окружающих. Он находит «ключик» и к Метелице, чью энергию надо направить в нужное русло, и к Бакланову, ждущему лишь сигнала к самостоятельным действиям, и к Морозке, который нуждается в строгой заботе, и ко всем остальным партизанам.

Партизанский отряд не какая-то лаборатория, в тиши которой искусственно выводят новых людей. Фадеев ни на миг не забывает о конкретности времени и места действия, о своеобразии работы большевиков с тем человеческим материалом, который давала действительность, о сложности нравственной жизни самих людей боевого авангарда.

Левинсон казался всем человеком «особой, правильной породы», вообще не подверженным душевным тревогам. В свою очередь, он привык думать, что, обремененные повседневной мелочной суетой, люди как бы передоверили ему и его товарищам самые важные свои заботы. Поэтому ему кажется нужным, выполняя роль человека сильного, «всегда идущего во главе», тщательно прятать свои сомнения, скрывать личные слабости,

строго соблюдать дистанцию между собой и подчиненными. Однако автор-то знает об этих слабостях и сомнениях. Больше того, он считает обязательным рассказать о них читателю, показать затаенные уголки души Левинсона. Вспомним, например, Левинсона в момент прорыва белоказачьей засады: изнемогавший в непрерывных испытаниях, этот железный человек «беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны...». В 20-х годах писатели нередко, рисуя смелого и бесстрашного комиссара, командира, не считали возможным изображать его колебания и растерянность. Фадеев пошел дальше своих коллег, передав и сложность нравственного состояния командира отряда, и цельность его характера, — в конечном счете Левинсон обязательно приходит к новым решениям, его воля не слабеет, а закаляется в трудностях, он, учась управлять другими, учится управлять самим собой.

Левинсон любит людей, и это любовь требовательная, деятельная. Выходец из мелкобуржуазной семьи, Левинсон задавил в себе сладкую тоску о красивых птичках, которые, как уверяет детей фотограф, вдруг вылетят из аппарата. Он ищет точек сближения мечты о новом человеке с сегодняшней действительностью. Левинсон исповедует принцип борцов и преобразователей: «Видеть все так, как оно есть, для того, чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть...»

Верностью такому принципу определяется вся жизнедеятельность Левинсона. Он остается самим собой и тогда, когда с чувством «тихого, немножко жуткого восторга» любуется дневальным, и тогда, когда силой принуждает партизана достать рыбу из реки, или предлагает сурово наказать Морозку, или конфискует единственную у корейца свинью, чтобы накормить изголодавшихся партизан.

Через весь роман проходит противопоставление действенного гуманизма гуманизму абстрактному, мелкобуржуазному. Здесь лежит водораздел между Левинсоном и Морозкой, с одной стороны, и Мечиком, с другой. Широко пользуясь приемом контрастного сопоставления персонажей, Фадеев охотно сталкивает их между собой, проверяет каждого отношением к одним и тем же ситуациям. Восторженный позер и чистюля Мечик не прочь порассуждать о высоких материях, но страшится прозы жизни. От его витийства только вред: он отравил последние минуты Фролову, рассказав о конце, который его ждет, устраивал истерику, когда у корейца отбирали свинью. Плохой товарищ, нерадивый партизан, Мечик считал себя выше, культурнее, чище таких, как Морозка. Проверка жизнью показала иное: героизм, самоотверженность ординарца и трусость белокурого красавчика,

предавшего отряд, чтобы спасти собственную шкуру. Мечик оказался антиподом и Левинсону. Командир отряда быстро понял, какой это ленивый и безвольный человечишка, «никчемный пустоцвет». Мечик сродни анархисту и дезертиру Чижу, богобоязненному шарлатану Пике.

Фальшивый гуманизм был ненавистен Фадееву. Он, безапелляционно отвергавший абстрактно-романтическую эстетику, запальчиво отрицавший в это время Шиллера, на деле не только мастерски анализировал реальные будни противоречивой действительности, но и смотрел на них с высоты целей и идеалов «третьей действительности», как именовал будущее Горький. Внешнему, показному в «Разгроме» противостоит внутренне значительное, истинное, и в этом смысле сравнение образов Морозки и Мечика представляется чрезвычайно важным.

Утверждая героику борьбы, красоту души революционного бойца, писатель избегал художественных приемов внешнего живописания. «Разгром» написан строгими, даже суровыми красками, в нем нет тех словесно-образных излишеств, которые довольно часто встречались в «Разливе» и «Против течения». Фадеев при работе над романом переписывал некоторые страницы по семь, восемь, десять раз. Он добивался предельной экономичности и сгущенности в развитии действия, освобождался от надуманных сравнений, изощренных метафор.

Не принимая искусственности и нарочитости в изображении людей, Фадеев стремился показывать их во плоти и крови, заботился о пластичности любого образа. Внутренние состояния героев «Разгрома» выявляются и прямым описанием, и через характерные внешние их черты, постоянно повторяющиеся портретные детали (глубокие, как озера, глаза Левинсона), и путем соотнесения с миром природы (гнев Морозки утихал, пока он ехал через озаренную солнцем тайгу). Автор не рисует широкой панорамы событий жизни героев, не воспроизводит их биографии, ему всего важнее уловить кульминацию духовного развития, в которой и проявляется все, чего они достигли.

МАСШТАБЫ ИСТОРИИ, КРИТЕРИИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Бывают впечатления, которые как бы синтезируют все, что видит и чувствует человек.

Для юноши Фадеева это — встречи с героическими борцами революции: с братьями Сибирцевыми, Сергеем Лазо, с партизанами из «Особого коммунистического».

Для молодого писателя, создавшего «Разгром» и задумавшего новые художественные произведения, — это пристальные наблюдения над очень разнородными фактами тех лет.

Вот свой же брат, ростовский газетчик, начинающий литератор Павел Максимов. Он пользуется уважением в коллективе «Советского Юга», написал интересные рассказы. Но беспокойная натура не дает ему покоя. Максимов уверен: для того, чтобы еще ближе узнать жизнь и стать писателем-профессионалом, он должен оставить службу, постранствовать по земле. Часами беседовали они вдвоем, обсуждая планы Максимова, взвешивая предстоящие трудности. Фадеев снова и снова напоминал об этих трудностях, но уже загодя знал о той резолюции, которую напишет на заявлении: «Освободить по собственному желанию». Да и что в этом удивительного! Время было богато людьми сходной судьбы. Совсем недавно Фадеев с интересом читал стихи одного селькора, а вскоре ему пришлось писать рецензию-некролог. Парня убили бандиты, и, сообщая об этом читателям, Фадеев особо отметил жизнеутверждающий тон его стихотворений.

Влюбленность в жизнь, горячее желание своими руками строить и перестраивать ее отличало поколение людей, только вчера еще завоевавших право на это. Но Фадееву доводилось встречать не только таких людей.

Вот группа студентов ростовского пединститута. Они выросли уже при новом строе, не знали нужды и лишений. Все бы, казалось, хорошо, но вдруг газеты сообщают страшную весть: одну из девушек по ее собственному настоянию задушил студент-однокурсник. Следствие раскрыло предысторию трагедии. Выяснилось, что эта группа объединяла молодых людей, разочаровавшихся в жизни, занимавшихся чтением философов-идеалистов и мракобесов, всякого рода кликушеством. В архиве Фадеева сохранились материалы судебного процесса, вырезки из газет. Отчеркнутые места свидетельствуют о том, как поразил писателя этот факт. В нем Фадеев увидел зримое проявление жестоких жизненных противоречий, борьбы старого и нового в быту, в психологии людей. Той самой борьбы, которую он близко наблюдал в кубанских станицах, а позднее в Ярославле, в Москве, куда Фадеев переехал в конце 1926 года.

Переезд в Москву был не только переходом на профессиональную литературную работу. Начинался новый этап жизни видного политического деятеля. Он стал одним из руководителей писательской организации страны, участником идейных и литературных сражений своего времени. Опыт партийно-политической работы, обилие писательских впечатлений, упорная теоретическая

учеба — все это способствовало стремительному духовному развитию Фадеева.

Не всем писателям удалось сразу же разобраться в весьма непростой обстановке 20-х годов, в существе общественно-политических событий, борьбы различных литературных тенденций и группировок. К мнению Фадеева его товарищи прислушивались с большим уважением. К примеру, молодая писательница Анна Караваева, которую уговорили вступить в «Перевал», вскоре стала задумываться, насколько правильным был этот ее шаг. Со своими раздумьями и сомнениями она обратилась к Фадееву. Он подробно рассказал о том, что происходит в литературе, каков истинный смысл эстетических теорий и художественной практики «Перевала» и других писательских группировок. Эта беседа имела огромное значение для Караваевой.

«В высказываниях Фадеева, — писала она много лет спустя, — как еще никогда до этого, я как бы увидела картину бытия советской литературы, ее поколений, жизненно и философски разноликих, с неизбежными противоречиями и сложностями идейной борьбы».

Четко ориентироваться в кажущемся хаосе взглядов, концепций, течений Фадеев мог потому, что обладал верным компасом — партийным подходом ко всему происходящему. Он сочетал в себе энергичного работника, проверяющего свои действия соответствием передовой теории, и мыслителя, озабоченного тем, чтобы повседневными делами утверждать свои идеи. Фадеев — писатель и литературный деятель неотделим от Фадеева — автора ряда статей и докладов о самых актуальных политических и художественных проблемах. В основе его эстетических исканий — мысль о многогранном и полнокровном изображении новой жизни в ее реальности и ее перспективах. Фадеев решительно отвергал теории, узаконивающие произвольные, субъективистские воззрения на искусство.

Бой велся на два фронта.

Фадеев глубоко разобрался в идеалистической сущности высказываний «перевальцев», которые отстаивали приоритет «непосредственных впечатлений», игнорировали социальные корни поведения и мышления людей. Проникать во внутренний мир героев — вот чего требовал от себя и других литераторов Фадеев, осуждая, как сказано в одном из его писем, всякий «психологизм» *самодовлеющего* характера.

Другим противником Фадеев считал схематизм, однолинейность, механическое прикрепление персонажей к классовому признаку, должностной функции. Лефовский «культ факта» пред-

ставлялся ему губительным для искусства, поскольку обрекал художников на описательность, фактографию.

В полемике с упрощенчеством и схематизмом родилась теория «живого человека». Ее сторонники, и Фадеев в их числе, стояли за то, чтобы очищать наблюдения от всего внешнего, наносного и, по-толстовски «срывая маски», идти в глубь явлений, фактов, характеров, показывать душевную жизнь людей во всей ее сложности, противоречиях, диалектике развития. Понятное само по себе требование, однако, нередко приводило к той «самодовлеющей» психологии, против которой выступали его авторы. Впрочем, им нужно было уточнять и многое другое. Лозунг «диалектического метода» в художественном творчестве зачастую отождествлялся тогда с философским методом, недоверчивое отношение к псевдоромантике переносилось на романтику вообще и т. д.

Фадеев и его товарищи *первыми* брались за выяснение отличительных черт нового искусства, и не удивительны допускавшиеся ими ошибки и неточности. Разрастаясь, эти ошибки могли привести к губительным последствиям, как это и случилось впоследствии с руководителями РАПП, которые оказались в тенетах групповщины и грубого администраторства. Фадеев, являвшийся одним из активных деятелей РАПП, признавал свою ответственность за допускавшиеся ошибки и много сделал, чтобы исправить их. Не всегда и не сразу он находил верные решения. Но Фадеев никогда не боялся уточнять высказанные положения, выдвигал новые, подсказанные жизнью, совершенствовал стиль и методы своей практической работы. Для него характерен историзм в подходе к настоящему и прошлому.

По-прежнему обращаясь к темам гражданской войны, Фадеев стремится еще глубже понять самый ход истории, осмыслить масштабы исторического развития, его внутренние закономерности. К этим закономерностям он относит процессы, происходящие в гуще масс и знаменующиеся бурным ростом человеческих индивидуальностей. Оценивая меру гуманизма, значение личности, Фадеев не признает какого бы то ни было противопоставления масштабности исторического развития и нравственных критериев человечности. Кстати, тягу к созданию произведений о «судьбе народной — судьбе человеческой» вместе с Фадеевым испытывал тогда ряд писателей: А. Толстой с его «Хождением по мукам», М. Шолохов с «Тихим Доном», В. Маяковский с «Хорошо!» и другие.

О создании эпического произведения, посвященного гражданской войне, Фадеев мечтал еще в то время, когда начинал работу над «Разгромом». В его архиве сохранились наброски не осуще-

ствленных тогда произведений. Почти одновременно шла работа над двумя эпическими вещами: «Провинция» и «Последний из тазов». Первое осталось лишь в набросках, второе — под названием «Последний из удэге» — публиковалось в течение почти десяти лет. К сожалению, и этот роман автор не успел завершить.

И опубликованное ранее, и только что задуманное Фадеевым сближает прежде всего глубокий психологизм. Не менее существенны и различия. «Разгром» локален не только по месту, но и по времени действия, биографии героев в этом романе не прослеживаются подробно, круг действующих лиц ограничен преимущественно бойцами партизанского отряда. А в «Последнем из удэге» писатель намеревался показать большую полосу жизни своих героев, их взаимоотношения с разными социальными слоями. Применительно к «Последнему из удэге» можно с полным правом говорить и о многоплановости повествования, и о его глубочайшем психологизме.

Действие романа охватывает два с небольшим месяца драматического и трагического 1919 года в Приморье. Однако автору понадобилось вернуться на несколько лет назад, чтобы показать, чем жило общество в канун революции. Да и само это общество выступает в многообразии классов, социальных групп и прослоек, национальностей, индивидуальных судеб. На страницах романа мы знакомимся с пролетариями старших поколений и рабочей молодежью, с крестьянами-тружениками и кулачеством, ориентирующимся на Америку, с семьями русского интеллигента и владивостокского миллионера. Перед нами люди, стоящие по разные стороны баррикады: большевики-подпольщики, красные партизаны, белогвардейцы, японские оккупанты. Вопрос о классовом самоопределении властно встал перед народами Дальнего Востока. В лагере революции — племя удэге, которое при капитализме было обречено на вымирание, лучшие представители корейского и китайского народов; в лагере контрреволюции — китайские хунхузы.

Фадеев стремился к своеобразной панорамности изображения, не упуская при этом из виду сложности и драматизма исторических событий, человеческих биографий. Автор романа был верен мысли, которую однажды высказал, прочитав горьковскую «Жизнь Клима Самгина»: «Синтез нужен такой, чтобы соединял всю полноту реалистического анализа и показа всего многообразия и пестроты действительности». В достаточно полной картине периода гражданской войны отчетливо раскрыта сложность движения разных людей к революции.

Поэтому так и убеждают страницы, посвященные Лене Костенецкой, что здесь нет какой бы то ни было облегченности,

искусственного выпрямления пути героини романа. Фадеев внимательно, как беспощадно правдивый художник, показывает поступки Лены, в том числе и такие, которые могли бы смутить приверженцев готовых литературных штампов. В итоге читатель проникается глубоким доверием ко всему сказанному об этой своенравной девушке.

Жизнь Лены сложилась так, что она оказалась в самой гуще политических, нравственных, психологических противоречий времени. И автору важно показать главные этапы этого «хождения по мукам». Дочь бедного сельского врача, Лена выросла и воспиталась в семье миллионера Гиммера; чтобы перейти в демократический лагерь, ей надо не только окончательно осудить свое окружение, но и пересмотреть собственные представления о главных жизненных ценностях.

Политически совсем неподготовленный человек, Лена верила в добро «вообще», правду «вообще». В рукописных вариантах 1931—1932 годов Фадеев отождествлял внутреннюю эволюцию своей героини с правдоискательством, с поисками «простого и настоящего». Она проходит через многие разочарования: в окружающих ее людях, в любви, в общественной деятельности на ниве либеральной благотворительности. Изображая эти поиски, Фадеев вновь обращался к творческому опыту Л. Н. Толстого, с его мастерством обнажения «тайного тайных», раскрытия диалектики души, выявления противоречивости кажущегося и действительного.

Эта противоречивость раскрыта в романе и на примере Сережи Костенецкого — брата Лены, раскрыта, так сказать, с другой стороны. Сережа сразу нашел свое место среди революционеров, но вначале воспринимал происходящее в духе книжной романтики. Вовремя осознав, что высший героизм — в спокойном мужестве пролетариев, в их выдержке и дисциплинированности, юноша получил противоядие от тех заблуждений, которые стали столь пагубными для Мечика из «Разгрома».

Движение к ясности миропонимания Фадеев не уравнивал с движением к упрощенности. Основной темой, давшей название его роману, была тема удэге. Переосмысливая Ф. Купера, Фадеев вступал в полемику с ним: советский писатель хотел показать, что первобытность, при всей патриархальной чистоте нравов, ни в коем случае не может быть идеалом. Мало привлекательного в застойном племенном быте, который наблюдает Сережа, попав в стойбище удэге. Это их вчерашний день, на дорогу возрождения этот народ выведет только борьба за социальную и национальную свободу.

Критика тех лет часто отказывала роману Фадеева в злободневном звучании, поскольку в нем не изображены непосредственно события современности. На самом же деле роман приобрел остро современный характер, так как в годы наступления социализма по всему фронту он утверждал неизбежность победы социалистических начал народного бытия, перестройки на социалистический лад сознания интеллигенции, многомиллионных масс крестьянства.

Современность произведения — и в поэтизации новых духовных, нравственных качеств. В романе живет не только мечта о новом человеке. Черты его автор обнаруживает в рядовых тружениках, живущих еще в условиях старого, собственнического мира. В той же черновой записи 1931—1932 годов была обозначена сцена, которой в романе предстояло стать одной из первостепенных: в больнице ее отца Лена наблюдает пришедших на прием пациентов, перед ней открывается «картина болезней и уродств... и проступающие во всем ум и красота, сливающиеся в образ «прекрасного». В романе эта запись была развернута в яркую сцену. Лене бросаются в глаза прежде всего язвы, ушибы, уродства. Но, поближе присматриваясь к людям, она улавливает в них нечто иное.

«В то же время она замечала, что у крестьянина, мучившегося животом, были ясные, почти детские синие глаза, а у девушки с забинтованной головой — стройные смуглые ноги, — бедра ее, обозначавшиеся под клетчатой юбкой, полны были женственной мощи, а у парня с огромным кровоподтеком на плече — могучая шея, атласное мускулистое тело, а глаза рано постаревшей женщины, смотревшие поверх людей, светились умным, подлинно человеческим выражением.

Во всех этих людях, каждый из которых страдал, отмеченный болезнью или уродством, были как бы заключены разрозненные части и стороны цельного образа, полного красоты и сил,— нужно было, казалось, только усилие, чтобы он воссоединился, сбросил с себя все и пошел».

В годы революции люди сделали это усилие. Автор «Последнего из удэге» подчеркивает высокую человечность борцов — для них «простое» и «настоящее» естественно уживаются в служении общему делу. Сколько ни мучили белые палачи схваченного ими рабочего Игната Саенко, прозванного Пташкой, они не могли сломить его дух. Для него мысль выдать товарищей «была так же неестественна.., как неестественна была бы для него мысль о том, что можно облегчить свою судьбу, если начать питаться человеческим мясом». Он знал, что палачи не только сами перестали

быть людьми, — «главное, чего не могли они теперь простить Пташке, это как раз то, что он был человек среди них и знал великую цену всему созданному руками и разумом людей и посягал на блага и красоту мира и для себя, и для всех людей».

Внимательный читатель заметит: в романе Фадеева появляются и усиливаются новые интонации. Здесь нет того настороженного отношения к романтике, которое явственно ощущалось в «Разгроме». В романтическом ореоле нарисованы люди, совершающие подвиги, такие, как Пташка, как крестьянский богатырь Игнат Борисов. Приподнятое настроение создают в романе многие сцены, например, та, где поют «Трансвааль». Пронзительным лиризмом проникнуты страницы о взаимоотношениях боевых друзей Алеши Маленького, Петра Суркова, Сени Кудрявого; высказывания Алеши о дружбе предваряют соответствующий монолог из «Молодой гвардии». Автокомментарии становятся неотделимой частицей повествования.

Исследователи справедливо отмечали известную разностильность «Последнего из удэге». Это произведение не очень соразмерно с точки зрения композиционного построения (в первых двух книгах неправомерное место заняла линия Лены), романтическая и «критико-реалистические» струи не всегда сливаются.

30-е годы продемонстрировали силу тех человеческих возможностей, которые Фадеев и некоторые другие авторы книг о гражданской войне приметили у тружеников, пробужденных революцией к новой жизни. Гигантский размах социалистического строительства, дерзкие свершения отважных людей, удостоенных только что установленного почетного звания Героя Советского Союза, обсуждение и утверждение Конституции победившего социалистического государства, многочисленные факты политической зрелости народа, — записные книжки Фадеева содержат выразительные приметы невиданного общественного подъема.

Поездки в середине 30-х годов на родной Дальний Восток помогли писателю вырваться за рамки становившегося уже привычным и утомительным литературного окружения, увидеть несказанно преобразившийся край. В рассказе «Землетрясение» Фадеев описал взрыв горного перевала, осуществленный строителями железной дороги словно во исполнение мечтаний Неретина из «Разлива» о преобразовании дальневосточной глухомани. В рассказе «О бедности и богатстве» воспроизведены перемены в нравственных представлениях людей: теперь нельзя хоть в какой-то мере оправдывать бедность, в реальной жизни создаются условия для расцвета личности. «Люди-красавцы», славящиеся трудом и умом своим, — вот с кем все симпатии автора.

Настроения, которые владели Фадеевым, когда он писал эти рассказы, отразились в работе над третьей и четвертой частями «Последнего из удэге». На первый план в них выдвигаются образы строителей новой жизни. Большевики-революционеры столь же деятельны, как и герои предыдущих произведений Фадеева, но автор ныне гораздо подробнее раскрывает своеобразие жизненного пути и характера, неповторимый мир чувств, мыслей, переживаний каждого. Фадеев хорошо почувствовал и передал поэзию партийной работы, интеллектуальную жизнь, по-новому складывающуюся в содружестве верных сынов пролетариата.

Работа в массах для Петра Суркова и Алеши Маленького — величайшее искусство, требующее напряжения всех сил ума и сердца. Борьба идет суровая, не оставляющая, казалось бы, места для личных чувств и симпатий. И все-таки герои романа не повторили бы тех слов о холодной и жестокой тайге, которые звучали в повести «Против течения». Показательно, что лиричнейший разговор о дружбе, взаимной заботе происходит в день жестокого боя. А каким жизнелюбием, весельем, душевной широтой веет от Петра и Алеши в минуту отдыха, когда они парятся в бане! А сколько внутреннего тепла живет в Алеше, когда он нежно прижимает к груди сверток партизанских газет — воспоминание о напряженном и радостном труде!

Романтика чистых и благородных отношений, которые связывают революционеров, отнюдь не исключает тех сложностей реального существования, о которых в эти годы напряженно думал Фадеев. Он имел в виду не только трудности и потери, неизбежные в вооруженной борьбе с коварным и опасным врагом. Коллектив единомышленников, изображенный в романе, состоит из живых людей, по-разному понимающих задачи текущего момента, тактику действия. Они считают необходимым отстаивать свои позиции даже в спорах с близкими друзьями. На наших глазах развертывается такой спор между Алешей и Петром. Фадеев проводил мысль о том, что подобные дискуссии — норма партийной жизни, абсолютно правильная, ибо без столкновения мнений невозможно революционное развитие, нет и прочного идейного единства. Ответ на споры о партизанской тактике в момент японского наступления дан в письме обкома партии, пересланном из тюрьмы. Значение этого письма невозможно переоценить: «Ни один король, царь, президент или какой-либо другой руководитель современного буржуазного государства и никакой папа, банкир или закон никогда не имели и не могли иметь такой власти над своими подчиненными, какую небольшая группа людей, сидящих за

толстыми каменными стенами, за семью замками, за сонмом часовых и надзирателей, имела на Петра, Алешу и Мартемьянова, а через них на десятки и сотни, а через этих на десятки и сотни тысяч восставших людей».

Это та сила коммунистической идейности, которая сделала Левинсона человеком «особой, правильной породы». Герои «Последнего из удэге» — представители той же «породы», но теперь Фадеев изображает уже целый коллектив работников партии. Это несхожие, ярко очерченные индивидуальности: мягкий, увлекающийся Сеня Кудрявый, честный и недалекий Мартемьянов, умный и веселый Алеша, волевой, замкнутый Петр. Мы уже, хотя и не слишком много, знаем, как формировались их характеры, помним о культурной семье Алеши, о трудном детстве Петра, которое ожесточило его почти так, как ожесточила жизнь Метелицу из «Разгрома».

В 30-е годы, когда обстоятельства заставляли вновь и вновь задумываться о человечности и общественном долге, о методах воспитания своих людей и борьбы с чуждыми людьми, в эти годы проблемы гуманизма не раз затрагивались советскими писателями. «Последний из удэге» близок магистральному потоку советской литературы, стремившейся выявить неотделимость реального и желаемого, классового и этического. Уже оказавшись среди партизан, Лена все еще не могла найти «простое и настоящее», потому что противопоставляла человечность борьбе за нее. Отсюда конфликт между ней и Петром. Петр решительно отверг абстрактные рассуждения Лены о «бескостном гуманизме», о недопустимости насилия над будто бы не представляющими угрозы «призраками» старого мира. Он требует непримиримости в борьбе с этими поныне опаснейшими «призраками», считает такую борьбу справедливой и гуманной. Ближайшее будущее подтверждает его правоту и губительность сентиментальных заблуждений Лены. Как пишет критик Е. Книпович, Фадеев, делясь с ней планами романа, рассказывал, что «Лена в ложном своем стремлении поставить «чисто человеческое» выше политического попытается с помощью Семки Казанка освободить Лангового, которого партизаны взяли в плен».

Конфликт между подлинными и ложными гуманистами, отображенный еще в «Разгроме», занимает важнейшее место в философско-художественной концепции «Последнего из удэге». В критерий человечности автор включает реальные потребности истории, активную борьбу за действительную, а не мнимую свободу. Светом революционной романтики в «Последнем из удэге» озарены люди героического подвига и высоких этических стремлений,

люди целеустремленного действия и благородного сердца. Они еще не встали во весь рост, но в них много такого, что победно расцветет в будущем, продолжится в их преемниках — тех, кто уже явится гармонически развитыми людьми.

КРАСОТА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

К. А. Федин недаром назвал Фадеева певцом юности мира, человеком-борцом за коммунизм. В людях, с которыми сталкивала его жизнь, Фадеев всегда искал то, что отличает их как граждан нового общества, нового миросознания.

Отечественная война, продемонстрировавшая торжество нравственных качеств, о которых мечтал Левинсон и слияние которых предугадано в «Последнем из удэге», открывает новый период творчества Фадеева. В его фронтовых корреспонденциях, опубликованных в газетах и переданных по радио, в книге «Ленинград в дни блокады» оттеняются как раз величие духа, проявления человечности советских людей. «Советский строй, — писал Фадеев в 1942 году, — породил в наших людях исключительные душевные силы. В условиях советской жизни сложились прекрасные человеческие индивидуальности, объединенные общим трудом на благо родины. Эти качества души самого простого, самого рядового советского человека невиданно раскрылись в Отечественной войне».

Фадееву, обычно опиравшемуся в своем творчестве на фактический материал, нужен был лишь толчок, чтобы художественно обобщить увиденное и прочувствованное на войне. Таким толчком оказалось знакомство с историей борьбы и гибели подпольной комсомольской организации Краснодона «Молодая гвардия».

Когда в феврале 1943 года в Москве были получены сообщения о подвиге молодогвардейцев, работники Центрального комитета ВЛКСМ решили ознакомить с ними кого-нибудь из писателей. Первым собранные документы прочитал Фадеев. Он немедленно выехал в Краснодон. В этом шахтерском городке провел несколько недель. Жил у родителей юных героев, подолгу беседовал с теми, кто близко знал Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Ульяну Громову и других. Читал письма и дневники юношей и девушек. Встречался с их учителями, одноклассниками. Изучал материалы допроса предателя Кулешова, участвовавшего в расправе над молодогвардейцами. Просто бродил по улицам, на которых проходило их детство, дышал воздухом города, жившего традициями партизан гражданской войны, трудовой славой первых пятилеток.

В обилии встреч и наблюдений конкретизировались владевшие писателем мысли о моральной готовности молодого поколения к предстоящему военному испытанию. «Если бы не поехал, — вспоминал Фадеев, — то всего огромного и впечатляющего материала, который был мне вручен, было бы все же недостаточно, потому что на месте я увидел много такого, что, будь ты хоть семи пядей во лбу и как бы ты ни был талантлив, выдумать это или домыслить — невозможно».

Во время работы над «Молодой гвардией» Фадеев испытывал особое волнение. Как свидетельствует один из его друзей, писатель, читая документы о краснодонских подпольщиках, не мог удержаться от слез. По собственному признанию Фадеева, материал, с которым ему довелось ознакомиться, «мог бы камень расплавить». «Без преувеличения могу сказать, — заявлял он, — что писал я о героях Краснодона с большой любовью, отдал роману много крови сердца».

Это было не только естественное чувство современника, взволнованного огромностью драмы, которой он прикоснулся. В подвигах краснодонцев как бы синтезировалось все, что думал писатель о величественном и бурном времени. В них словно ожила собственная юность Фадеева. «Когда я начал работать над «Молодой гвардией», — рассказывал он одному из своих давних друзей, — мне казалось, что я пишу не о подпольной организации Краснодона периода второй мировой войны, а о владивостокском большевистском подполье, и передо мной проходят те юные герои, которые явились первыми молодогвардейцами в те давно прошедшие дни ожесточенной борьбы, в которой тогда принимали участие и мы с тобой в Приморье...»

В молодогвардейцах Фадеев увидел не повторение, а развитие замечательных качеств боевого поколения гражданской войны. Он заявлял о том, что на роман его «вдохновила та необыкновенная духовная цельность и моральная чистота, которые могут быть свойственны только людям, выросшим на почве честных и справедливых человеческих отношений, людям, облагороженным подлинно великой идеей».

Несгибаемыми борцами в грозный час оказались не какие-то избранные личности, а обыкновенные юноши и девушки из рядовых советских семей. Это означало, в сознании Фадеева, ликвидацию извечной межи, разделяющей будничное и прекрасное, сегодняшнее и будущее. Делясь на собрании прозаиков опытом работы над «Молодой гвардией», автор романа заметил: «Я, конечно, понял, что эти молодые люди, с одной стороны, обычные наши люди, они имеют все черты нашей молодежи, но именно

потому и стали Молодой гвардией, что они уже есть те люди, которые на каком-то историческом взлете проявили те черты, которые еще только завтра будут свойственны абсолютно всем и потянут к себе остальных.

С этой точки зрения я и считаю, что «Молодая гвардия» романтична, в ней нет идеализации, но она романтична».

Характерное признание! После завершения романа Фадеев испытывал горячую потребность объяснить и утвердить тот творческий метод, которым написана «Молодая гвардия». Ему представлялось необходимым указать на связь этого метода с самой действительностью, с героическими устремлениями и романтическими порывами людей, реально обладающих коммунистическими качествами. Фадееву было важно подчеркнуть значение романтической линии в собственном творчестве и во всей современной литературе. К слову, эта линия властно заявляла о себе в военные и первые послевоенные годы — в пьесах Вс. Вишневского, Б. Лавренева, А. Довженко, стихах Н. Тихонова, М. Алигер, С. Вургуна, повестях и романах В. Гроссмана — «Народ бессмертен», Б. Горбатова — «Непокоренные», Э. Казакевича — «Звезда», Б. Полевого — «Повесть о настоящем человеке», О. Гончара — «Знаменосцы» и других. «Молодая гвардия» Фадеева в наиболее конденсированном виде воплотила героический и романтический подход к изображению нового человека.

Автор романа, как и прежде, ставил перед собой задачу *теоретически* обосновать свой опыт. Он не ограничивался рассказом о собственной творческой работе, но выступил с рядом статей о романтизме и реализме. В печати развернулась дискуссия, в ходе которой высказанные с резким заострением мысли Фадеева и его единомышленников подвергались оживленному, часто весьма критическому обсуждению.

О роли романтизма, как мы уже знаем, Фадеев говорил не впервые, в 20-х годах он призывал: «Долой Шиллера!» А в 1946 году в статье «Советская литература и великие традиции классиков» выражено убеждение, что в великих произведениях искусства прошлого всегда жило романтическое начало, определяя их заражающую и возвышающую читателей силу. Коренные перемены в жизни впервые в истории мировой литературы привели к органическому слиянию ее реалистического и романтического начал, и это подымает реализм на новую, более высокую ступень. Под таким углом зрения Фадеев в ряде своих работ рассматривает теорию социалистического реализма, историю мировой литературы, актуальнейшие задачи, стоящие перед советскими писателями — его современниками. По-новому осмысляется

необходимость достижения того синтеза, охватывающего изображение «полноты» и «пестроты» действительности, о которой он писал в 30-х годах применительно к «Жизни Клима Самгина».

Фадеев был человеком увлекающимся и сам знал это. В 1947 году он заявил: «Если в одном слове объединить все мои размышления и поиски на протяжении истекших... лет, то они сведутся, в общем, к попыткам определить роль, значение и место романтизма в социалистическом реализме и собственном творчестве».

Да, правомерно говорить одновременно о теоретических вопросах и об особенностях индивидуальной писательской манеры. То и другое Фадеев никогда не разделял. Но и прямолинейное их отождествление было бы неверным.

Общетеоретические взгляды Фадеева связаны с его стремлением поднять значение революционной романтики, они обогатили эстетику социалистического реализма. Но в эти годы Фадеев склонен был абсолютизировать романтику, рассматривать ее как полноправное реализму «второе» начало современного передового искусства, равнозначное изображению светлых, положительных сторон жизни. Под реализмом же понималась не вся полнота изображения жизни, а преимущественно изображение отрицательных явлений. Как показала дискуссия тех лет, умозрительные трактовки этих понятий могли привести и приводили к весьма неточному пониманию реализма и романтизма, сводящему их либо к односторонне критической миссии (реализм), либо к одной лишь возвышающей (романтизм). Эту опасность Фадеев почувствовал. Готовя к печати сборник своих литературно-критических работ «За тридцать лет», он уточнил и прокомментировал ряд собственных высказываний. Он стал определять романтику как «художественное выражение или воплощение желаемого, должного, мечты художника». Романтическая форма, уточнял Фадеев, нужна и важна в многообразии форм социалистического реализма, являясь «одной из существенных сторон социалистического реализма».

Так обстояло дело с теоретическими формулировками и определениями. Но в какой мере все это относится к замечательному художественному произведению, созданному их автором? Отвечая на этот вопрос, критик А. Макаров вполне резонно писал: «В плане общелитературного развития точка зрения Фадеева на сущность и задачи социалистического реализма страдала явной пристрастностью и ограниченностью, она могла даже расцениваться как заблуждение, но именно этому заблуждению мы обязаны «Молодой гвардией» — этим гимном молодому поколению».

Действительно, романтические краски, избранные Фадеевым, и нужны были для выполнения поставленной им художественной задачи: воспеть юных патриотов в величии и красоте их дел, подвигов, чувств, мыслей. «Молодую гвардию» отличают экспрессивность — несравненно бо́льшая, чем в прежних произведениях Фадеева, яркость изобразительных средств, торжественная лексика, пластичность образов. К. Зелинский, Л. Киселева, А. Бушмин и другие исследователи справедливо считают лирическое начало доминантой стиля «Молодой гвардии». Многочисленные лирические отступления создают общую атмосферу романа, сближают автора и его героев, автора и читателей. Авторское лирическое начало не только пронизывает произведение, оно организует его художественную структуру. Благодаря этому в «Молодой гвардии» обретена та слитность всех элементов художественного строя романа, которой еще не было в «Последнем из удэге».

Лиризм, живущий на каждой странице романа, ничуть не противоречит эпической монументальности, с которой изображается священная война с немецко-фашистскими захватчиками. Горьковская влюбленность в нового человека — борца и победителя — движет пером автора «Молодой гвардии», помогая опоэтизировать лучшие задатки людей. Сохранил свое значение и притягательный пример Л. Н. Толстого. Развивая творческие традиции Толстого, Фадеев следует теперь в первую очередь его опыту великого живописца общенародной борьбы, выявлявшего в «Севастопольских рассказах» и эпопее «Война и мир» скрытый героизм простого русского солдата. Эти традиции сливаются с традициями героических произведений Гоголя. В «Молодой гвардии» много эпитетов интенсивной эмоциональной окраски (страшные мучения, невыносимая тоска), накопление нескольких определений при одном определяемом слове («То великая, то святая правда...»), метафорические обороты («Величие осенило их своим крылом»), торжественная лексика («Пресветлая мати-родина», «огненная купель»), широкое использование инверсий («То правда, то святая правда... То великая, то святая правда»). Герои бьются, как отважные витязи, думают великие думы, говорят высокими словами. Изображая схватку Шульги и Валько с палачами, Фадеев пользуется такими выражениями, как «рыцари», «богатырский хохот», «веселые очи», «проклятые вороги».

Художественная гармония произведения соответствует гармонической цельности его положительных героев, порожденной самой исторической эпохой. Отсюда то слияние эпического и этического, нравственного, которое всегда искал Фадеев. Полные любви к людям и к миру, увлеченные идеями добра и

красоты, молодогвардейцы без всяких колебаний вступают в борьбу с «призраками» прошлого, не дают врагу никакой пощады. Эти юноши и девушки — *одни и те же* в самых разных ситуациях: и тогда, когда их связывают узы дружбы и любви; и тогда, когда обстановка заставляет прятать свои чувства; и тогда, когда во имя дорогих идей приходится вступать в бой, применять оружие, убивать.

Это добрые и щедрые душой люди, подлинные гуманисты. Но их гуманизм — боевой, действенный гуманизм патриотов, которые органически не могут жить иной жизнью, чем жизнь советского социалистического общества. «...Ощущение отечества всегда жило в его сердце», — это, по существу, сказано не только об Анатолии Попове. «Да, я могу жить только так, или я не могу жить вовсе», — заявляет Ульяна Громова. Не приходится удивляться, что фашистскую оккупацию в семье Осьмухиных воспринимали как нечто иллюзорное, противоестественное: «Казалось, надо было просто открыть глаза — и этот мир исчезнет».

Молодогвардейцы не могут не подняться на борьбу, они находят друг друга на путях борьбы, потому что ищут форм объединения, проверенных в мирные годы и совершенно необходимых при организации подполья. Тяжела эта борьба? Разумеется! История подполья — история многочисленных лишений, краснодонцы шли на жертвы, понимая их неизбежность и ничего не жалея для победы. Но им, воспитанным в духе благородства и человеколюбия, нелегко давалась душевная перестройка, которой требовала жестокая и кровавая война. Напомним два характерных эпизода.

Готовясь к нападению на фашистский концлагерь, к жестокой схватке, юноши ненадолго оказались наедине с природой. Они любуются таинственной и прекрасной ночью, рекой, покрытой серебристой туманной дымкой, стараются отвлечься от мыслей о том, что им придется вскоре делать. И когда был подан сигнал, «то простое, естественное чувство природы и счастья жизни, которое только что владело ими, сразу их покинуло». Покинуло, чтобы вернуться вновь, когда будет завершено дело, на которое они встали и которое откроет простор для выявления всех естественных, светлых чувств человеческих.

Другая сцена — казнь предателя Фомина. Совершая ее, народные мстители испытывали священную ненависть к врагу. Однако они не могли избавиться и от чувства отвращения ко всякому убийству, даже совершенно необходимому. После казни в душе Сережи Тюленина «менялись чувство удовлетворения и

азарт удачи, и последние запоздалые вспышки мести, и страшная усталость, и желание начисто вымыться горячей водой, и необыкновенная жажда чудесного дружеского разговора о чем-то совсем-совсем далеком, очень наивном, светлом, как шепот листвы, журчание ручья или свет солнца на закрытых утомленных веках...».

Так думают и чувствуют обыкновенные советские люди, сыны и дочери рабочего класса. Но сама тональность рассказа о них выявляет необыкновенность того, что они совершают, и в этом состоит сущность фадеевской романтики. Писатель решительно отводил упрек в том, что он идеализирует своих юных героев. Молодогвардейцы изображены в сложный и острый период жизни, когда в людях раскрываются основные, лучшие стороны их души, их сознания. «Когда хотите изобразить человека с любовью,— доказывал свою мысль Фадеев,— показать его настоящие, подлинные черты, это не значит, что вы должны замалчивать в человеке его недостатки, а это значит, что способ изображения должен быть такой, когда недостатки не мешают читателю любить этого человека».

Фадеев верен своему замыслу: обнаруживать в простых, «обыкновенных» людях внутренний свет. Флегматичный и застенчивый Ваня Земнухов и внешне малопривлекателен — «длинный, нескладный, сутуловатый». Но зоркий глаз подметит в нем вдохновение, «которое таким ровным и ясным светом горело в душе его, отбрасывая на бледное лицо его какой-то дальний отсвет». Не случайно у Вани «необыкновенное лицо». «Необыкновенным человеком» называет Валя Филатова и Ульяну Громову, в которой за внешним спокойствием тоже таилось «что-то сильное, большое», а из глубины черных очей — очей, а не глаз! — «струился... влажный сильный свет».

Фадеев рисовал людей одного поколения, отмечал его общие черты, но рисовал в многообразии ярких человеческих индивидуальностей.

Богат мир чувств Ули Громовой и Олега Кошевого, обоих отличает глубина натуры. Душевная ясность у Олега сочетается с добротой и непосредственностью. Простой, естественный, общительный, он никогда не думал о том, чтобы устанавливать «дистанцию» между собой и товарищами. Олег ближе Уле, чем, скажем, Сергею Тюленину или Любе Шевцовой.

Сережа и Люба — во многом сходные натуры. Тюленин — весь порыв, движение, бьющая через край энергия. Босоногий мальчишка с азартной душой, Сережа отчаянно смел, способен на самые безрассудные поступки. Люба Шевцова аттестована в

романе «Сергеем Тюлениным в юбке». Задорная, дерзкая на язык, жившая легко и весело, она прославилась своим насмешливым презрением к немцам, вызывающей отвагой, непринужденным поведением. «Любка-артистка» увлекалась плясками, казалась всем легким, воздушным созданием, призванным порхать над землей. Любуясь ею, автор романа тем не менее опровергает такое суждение: она только играла в артистки, она просто не могла найти себя. «Какой-то живчик не давал ей покоя; ее терзали жажда славы и страшная сила самопожертвования. Безумная отвага и чувство детского, озорного, пронзительного счастья — все звало и звало ее вперед, все выше, чтобы всегда было что-то новое и чтобы всегда нужно было к чему-то стремиться».

Снова мы убеждаемся: духовная, нравственная цельность героев романа — не однолинейная, а сложная цельность. Разные качества соединяются в их характерах, и автор напоминает об этом в одном из отступлений, характеризуя все поколение молодежи военных лет с его мечтательностью и действенностью, любовью к добру и беспощадностью, признанием радостей земных и самоограничением. В романе более ста персонажей. Все они из этого самого поколения. Но каждый из них своеобразен: рядом с горячим Сережей Тюлениным — подтянутый, волевой Иван Туркенич, очень наивный Радик Юркин, чуть смешной со своими официально-серьезными речами Жора Арутюнянц и многие другие. Борьба спаяла их в единый сражающийся коллектив, каждый старался отдать максимум сил и умения той цели, ради которой они пошли в подполье.

Работая над «Молодой гвардией», Фадеев тогда еще очень мало знал о тех, кто руководил всей патриотической борьбой в Краснодоне. Подпольная партийная организация города была столь тщательно законспирирована, что о ее деятельности в подробностях стало известно лишь в 1947 году. Писатель считал, что молодежь одна, без старших, сумела развернуть и успешно осуществлять боевую деятельность, и нашел этому убедительное объяснение: сам строй социалистической жизни вооружил молодогвардейцев нравственными и практическими свойствами, которые помогли им самостоятельно действовать в трудную годину. Такая коллизия вполне правомерна, и неверно, как это иногда делалось, считать первую редакцию романа искажением жизни на том основании, что в ней недостаточно показана деятельность партийной организации, большевиков старшего поколения. Неверна, впрочем, и другая точка зрения, согласно которой вторая редакция, где художественно раскрыта роль коммунистов, будто бы означала шаг назад, была написана автором «под принужде-

нием». Нельзя не считаться с двумя объективными обстоятельствами.

Во-первых, сосредоточивая внимание на молодых героях, Фадеев не оставил намерения дать общую картину народной войны. Не имея достаточного материала, он, однако, и в первой редакции считал необходимым изобразить представителей большевистской гвардии. На страницах книги нашлось достойное место для родителей комсомольцев, рабочих, солдат, красноармейцев. Да и сами комсомольцы — не люди без роду и племени. В уже упоминавшемся выступлении на собрании прозаиков Фадеев говорил: «...Я не ставил цели дать историю Молодой гвардии, а хотел показать советского человека в оккупации — в аспекте молодежном, через молодежь, но дать разрез общества всего и — молодежь как будущее этого общества, как первый показатель его несомненного торжества».

Во-вторых, документы опровергают домысел насчет «принуждения», которому якобы подвергся Фадеев. Конечно, ему нелегко было воспринять критику, обращенную в адрес романа в 1947 году, тем более что она была чрезмерно резкой и не во всем справедливой (например, «Молодую гвардию» напрасно упрекали за картины отступления и эвакуации в начале войны). Однако он не мог не согласиться с тем, что роль партийной организации не была показана в романе с должной достоверностью. Фадеев заявлял об этом не только на официальных собраниях и в печати, но и во многих письмах, не предназначенных для публикации. Об истинной его позиции свидетельствуют и записные книжки, включенные в собрание сочинений писателя. В них содержится множество наметок тех линий, которые должны были воссоздать действие большевистского подполья, анализируется ход, движущие силы, особенности антифашистской борьбы.

Эти записи дают возможность не только заглянуть в творческую лабораторию художника, но и понять эволюцию его эстетических позиций. Фадеев не собирался ослаблять романтического звучания своего произведения, однако считал нужным внести в «Молодую гвардию» интонации, которые оказались в ней несколько приглушенными. Романтическая приподнятость повествования помогла автору передать красоту души юных патриотов, их благородство и героичность, но ему не удалось показать те конкретности жизни, которые он считал не самыми существенными, но реально существующими. Фадеев невольно упускал «механику» организации воспетых им партизанских сил. Размышляя на заседании секретариата Правления Союза писателей

СССР о случившемся с романом, он коснулся и специфики своей творческой работы: «По-видимому, я увлекся. Я увлекся молодостью, видя в ней и настоящее, и прошедшее, и будущее. И потерял чувство пропорции. И получилось объективно так, что чисто лирическое начало заслонило все остальное. Видимо, я выхватил из жизни то, что совпадало с этой лирической структурой, и проходил мимо того, что непосредственно не совпадало с ней...»

При переработке романа его композиция не перестраивалась коренным образом, образы молодогвардейцев не подвергались существенным изменениям. Фадеев написал и органично включил в текст эпизоды и главы, показывающие большевиков старшего поколения в практической работе, во взаимоотношениях друг с другом и с молодежью. В первой редакции действовали только Шульга и Валько, люди честные, смелые, но утратившие связь с массами, быстро проваливающиеся. Во второй редакции большую роль играют умелые организаторы Лютиков и Проценко. На образе Лютикова все же есть налет некоторой холодности. Проценко же и его жена выписаны очень эмоционально, они — из галереи цельных и духовно богатых людей, которых предвещали большевики предыдущего незавершенного романа Фадеева и которые узнаются в юном поколении молодогвардейцев, воспитанных социализмом. Разумеется, возраст, опыт жизни отличает их от этой молодежи, но знанием сложности этой жизни, а не скептическим к ней отношением — уделом дряхлых духом, разуверившихся или озлобленных.

Тех, кем движет лютая злоба, страсть к насилию и разрушению, Фадеев тоже изобразил. Как и в других своих произведениях, он развенчивает врагов морально, показывая не только их поступки, но и их внутреннюю пустоту и омерзительность. По-прежнему пользуется писатель приемом резко контрастного противопоставления положительных и отрицательных персонажей. Новое для него — сатирическое изображение фальшивых людишек, чему служат соответствующие художественные средства: убийственный сарказм, гротеск, иронически звучащие эпитеты и метафоры.

Фашистским солдатам и офицерам, немецким холуям Фадеев отказывает в каких бы то ни было проблесках человечности. Как и Пташка («Последний из удэге»), жители Краснодона относятся к врагу с презрением и отвращением, а не со страхом. Барон-генерал, кичившийся свой «культурностью», не умел пристойно вести себя, он не стеснялся «громко отрыгивать пищу после еды,

а, если он находился один в своей комнате, он выпускал дурной воздух из кишечника...». Немецкий адъютант был для Марины «не только не человек, а даже не скотина. Она брезговала им, как брезгают в нашем народе лягушками, ящерицами, тритонами». Скоты, думающие лишь о своей шкуре, о своем ненасытном брюхе, — бывший кулак, ныне фашистский полицай Фомин и таившийся до поры до времени накопитель, теперь бургомистр Стеценко.

Психологически сложнее образы молодых людей, духовно сломившихся в жестоких испытаниях. Их, как видно на примере Стаховича, губят болезни прошлого, ждавшие благоприятного момента для своего проявления. Создавая этот образ (он является собирательным), писатель бичевал опаснейшие пороки: крайний субъективизм, себялюбие, тщеславие, трусость. Случилось так, что в течение многих лет один из активных молодогвардейцев Виктор Третьякевич (с ним читатели соотносили образ Стаховича), считался изменником. Его оклеветал фашистский прислужник, некий Кулешов. В 1960 году в руки правосудия попал один из бывших полицаев, признавшийся, что молодогвардейцев предал Геннадий Почепцов, мерзкий трус, проникший в «Молодую гвардию». Справедливость восторжествовала, народ узнал о том, как храбро сражался комсомолец Виктор Третьякевич, как мужественно держался он во время пыток. Когда его подвели к шурфу шахты, чтобы расстрелять, он кинулся на гестаповца. Фашисты живым столкнули его в восьмидесятиметровый колодец.

Время показало, как прав был Фадеев, изменив в данном случае фамилию реального человека: писатель следовал своей главной цели — не просто фиксировать события, но художественно обобщать жизнь.

Этот принцип последовательно выдержан в романе. Некоторые действительные факты в нем изменены, передвинуты во времени, здесь немало художественного домысла, особенно тогда, когда описываются мысли и переживания персонажей.

«Я писал не подлинную историю молодогвардейцев, а роман, — говорил Фадеев, — который не только допускает, а даже предполагает художественный вымысел».

Роман Фадеева стал художественным документом незабываемой эпохи, вошел в сознание целых поколений советских людей. Если в предвоенные десятилетия наша молодежь росла и воспитывались на примере таких людей, как Павел Корчагин, то ныне рядом с Корчагиным встали герои-молодогвардейцы.

«Молодая гвардия» — последнее художественное произведение Фадеева — прозвучала вдохновенным гимном новому человеку, строителю и защитнику коммунистического общества. Советская литература достойно отобразила героических борцов за это общество — участников Великой Отечественной войны. Но в начале 50-х годов стало ясно: она сделала еще недостаточно для того, чтобы художественно ярко показать повседневную жизнь, труд, быт строителей этого общества. Больше того, появились и книги, в которых повседневность социализма изображалась как скучное прозябание маленьких, неинтересных людей, далеких от главных проблем эпохи.

Фадеев не мог согласиться с такой интерпретацией современности. Эпиграфом к «Молодой гвардии» он поставил слова молодежной песни, в которой призывается идти в бой для того, «чтоб труд владыкой мира стал и всех в одну семью спаял». В послевоенные годы Фадеев не раз говорил, что нельзя верно показать нашего современника, не раскрыв его исторической роли, не поднявшись в произведениях искусства к большим философским обобщениям. А для этого нужно понять существо повседневной жизни социалистического общества, осмыслить органическую для советского человека связь трудовой, общественно-политической деятельности и всех его нравственных устремлений. Недостаточно повторять прежнюю формулу гуманистов о человеке, прекрасном «самом по себе», независимо от его деяния. «Нравственное образование необходимо нам и сегодня, как воздух. Но наш социалистический гуманизм говорит о том, что для нас человек, который не проявляет себя в деянии, даже и не человек. Высшая нравственность у нас — в труде, в отношении к труду. Мы должны показывать человека разносторонне, целостно, и мы не можем показывать человека вне труда. В этом наша новаторская задача».

В творческих планах Фадеева — роман о современности «Черная металлургия», где главными действующими лицами должны были стать рабочие и инженеры, металлурги. Писатель собирался подробно осветить их труд, конфликты, связанные с внедрением крупного изобретения, общественную деятельность многих мужчин и женщин, их бытовые и семейные отношения, жизнь молодежи, проблемы культурного строительства. Приступая к роману, он взялся детально изучить все: технологию производства и работу партийных, комсомольских организаций, поиск современной рационализаторской мысли и положение с женским, юношеским

трудом, организацию политической учебы и специальную литературу, систему руководства промышленностью и труд домохозяйки. Фадеев часто встречался с учеными, работниками министерств, много ездил на стройки и заводы, подолгу жил в рабочих центрах, стремясь поближе узнать будничные интересы своих будущих героев. В письме А. Ф. Колесниковой он так объяснял цель своих поездок: ему нужно было проникнуть «в так называемую «обыкновенную», а на самом деле такую необыкновенную, полную труда, дум и страстей — жизнь». «...Обыкновенная жизнь обыкновенных людей влекла меня к себе, — рассказывает он в письме к К. Н. Стрельченко о пребывании в Челябинске, — ...здесь все было «наружу». Здесь и грубое и злое заявляло о себе, но тем трогательнее выглядели девочки в «форменных» платьицах и тем прекраснее были лица женщин, встречавших мужей, потоком возвращавшихся с утренней смены». В этом же письме автор вспоминает, что ему хотелось «приобщиться к каждой из этих жизней — с ее противоречиями и с ее радостями».

Снова, как и четверть века тому назад, Фадеев обращался к будням жизни, к глубинным ее противоречиям. Это ничуть не означало отказа от тех романтических красок, которые он стал включать в арсенал своих изобразительных средств. Но теперь Фадеев резче высказывается против попыток идеализации жизни. И он стремится показать не только прямо враждебные социализму силы, воскресающих в трудный момент «призраков», но и конфликты, возникающие внутри советского общества, борьбу между новаторами и рутинерами, между коммунистическими и обывательскими взглядами на труд. В выступлениях по вопросам драматургии Фадеев отмечает важность раскрытия острых конфликтов современности, которые «нельзя выдумать из головы, их можно постичь только в реальной действительности». Не получаются те произведения, где «не найдена новая природа конфликта и герой не показан в главном проявлении своей человеческой сущности — в труде, в деянии». При этом надо быть не рабом, а хозяином конфликта. «Только тот, кто находится во всеоружии современного положительного начала и смотрит вперед, только тот может во всю силу показать и величие, и напряжение, и трудности борьбы в конфликте эпохи... Если писатель может изобразить нашего человека во всю силу его душевных качеств, такой писатель — хозяин конфликта, и ему ничто не страшно, он может показать и все трудности, и недостатки, и противоречия».

О величии и напряжении борьбы за экономику и мораль коммунизма и должен был повествовать роман «Черная

металлургия». Он остался незавершенным — писатель успел закончить восемь глав и сделал ряд черновых набросков отдельных сцен. Но и эти фрагменты, включенные ныне в сочинения Фадеева, дают представление о его творческих поисках. Бытовые зарисовки он предполагал перемежать размышлениями о политических и этических проблемах времени, производственные конфликты — трактовать как конфликты общественного, нравственного характера. Подчеркнуто полемическое название романа так расшифровывалось автором:

«Черная металлургия! Человек *организует* огненную стихию. Жаркое пламя в печах, в которых переплавляется, *переделывается* шихта — сырье, каким человек получает его от природы.

«Черная металлургия» — роман о великой переплавке, переделке, перевоспитании самого человека, превращении его из человека, каким он вышел из эксплуататорского общества, — и даже в современных молодых поколениях еще наследует черты этого общества, — превращение его в человека коммунистического общества».

Роман был задуман как широкая картина современной жизни, народной борьбы за коммунизм. Автор хотел ответить им на эстетические вопросы времени. К сожалению, на пути к этому оказалось немало препятствий объективного и субъективного свойства.

Очень нелегким для Фадеева были последние годы его жизни. Он подолгу болел, и болезнь выбивала его из рабочего состояния, мешала выполнению общественных обязанностей. Да и этих обязанностей было слишком много, не все удавалось выполнить, как хотелось, что в свою очередь мучило Фадеева. Непросто давалась ему и перестройка работы Союза писателей, собственной работы, которой предстояло заняться после 1953 года. Фадеев исключительно болезненно переживал ошибки прошлых лет. Он серьезно потрудился над их исправлением, но ему казалось, что он сделал меньше, чем надо. К тому же создалась очень трудная ситуация с его собственным романом.

В основе произведения лежали конфликты, соответственным образом делившие персонажей на два противоположных лагеря. Эти конфликты были взяты из жизни, опирались на реальные факты. Впоследствии, однако, выяснилось, что технические открытия, объявленные «революцией в металлургии», на самом деле были бесперспективными прожектами, а изобретатели, которым автор думал отдать свои симпатии, — лженоваторами. Сложившийся план романа нуждался в такой решительной перестройке, которая требовала полного напряжения физических и духовных сил.

А этих сил у Фадеева не было. Справиться с прогрессирующей болезнью, найти выход писатель не смог; 13 мая 1956 года, в момент душевной депрессии, он покончил самоубийством.

После себя Фадеев оставил не только наброски неоконченной, но и продуманный план своей новой, в основном подготовленной книги. Это был сборник литературно-критических выступлений писателя «За тридцать лет», вышедший уже после его смерти.

В сборнике представлены и ранние работы Фадеева, и статьи, речи, письма последних его лет. В нем, как в зеркале, отражены многолетние теоретические и художественные искания крупного мастера советской литературы, настойчиво отстаивавшего и развивавшего метод социалистического реализма, ленинские принципы партийности, идейности, народности искусства.

Перечитывая включенные в сборник статьи, речи, письма, дневниковые записи, наглядно видишь творческий характер исканий, которыми занимались Фадеев и его товарищи по литературному делу. Верность единым идейно-эстетическим принципам определила их путь к новым художественным завоеваниям. С каждым годом Фадеев все решительнее ставил вопрос о необходимости смелого расширения художественного диапазона социалистического реализма, о широте и многообразии нового творческого метода.

Как уже отмечалось, Фадеев не избежал известных односторонностей, полемических увлечений в своем творчестве и теоретических построениях. Но он всегда считал неправильной монополию какой-нибудь одной художественной манеры, направления. В последние годы жизни он особо останавливался на неправомерности любых претензий на такую монополию. Курс на богатство и многообразие стилей, жанров, течений — отличительная черта «Заметок о литературе» и других фадеевских работ 50-х годов.

Фадеев не скрывает своих эстетических вкусов и представлений, но и не собирается канонизировать их. Объективно оценивается и линия в современном искусстве, достигающая обобщений через бытовые детали, и та, которая бытовые мотивировки заменяет условными, и та, которая не отбрасывает эти детали, но конструирует из них синтетический, монументальный образ, символизирующий эпоху. Высказывается решительное несогласие с литераторами, признающими лишь угодную им манеру и отвергающими остальные; такие литераторы «забывают, что социалистический реализм призван не обеднить, а обогатить формы поэзии по сравнению со старой поэзией...» Фадеев доказывает, что обязательных решений в искусстве не бывает, что нужно всегда

проникать в своеобразие избранной автором формы, необходимо анализировать все художественные поиски — «только тогда мы дадим возможность развития многообразию всей нашей поэзии и вообще литературы».

Пусть будет любая форма, лишь бы художник раскрывал правду жизни, утверждал высокие гуманистические идеалы — таков лейтмотив фадеевских выступлений по вопросам литературы и искусства. Их отличают широта подхода к художественному творчеству, четкость идейно-эстетических критериев. «Ключ» к углублению реализма Фадеев находит в марксистско-ленинском мировоззрении, в боевой писательской позиции.

Яркая, полнокровная советская жизнь, богатое, многоцветное советское искусство — вот что вдохновляло и звало вперед Фадеева — художника революции, до конца дней сохранившего пафос своей боевой молодости, пафос первооткрывателя и строителя нового мира.

Фадеев прошел большой и сложный жизненный путь, знал радость творческих удач и горечь поражений. Одного он не знал — равнодушия стороннего наблюдателя, издали взирающего на борьбу народа. Активнейший участник этой борьбы, стойкий солдат партии, Фадеев неотделим от своей героической и драматической эпохи.

Когда-то Блок звал писателей слушать музыку революции. Мощные аккорды этой музыки звучат в лучших произведениях советского искусства, в том числе таких, как «Разгром» и «Молодая гвардия». Эта музыка увлекает миллионы людей, поднимает их на борьбу за те великие идеалы, которым посвятил свою жизнь Фадеев.

В. Озеров

РАЗГРОМ

Роман

I. Морозка

Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце.

Ординарец Морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес.

— Свезешь в отряд Шалдыбы, — сказал Левинсон, протягивая пакет. — На словах передай... впрочем, не надо — там все написано.

Морозка недовольно отвернул голову, заиграл плеткой — ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего — нездешние глаза Левинсона; глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо.

«Жулик», — подумал ординарец, обидчиво хлопая веками.

— Чего же ты стоишь? — рассердился Левинсон.

— Да что, товарищ командир, как куда ехать, счас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет...

Морозка нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальней: обычно называл просто по фамилии.

— Может быть, мне самому съездить, а? — спросил Левинсон едко.

— Зачем самому? Народу сколько угодно...

Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности.

— Иди сдай оружие начхозу, — сказал он с убийственным спокойствием, — и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо...

Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики.

— Обожди,— сказал Морозка угрюмо.— Давай письмо.

Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе пояснил:

— Уйтить из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать — тем паче. — Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом докончил: — Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..

— То-то и есть, — засмеялся командир, — а сначала кобенился... балда!..

Морозка притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал:

— Я, брат, уже совсем к Варюхе в лазарет снарядился, а ты тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть...

Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе его — даже теперь, когда он говорил о жене, — скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки.

— Тимоша! — крикнул Левинсон осоловелому парнишке на крыльце. — Иди овес покарауль: Морозка уезжает.

У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами.

— Ты что, опять в отъезд? — спросил подрывник.

— Так точно, ваше подрывательское степенство!..

Морозка вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту.

— Вольно, — снисходительно сказал Гончаренко,—сам таким дураком был. По какому делу посылают?

— А так, по плевому; промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь.

— Дурак... — пробурчал подрывник, откусывая дратву, — трепло сучанское.

Морозка вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив.

— Мишка-а... у-у... Сатана-а... — любовно ворчал Морозка, затягивая подпругу. — Мишка... у-у... божья скотинка...

— Ежли прикинуть, кто из вас умнее, — серьезно сказал подрывник, — так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

Морозка рысью выехал за поскотину.

Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки Сихотэ-Алиньского хребта.

Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его — обиженный своим богом и людьми сучанский дед — еще пахал землю; отец променял чернозем на уголь.

Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену.

— Сын?.. — переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто другой.

— Значит, четвертый... — подытожил отец покорно. — Веселая жизнь...

Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу.

В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на Сучанском руднике было не меньше, чем копров.

В ста саженях от шахты кончалась падь и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по нескончаемым рельсам ползли день за днем груженные углем дековильки на станцию Кангауз. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения, наматывали скользкие тросы.

У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошено затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели «кукушки», гудели электрические подъемники.

Жизнь, действительно, была веселой.

В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни и «портил» деревенских девок.

На обратном пути «шахтерские» крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили тайгу, ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость.

Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, пропахнувший онучами и клопами полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам и никто ее не выкачивал.

Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость: надеялись пристращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майхинскими спиртоносами, Морозка рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал.

Когда пришло время, уехал на фронт — попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все кавалеристы, смотреть на «пешую кобылку», шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции.

А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй, гулящей и бесплодной откатчице из шахты № 1. Он все делал необдуманно: жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов.

Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в восемнадцатом году защищать Советы.

Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан: Советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят.

Мишка сердито цокал коваными копытцами; оранжевые пауты назойливо жужжали над ухом, путались в мохнатой шерсти, искусывая до крови.

Морозка выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка; там стоял отряд Шалдыбы.

— В-з-з... в-з-з... — жарко пели неугомонные пауты.

Странный, лопающийся звук тряхнул и прокатился за холмом. За ним — другой, третий... Будто сорвавшийся с цепи зверь ломал на стреме колючий кустарник.

— Обожди, — сказал Морозка чуть слышно, натянув поводья.

Мишка послушно оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом.

— Слышишь?.. Стреляют!.. — выпрямляясь, возбужденно забормотал ординарец. — Стреляют!.. Да?..

— Та-та-та... — залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное уханье бердан, округло-четкий плач японских карабинов.

— В карьер!.. — закричал Морозка тугим взволнованным голосом.

Носки привычно впились в стремена, дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопающий кустарник.

Не выезжая на гребень, Морозка осадил лошадь.

— Обожди здесь, — сказал, соскакивая на землю и забрасывая повод на луку седла: Мишка — верный раб — не нуждался в привязи.

Морозка ползком взобрался на вершину. Справа, миновав Крыловку, правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышами на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по златоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба (Морозка узнал его по вороному коню и островерхой барсучьей папахе) хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики.

— Сволочи, что делают, что только делают... — все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозка.

В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело

волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит — несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное.

Люди прибавляли ходу, оставив его позади, не оглядываясь.

— Сволочи, и что только делают! — снова сказал Морозка, нервно впиваясь пальцами в потный карабин.

— Мишка, сюда!.. — крикнул он вдруг не своим голосом.

Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину.

Через несколько секунд, распластавшись, как птица, Морозка летел по ячменному полю. Злобно взыкали над головой свинцово-огненные пауты, падала куда-то в пропасть лошадиная спина, стремглав свистел под ногами ячмень.

— Ложись!.. — крикнул Морозка, перебрасывая повод на одну сторону и бешено пришпоривая жеребца одной ногой.

Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой стонущей фигуры с белой, окрашенной кровью повязкой на голове.

— Ложись... — хрипел Морозка, раздирая удилом лошадиные губы.

Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю.

— Больно, ой... бо-больно!.. — стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови.

— Молчи, зануда!.. — прошептал Морозка.

Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма — к деревушке, где стоял отряд Левинсона.

II. Мечик

Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.

Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди,

которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком.

— Желторотый... — насмешливо процедил ординарец, когда бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца. — Немного царапнули, а он и размяк.

Морозке хотелось сказать что-нибудь очень обидное, но он не находил слов.

— Известно, сопливый... — бурчал он недовольным голосом.

— Не трепись, — перебил Левинсон сурово. — Бакланов!.. Ночью отвезете парня в лазарет.

Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака нашли немного денег, документы (звать — Павлом Мечиком), сверток с письмами и женской фотографической карточкой.

Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей по очереди исследовали нежное, в светлых кудряшках, девичье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Раненый лежал без памяти, с застывшими бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу.

Он не слыхал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темь, тянуло свежим и крепким, как бы настоянным на спирту, запахом хвои и прелого листа.

Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытье.

Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнущийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура.

Первое, что охватило Мечика, — что исходило от этой спокойной фигуры — от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых смуглых рук, — было чувство

какой-то бесцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности.

— Где я? — тихо спросил Мечик.

Высокий, негнущийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую, жесткую ладонь, пощупал пульс.

— Сойдет... — сказал он спокойно. — Варя, приготовьте все для перевязки да кликните Харченко... — Помолчал немного и неизвестно для чего добавил: — Уж заодно.

Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул.

Было очень больно, когда в засохшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал.

— Вот и хорошо, — сказал высокий мужчина, кончая перевязку. — Три дырки настоящих, а в голову — так, царапина. Через месяц зарастут, или я — не Сташинский. — Он несколько оживился, быстрей зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый — однообразно мигал.

Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг.

Какие-то люди суетились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись на посошок, добродушно глядел на все светлобородый и тихий старичок в халате.

Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанная смоляными запахами, плыла сытая таежная тишина.

Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно представлял себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький городской мотивчик, — в каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения.

Люди в сопках (знакомые только по газетам) вставали перед глазами как живые — в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от

дерзкого воображения, от томительно-сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках.

Она, наверно, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться...

У самой Крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес.

— Кто такой? — спросил остролицый парень в матросской фуражке.

— Да вот... послан из города...

— Документы?

Пришлось разуться и достать путевку.

— «...При... морской... о-бластной комитет... социалистов... ре-лю-ци-не-ров...», — читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечика колючие, как бодяки, глаза. — Та-ак... — протянул неопределенно.

И вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом:

— Как же ты, паскуда...

— Что? Что?.. — растерялся Мечик. — Да ведь это же — «максималистов»... Прочтите, товарищ!

— Обыска-ать!..

Через несколько минут Мечик — избитый и обезоруженный — стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе, с черными глазами, прожигающими до пяток.

— Они не разобрали... — говорил Мечик, нервно всхлипывая и заикаясь. — Ведь там же написано — «максималистов»... Обратите внимание, пожалуйста...

— А ну, дай бумагу.

Человек в барсучьей папахе уставился на путевку.

Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса.

— Дурак... — сказал сурово. — Не видишь: «максималистов»...

— Ну да, ну вот! — воскликнул Мечик обрадованно. — Ведь я же говорил — максималистов! Ведь это же совсем другое...

— Выходит, зря били... — разочарованно сказал матрос. — Чудеса!

В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда.

Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее,

вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу — над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом.

Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди.

Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной, болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную таежную тишину.

Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклены, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых — двое; сучанский партизан Фролов, раненный в живот, и Мечик.

Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину: в невозмутимой тишине, у древнего, поросшего мхом скита сидит над озером, на изумрудном бережку, светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Тихое небо над старичком, тихие, в жаркой истоме, ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина...

Не об этом ли сне тоскует у Мечика душа?

Напевным голоском, как деревенский дьячок, Пика рассказывал о сыне — бывшем красногвардейце.

— Да-а... Приходит это он до меня. Я, конешно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались — дело понятное. Вижу только, сумный он штой-то... «Я, говорит, батя, в Читу уезжаю». — «Почему такое?..» — «Да там, говорит, батя, чехословаки объявились». — «Ну-к что ж, говорю, чехословаки? Живи здесь; смотри, говорю, благодать-то какая?..» И верно: на пасеке у меня — тольки што не рай: березка, знаишь, липа в цвету, пчелки... в-ж-ж... в-ж-ж...

Пика снимал с головы мягкую черную шапчонку и радостно поводил ею вокруг.

— И что ж ты скажешь?.. Не остался! Так и не остался... Уехал... Теперь и пасеку «колчаки» разгромили, и сына нема... Вот — жизнь!

Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри, жест.

Но еще больше любил он, когда приходила «милосердная сестра». Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами. Она была немножко сутула и бледна, а руки ее излишне велики для женщины. Но ходила она какой-то особенной, неплавной, сильной походкой, и голос ее всегда что-то обещал.

И когда она садилась рядом на кровать, Мечик уже не мог лежать спокойно. (Он никогда бы не сознался в этом девушке в светлых кудряшках.)

— Блудливая она — Варька, — сказал однажды Пика. — Морозка, муж ее, в отряде, а она блудит...

Мечик посмотрел в ту сторону, куда, подмигивая, указывал старик. Сестра стирала на прогалине белье, а около нее вертелся фельдшер Харченко. Он то и дело наклонялся к ней и говорил что-то веселое, и она, все чаще отрываясь от работы, поглядывала на него странным дымчатым взглядом. Слово «блудливая» пробудило в Мечике острое любопытство.

— А отчего она... такая? — спросил он Пику, стараясь скрыть смущение.

— А шут ее знает, с чего она такая ласковая. Не может никому отказать — и все тут...

Мечик вспомнил о первом впечатлении, которое произвела на него сестра, и непонятная обида шевельнулась в нем.

С этой минуты он стал внимательней наблюдать за ней. В самом деле она слишком много «крутила» с мужчинами, — со всяким, кто хоть немножко мог обходиться без чужой помощи. Но ведь в госпитале больше не было женщин.

Утром как-то, после перевязки, она задержалась, оправляя Мечику постель.

— Посиди со мной... — сказал он, краснея.

Она посмотрела на него долго и внимательно, как в тот день, стирая белье, смотрела на Харченко.

— Ишь ты... — сказала невольно с некоторым удивлением.

Однако, оправив постель, присела рядом.

— Тебе нравится Харченко? — спросил Мечик.

Она не слышала вопроса — ответила собственным мыслям, притягивая Мечика большими дымчатыми глазами:

— А ведь такой молоденький... — И спохватившись: — Харченко?.. Что ж, ничего. Все вы — на одну колодку...

Мечик вынул из-под подушки небольшой сверток в газетной бумаге. С поблекшей фотографии глянуло на него знакомое девичье лицо, но оно не показалось ему таким милым, как раньше, — оно смотрело с чужой и деланной веселостью, и хотя Мечик боялся сознаться в этом, но ему странно стало, как мог он раньше так много думать о ней. Он еще не знал, зачем это делает и хорошо ли это, когда протягивал сестре портрет девушки в светлых кудряшках.

Сестра рассматривала его — сначала вблизи, потом отставив руку, и вдруг, выронив портрет, вскрикнула, вскочила с постели и быстро оглянулась назад.

— Хороша курва! — сказал из-за клена чей-то насмешливый хрипловатый голос.

Мечик покосился в ту сторону и увидел странно знакомое лицо с ржавым непослушным чубом из-под фуражки и с насмешливыми зелено-карими глазами, у которых было тогда другое выражение.

— Ну, чего испугалась? — спокойно продолжал хрипловатый голос. — Это я не на тебя — на патрет... Много я баб переменил, а вот патретов не имею. Может, ты мне когда подаришь?..

Варя пришла в себя и засмеялась.

— Ну и напугал... — сказала не своим — певучим бабьим голосом. — Откуда это тебя, черта патлатого... — И обращаясь к Мечику: — Это — Морозка, муж мой. Всегда что-нибудь устроит.

— Да мы с ним знакомы... трошки, — сказал ординарец, с усмешкой оттенив слово «трошки».

Мечик лежал как пришибленный, не находя слов от стыда и обиды. Варя уже забыла про карточку и, разговаривая с мужем, наступила на нее ногой. Мечику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли.

А когда они ушли в тайгу, он, стиснув зубы от боли в ногах, сам достал вмятый в землю портрет и изорвал его в клочки.

Морозка и Варя вернулись за полдень, не глядя друг на друга, усталые и ленивые.

Морозка вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, как в сказке, вылетел из чащи курчавый, звонкокопытый жеребец, Мечик вспомнил, где он видал обоих.

— Михрютка-а... сукин сы-ын... заждался?.. — ласково ворчал ординарец.

Проезжая мимо Мечика, он посмотрел на него с хитроватой усмешкой.

Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок, Морозка еще не раз вспоминал о Мечике. «И зачем только идут такие до нас? — думал он с досадой и недоумением. — Когда зачинали, никого не было, а теперь на готовенькое — идут...» Ему казалось, что Мечик действительно пришел «на готовенькое», хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди. «Придет эдакой шпендрик — размякнет, нагадит, а нам расхлебывай... И что в нем дура моя нашла?»

Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать дорогу.

В думах, непривычно тяжелых, Морозка не заметил, как выехал в долину. Там — в душистом пырее, в диком, кудрявом клевере звенели косы, плыл над людьми прилежный работяга-день. У людей были курчавые, как клевер, бороды, потные и длинные, до колен, рубахи. Они шагали по прокосам размеренным, приседающим шагом, и травы шумно ложились у ног, пахучие и ленивые.

Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смотрели вслед.

— Как свечечка!.. — восхищались они Морозкиной посадкой, когда, приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке выпрямленным корпусом, он плавно шел на рысях, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи.

За излучиной реки, у баштанов сельского председателя Хомы Рябца, Морозка придержал коня. Над баштанами не чувствовалось заботливого хозяйского глаза:

когда хозяин занят общественными делами, баштаны зарастают травой, сгнивает дедовский курень, пузатые дыни с трудом вызревают в духовитой полыни и пугало над баштанами похоже на сдыхающую птицу.

Воровато оглядевшись по сторонам, Морозка свернул к покосившемуся куреню. Осторожно заглянул вовнутрь. Там никого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный обломок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок, Морозка соскочил с лошади и, пригибаясь к земле, пополз по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок, некоторые тут же съедал, разламывая на колене.

Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, понимающим взглядом, как вдруг, заслышав шорох, поднял лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из ивняка вылез на берег длиннобородый, ширококостный старик в полотняных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с трудом удерживал в руках ходивший ходуном нерет, где громадный плоскожабрый таймень в муках бился предсмертным биением. С нерета холодными струйками стекала на полотняные штаны, на крепкие босые ступни разбавленная водой малиновая кровь.

В рослой фигуре Хомы Егоровича Рябца Мишка узнал хозяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой, отделенный дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной конюшне, томясь от постоянного вожделения. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув голову, глупо и радостно заржал.

Морозка испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении, держась обеими руками за мешок.

— Что же ты... делаешь?.. — с обидой и дрожью в голосе сказал Рябец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Он не выпускал из рук туго вздрагивающий нерет, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных, вскипающих слов.

Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось никаких улик. Но, поняв, что уже теперь все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным, сумасшедшим карьером.

— Обожди-и, найдем мы на тебя управу... найдем!.. найдем!.. — кричал Рябец, навалившись на одно слово и все еще не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и одевал, как сына, обкрадывает его баштаны, да еще в такое время, когда они зарастают травой оттого, что их хозяин работает для мира.

В садике у Рябца, разложив в тени, на круглом столике, подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернувшегося разведчика.

Разведчик — в стеганом мужицком надеване и в лаптях — побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, ожженное солнцем лицо горело радостным возбуждением только что миновавшей опасности.

По словам разведчика, главный японский штаб стоял в Яковлевке. Две роты из Спасск-Приморска передвинулись в Сандагоу, зато Свиягинская ветка была очищена, и до Шабановского Ключа разведчик ехал на поезде вместе с двумя вооруженными партизанами из отряда Шалдыбы.

— А куда Шалдыба отступил?

— На корейские хутора...

Разведчик попытался найти их на карте, но это было не так легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределенно ткнул пальцем в соседний уезд.

— У Крыловки их здорово потрепали, — продолжал он бойко, шмыгая носом. — Теперь половина ребят разбрелась по деревням, а Шалдыба сидит в корейском зимовье и жрет чумизу. Говорят, пьет здорово. Свихнулся вовсе.

Левинсон сопоставил новые данные с теми, что сообщил вчера даубихинский спиртонос Стыркша, и с теми, что присланы были из города. Чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части — шестое чутье, как у летучей мыши.

Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское председатель кооператива вторую неделю не возвращался домой, и в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько сандагоуских крестьян, неожиданно загрустивших по дому, и в том, что хромоногий хунхуз Ли-Фу, державший с отрядом путь на Уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям Фудзина.

Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив

и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи — непобедимой мудростью многих поколений.

— Ну, а чего-нибудь особенного... не чувствовалось?

Разведчик смотрел, не понимая.

— Нюхом, нюхом!.. — пояснил Левинсон, собирая пальцы в щепотку и быстро поднося их к носу.

— Ничего не унюхал... Уж как есть... — виновато сказал разведчик. «Что я — собака, что ли?» — подумал он с обидным недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как у торговки на сандагоуском базаре.

— Ну, ступай... — махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза.

Один он в задумчивости прошелся по саду, остановившись у яблони, долго наблюдал, как возится в коре крепкоголовый песочного цвета жучок, и какими-то неведомыми путями пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят японцы, если к этому не приготовиться заранее.

У калитки Левинсон столкнулся с Рябцом и своим помощником Баклановым — коренастым парнишкой лет девятнадцати, в суконной защитной гимнастерке и с недремлющим кольтом у пояса.

— Что делать с Морозкой?.. — с места выпалил Бакланов, собирая над переносьем тугие складки бровей и гневно выбрасывая из-под них горящие, как угли, глаза. — Дыни у Рябца крал... вот, пожалуйста!..

Он с поклоном повел руками от командира к Рябцу, словно предлагал им познакомиться. Левинсон давно не видал помощника в таком возбуждении.

— А ты не кричи, — сказал он спокойно и убедительно, — кричать не нужно. В чем дело?..

Рябец трясущимися руками протянул злополучный мешок.

— Полбаштана изгадил, товарищ командир, истинная правда! Я, знаешь, нерета проверял — в кои веки собрался, — когда вылезаю с ивнячка...

И он пространно изложил свою обиду, особенно напирая на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство.

— Бабы у меня, знаешь, заместо того, чтоб баштаны

выполоть, как это у людей ведется, на покосе маются. Как проклятые!..

Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал за Морозкой.

Тот явился с небрежно заломленной на затылок фуражкой и с неприступно-наглым выражением, которое всегда напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал врать и защищаться до последней крайности.

— Твой мешок? — спросил командир, сразу вовлекая Морозку в орбиту своих немутнеющих глаз.

— Мой...

— Бакланов, возьми-ка у него смит...

— Как возьми?.. Ты мне его давал?! — Морозка отскочил в сторону и расстегнул кобуру.

— Не балуй, не балуй... — с суровой сдержанностью сказал Бакланов, туже сбирая складки над переносьем.

Оставшись без оружия, Морозка сразу размяк.

— Ну, сколько я там дынь этих взял?.. И что это вы, Хома Егорыч, на самом деле. Ну, ведь сущий же пустяк... на самом деле!

Рябец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми пальцами запыленных ног.

Левинсон распорядился, чтоб к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.

— Пускай все узнают...

— Иосиф Абрамыч... — заговорил Морозка глухим, потемневшим голосом. — Ну, пущай — отряд... уж все равно. А мужиков зачем?

— Слушай, дорогой, — сказал Левинсон, обращаясь к Рябцу и не замечая Морозки, — у меня дело к тебе... с глазу на глаз.

Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, попросил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и насушить пудов десять сухарей.

— Только смотри, чтоб никто не знал — зачем сухари и для кого.

Морозка понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в караульное помещение.

Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию овса:

— Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку.

IV. Один

Приезд Морозки нарушил душевное равновесие, установившееся в Мечике под влиянием ровной, безмятежной жизни в госпитале.

«Почему он смотрел так пренебрежительно? — подумал Мечик, когда ординарец уехал. — Пусть он вытащил меня из огня, разве это дает право насмехаться?.. И все, главное... все...» Он посмотрел на свои тонкие, исхудавшие пальцы, ноги под одеялом, скованные лубками, и старые, загнанные внутрь обиды вспыхнули в нем с новой силой, и душа его сжалась в смятении и боли.

С той самой поры, как остролицый парень с колючими, как бодяки, глазами враждебно и жестоко схватил его за воротник, каждый шел к Мечику с насмешкой, а не с помощью, никто не хотел разбираться в его обидах. Даже в госпитале, где таежная тишина дышала любовью и миром, люди ласкали его только потому, что в этом состояла их обязанность. И самым тяжелым, самым горьким для Мечика было чувствовать себя одиноким после того, как и его кровь осталась где-то на ячменном поле.

Его потянуло к Пике, но старик, расстелив халат, мирно спал под деревом на опушке, подложив под голову мягкую шапчонку. От круглой, блестящей лысинки расходились во все стороны, как сияние, прозрачные серебряные волосики. Двое парней — один с перевязанной рукой, другой, прихрамывая на ногу, — вышли из тайги. Остановившись около старика, жуликовато перемигнулись. Хромой отыскал соломинку и, приподняв брови и сморщившись, словно сам собирался чихнуть, пощекотал ею в Пикином носу. Пика сонно заворчал, поерзал носом, несколько раз отмахнулся рукой, наконец громко чихнул к всеобщему удовольствию. Оба прыснули со смеха и, пригибаясь к земле, оглядываясь, как нашкодившие ребята, побежали к бараку — один бережно поджимая руку, другой — воровато припадая на ногу.

— Эй ты, помощник смерти! — закричал первый, увидев на завалинке Харченко и Варю. — Ты что ж это баб наших лапаешь?.. А ну, а ну, дай-ка и мне подержаться... — заворчал он масленым голосом, садясь рядом и обнимая сестру здоровой рукой. — Мы тебя любим — ты у нас одна, а этого черномазого гони — гони его к мамаше, гони его, сукиного сына!.. — Он той же рукой пытался от-

толкнуть Харченко, но фельдшер плотно прижимался к Варе с другого бока и скалил ровные, пожелтевшие от «маньчжурки» зубы.

— А мне иде ж притулиться? — плаксиво загнусил хромой. — И что же это такое, где ж это правда, и кто ж это уважит раненого человека, — как это вы смотрите, товарищи, милые граждане?.. — зачастил он, как заведенный, моргая влажными веками и бестолково размахивая руками.

Его спутник устрашающе дрыгал ногой, не подпуская близко, а фельдшер хохотал неестественно громко, незаметно залезая Варе под кофточку. Она смотрела на них покорно и устало, даже не пытаясь выгнать Харченкову руку, и вдруг, поймав на себе растерянный взгляд Мечика, вскочила, быстро запахивая кофточку и заливаясь, как пион.

— Лезут, как мухи на мед, кобели рваные!.. — сказала в сердцах и, низко склонив голову, убежала в барак. В дверях защемила юбку и, сердито выдернув ее, снова хлопнула дверью так, что мох посыпался из щелей.

— Вот тебе и сестра-а!.. — певуче возгласил хромой. Скривился, как перед табачной понюшкой, и захихикал — тихо, мелко и пакостно.

А из-под клена, с койки, с высоты четырех матрацев, уставив в небо желтое, изнуренное болезнью лицо, чуждо и строго смотрел раненый партизан Фролов. Взгляд его был тускл и пуст, как у мертвого. Рана Фролова была безнадежна, и он сам знал это с той минуты, когда, корчась от смертельной боли в животе, впервые увидел в собственных глазах бесплотное, опрокинутое небо. Мечик почувствовал на себе его неподвижный взгляд и, вздрогнув, испуганно отвел глаза.

— Ребята... шкодят... — хрипло сказал Фролов и пошевелил пальцем, будто хотел доказать кому-то, что еще жив.

Мечик сделал вид, что не слышит.

И хотя Фролов давно забыл про него, он долго боялся посмотреть в его сторону — казалось, раненый все еще глядит, ощерясь в костлявой, обтянутой улыбке.

Из барака, неловко сломившись в дверях, вышел доктор Сташинский. Сразу выпрямился, как длинный складной ножик, и стало странным, как это он мог согнуться, когда вылезал. Он большими шагами подошел к ребятам

и, забыв, зачем они понадобились, удивленно остановился, мигая одним глазом...

— Жара... — буркнул наконец, складывая руку и проводя ею по стриженой голове против волос. Вышел же он сказать, что нехорошо надоедать человеку, который не может же заменить всем мать и жену.

— Скучно лежать? — спросил он Мечика, подходя к нему и опуская ему на лоб сухую, горячую ладонь.

Мечика тронуло его неожиданное участие.

— Мне — что?.. поправился и пошел, — встрепенулся Мечик, — а вот вам как?.. Вечно в лесу.

— А если надо?..

— Что надо?.. — не понял Мечик.

— Да в лесу мне быть... — Сташинский принял руку и впервые с человеческим любопытством посмотрел Мечику прямо в глаза своими — блестящими и черными. Они смотрели как-то издалека и тоскливо, будто вобрали всю бессловесную тоску по людям, что долгими ночами гложет таежных одиночек у чадных сихотэ-алиньских костров.

— Я понимаю, — грустно сказал Мечик и улыбнулся так же приветливо и грустно. — А разве нельзя было в деревне устроиться?.. То есть не то что вам лично, — перехватил он недоуменный вопрос, — а госпиталь в деревне?

— Безопасней здесь... А вы сами откуда?

— Я из города.

— Давно?

— Да уж больше месяца.

— Крайзельмана знаете? — оживился Сташинский.

— Знаю немножко...

— Ну, как он там? А еще кого знаете? — Доктор сильнее замигал глазом и так внезапно опустился на пенек, словно его сзади ударили под коленки.

— Вонсика знаю, Ефремова... — начал перечислять Мечик. — Гурьева, Френкеля — не того, что в очках, — с тем я незнаком, — а маленького...

— Да весь это же все «максималисты»?! — удивился Сташинский. — Откуда вы их знаете?

— Так ведь я все с ними больше... — неуверенно пробормотал Мечик, почему-то робея.

«А-а...» — хотел сказать как будто Сташинский и не сказал.

— Хорошее дело, — буркнул сухо, каким-то почужевшим голосом и встал. — Ну-ну... поправляйтесь... — сказал, не глядя на Мечика. И, как бы боясь, что тот позовет его обратно, быстро зашагал к бараку.

— Васютину еще знаю!.. — пытаясь за что-то ухватиться, прокричал Мечик вслед.

— Да... да... — несколько раз повторил Сташинский, полуоглядываясь и учащая шаги.

Мечик понял, что чем-то не угодил ему, — сжался и покраснел.

Вдруг все переживания последнего месяца хлынули на него разом, — он еще раз попытался за что-то ухватиться и не смог. Губы его дрогнули, и он заморгал быстро-быстро, удерживая слезы, но они не послушались и потекли, крупные и частые, расползаясь по лицу. Он с головой закрылся одеялом и, не сдерживаясь больше, заплакал тихо-тихо, стараясь не дрожать и не всхлипывать, чтобы никто не заметил его слабости.

Он плакал долго и безутешно, и мысли его, как слезы, были солоны и терпки. Потом, успокоившись, он так и остался лежать неподвижно, с закрытой головой. Несколько раз подходила Варя. Он хорошо знал ее сильную поступь, будто до самой смерти сестра обязалась толкать перед собой нагруженный вагончик. Нерешительно постояв возле койки, она снова уходила. Потом приковылял Пика.

— Спишь? — спросил внятно и ласково.

Мечик притворился спящим. Пика выждал немного. Слышно было, как поют на одеяле вечерние комары.

— Ну, спи...

Когда стемнело, снова подошли двое — Варя и еще кто-то. Бережно приподняв койку, понесли ее в барак. Там было жарко и сыро.

— Иди... иди за Фроловым... я сейчас приду, — сказала Варя.

Она несколько секунд постояла над койкой и, осторожно приподняв с головы одеяло, спросила:

— Ты что это, Павлуша?.. Плохо тебе?..

Она первый раз назвала его Павлушей.

Мечик не мог разглядеть ее в темноте, но чувствовал ее присутствие так же, как и то, что они только вдвоем в бараке.

— Плохо... — сказал он сумрачно и тихо.

— Ноги болят?..

— Нет, так себе...

Она быстро нагнулась и, крепко прижавшись к нему большой и мягкой грудью, поцеловала его в губы.

V. Мужики и «угольное племя»

Желая проверить свои предположения, Левинсон пошел на собрание заблаговременно — потереться среди мужиков, нет ли каких слухов.

Сход собирался в школе. Народу было еще немного: несколько человек, рано вернувшихся с поля, сумерничали на крыльце. Через раскрытые двери видно было, как Рябец возится в комнате с лампой, прилаживая закопченное стекло.

— Осипу Абрамычу, — почтительно кланялись мужики, по очереди протягивая Левинсону темные, одеревеневшие от работы пальцы. Он поздоровался с каждым и скромно уселся на ступеньке.

За рекой разноголосо пели девчата; пахло сеном, отсыревающей пылью и дымом костров. Слышно было, как бьются на пароме усталые лошади. В теплой вечерней мгле, в скрипе нагруженных телег, в протяжном мычании сытых недоенных коров угасал мужичий маетный день.

— Маловато чтой-то, — сказал Рябец, выходя на крыльцо. — Да многих и не соберешь седни, на покосе ночуют многие...

— А сход на что в буден день? Аль срочное что?

— Да есть тут одно дельце... — замялся председатель. — Набузил тут один ихний, — у меня живет. Оно, как бы сказать, и пустяки, а цельная канитель получилась... — Он смущенно посмотрел на Левинсона и замолчал.

— А коли пустое, так и не след бы собирать!.. — разом загалдели мужики. — Время такое — мужику каждый час дорог.

Левинсон объяснил. Тогда они наперебой стали выкладывать свои крестьянские жалобы, вертевшиеся больше вокруг покоса и бестоварья.

— Ты бы, Осип Абрамыч, прошелся как-нибудь по покосам, посмотрел, чем косят люди? Целых кос ни у

кого, хучь бы одна для смеху, — все латаные. Не работа — маета.

— Семен надысь какую загубил! Ему бы все скорей, — жадный мужик до дела, — идет по прокосу, солит, ровно машина, в кочку ка-ак... звезданет!.. Теперь уж, сколько ни чини, не то.

— Добрая «литовка» была!..

— Мои-то — как там?.. — задумчиво сказал Рябец. — Управились, чи не? Трава нонче богатая — хотя б к воскресенью летошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта.

В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в длинных грязно-белых рубахах, некоторые с узелками — прямо с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, запахи дегтя и пота и свежескошенных трав.

— Здравствуйте в вашу хату...

— Хо-хо-хо!.. Иван?.. А ну, кажи морду на свет — здорово чмели покусали? Видал я, как ты бежал от их, задницей дрыгал...

— Ты чего ж это, зараза, мой клин скосил?

— Как твой! Не бреши!.. Я — по межу, тютилька в тютильку. Нам чужого не надыть — своего хватает...

— Знаем мы вас... Хвата-ет! Свиней ваших с огорода не сгонишь... Скоро на моем баштане пороситься будут... Хвата-ет!..

Кто-то, высокий, сутулый и жесткий, с одним блестящим во тьме глазом, вырос над толпой, сказал:

— Японец третьего дня в Сундугу пришел. Чугуевские ребята баяли. Пришел, занял школу — и сразу по бабам: «Руськи барысня, руськи барысня... сю-сю-сю». Тьфу, прости господи!.. — оборвал он с ненавистью, резко рванув рукой наотмашь, словно отрубая.

— Он и до нас дойдет, это уж как пить...

— И откуда напасть такая?

— Нету мужику спокою...

— И все-то на мужике, и все-то на ем! Хотя б уж на что одно вышло...

— Главная вещь — и выходов никаких! Хучь так в могилу, хучь так в гроб — одна дистанция!..

Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид — весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но,

вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные, ему одному тревожные нотки.

«Плохо дело, — думал он сосредоточенно, — совсем худо... Надо завтра же написать Сташинскому, чтобы рассовывал раненых, куда можно... Замереть на время, будто и нет нас... караулы усилить...»

— Бакланов! — окликнул он помощника. — Иди-ка сюда на минутку... Дело вот какое... садись поближе. Думаю я, мало нам одного часового у поскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки... ночью особенно... Уж больно беспечны мы стали.

— А что? — встрепенулся Бакланов. — Разве тревожно что?.. или что? — Он повернул к Левинсону бритую голову, и глаза его, косые и узкие, как у татарина, смотрели настороженно, пытливо.

— На войне, милый, всегда тревожно, — сказал Левинсон ласково и ядовито. — На войне, дорогой, это не то, что с Марусей на сеновале... — Он засмеялся вдруг дробно и весело и ущипнул Бакланова в бок.

— Ишь ты, какой умный... — завторил Бакланов, схватив Левинсона за руку и сразу превращаясь в драчливого, веселого и добродушного парня. — Не дрыгай, не дрыгай — все равно не вырвешься!.. — ласково ворчал он сквозь зубы, скручивая Левинсону руку назад и незаметно прижимая его к колонке крыльца.

— Иди, иди — вон Маруся зовет... — хитрил Левинсон. — Да пусти ты, ч-черт!.. неудобно на сходке...

— Только что неудобно, а то бы я тебе показал...

— Иди, иди... вон она, Маруся-то... иди!

— Дозорного, я думаю, одного? — спросил Бакланов, вставая.

Левинсон с улыбкой смотрел ему вслед.

— Геройский у тебя помощник, — сказал кто-то. — Не пьет, не курит, а главное дело — молодой. Заходит третьеводни в избу, хомута разжиться... «Что ж, говорю, не хочешь ли рюмашечку с перчиком?» — «Нет, говорит, не пью. Уж ежели, говорит, угостить думаешь, молочка давай — молочко, говорит, люблю, это верно». А пьет он его, знаешь, ровно малый ребенок — с мисочки — и хлебец — крошит... Боевой парень, одно слово!..

В толпе, поблескивая ружейными дулами, все чаще мелькали фигуры партизан. Ребята сходились к сроку дружно. Пришли наконец шахтеры во главе с Тимофеем

Дубовым, рослым забойщиком с Сучана, теперь взводным командиром. Они так и влились в толпу отдельной, дружной массой, не растворяясь, только Морозка сумрачно сел поодаль на завалинке.

— А-а... и ты здесь? — заметив Левинсона, обрадованно загудел Дубов, будто не видел его много лет и никак не ожидал здесь встретить. — Что это там корышок наш набузил? — спросил он медленно и густо, протягивая Левинсону большую черную руку. — Проучить, проучить... чтоб другим неповадно было!.. — загудел снова, не дослушав объяснений Левинсона.

— На этого Морозку давно уж пора обратить внимание — пятно на весь отряд кладет, — ввернул сладкоголосый парень, по прозвищу Чиж, в студенческой фуражке и чищеных сапогах.

— Тебя не спросили! — не глядя, обрезал Дубов.

Парень поджал было губы обидчиво и достойно, но, поймав на себе насмешливый взгляд Левинсона, юркнул в толпу.

— Видал гуся? — мрачно спросил взводный. — Зачем ты его держишь?.. По слухам, его самого за кражу с института выгнали.

— Не всякому слуху верь, — сказал Левинсон.

— Уж заходили бы, что ли ча!.. — взывал с крыльца Рябец, растерянно разводя руками, словно не ожидал, что его заросший баштан породит такое скопление народа. — Уж начинали бы... товарищ командир?.. До петухов нам толочься тут...

В комнате стало жарко и зелено от дыма. Скамеек не хватало. Мужики и партизаны вперемежку забили проходы, столпились в дверях, дышали Левинсону в затылок.

— Начинай, Осип Абрамыч, — угрюмо сказал Рябец. Он был недоволен и собой и командиром — вся история казалась теперь никчемной и хлопотной.

Морозка протискался в дверях и стал рядом с Дубовым, сумрачный и злой.

Левинсон больше упирал на то, что никогда бы не стал отрывать мужиков от работы, если бы не считал, что дело это общее, затронуты обе стороны, а кроме того, в отряде много местных.

— Как вы решите, так и будет, — закончил он веско, подражая мужичьей степенной повадке. Медленно опустился на скамью, просунулся назад и сразу стал малень-

ким и незаметным — сгас, как фитилек, оставив сход в темноте самому решать дело.

Заговорили сначала несколько человек туманно и нетвердо, путаясь в мелочах, потом ввязались другие. Через несколько минут уж ничего нельзя было понять. Говорили больше мужики, партизаны молчали глухо и выжидающе.

— Тоже и это не порядок, — строго бубнил дед Евстафий, седой и насупистый, как летошний мох. — В старое время, при Миколашке, за такие дела по селу водили. Обвешают краденым и водют под сковородную музыку!.. — Он наставительно грозил кому-то высохшим пальцем.

— А ты по-миколашкину не меряй!.. — кричал сутулый и одноглазый — тот, что рассказывал о японцах. Ему все время хотелось размахивать руками, но было слишком тесно, и от этого он пуще злился. — Тебе бы все Миколашку!.. Отошло времечко... тю-тю, не воротишь!..

— Да уж Миколашку не Миколашку, а только и это не право, — не сдавался дед. — И так всю шатию кормим. А воров плодить нам тоже не сподручно.

— Кто говорит — плодить? Никто за воров и не чепляется! Воров, может, ты сам разводишь!.. — намекнул одноглазый на дедова сына, бесследно пропавшего лет десять тому назад. — Только тут своя мерка нужна! Парень, может, шестой год воюет, — неужто и дынькой не побаловаться?..

— И что ему шкодить было?.. — недоумевал один. — Господи твоя воля — благо бы добро какое... Да зайди б ко мне, я б ему полную кайстру за глаза насыпал... На, бери — свиней кормим, не жаль дерьма для хорошего человека!..

В мужичьих голосах не чувствовалось злобы. Большинство сходились на одном: старые законы не годятся, нужен какой-то особый подход.

— Пущай сами решают с председателем!.. — выкрикнул кто-то. — Нечего нам в это дело лезти.

Левинсон поднялся снова, постучал по столу.

— Давайте, товарищи, по очереди, — сказал тихо, но внятно, так что все услышали. — Разом будем говорить — ничего не решим. А Морозов-то где?.. А ну, иди сюда... — добавил он, потемнев, и все покосились туда, где стоял ординарец.

— Мне и отсюда видать... — глухо сказал Морозка.

— Иди, иди... — подтолкнул его Дубов.

Морозка заколебался. Левинсон подался вперед и, сразу схватив его, как клещами, немигающим взглядом, выдернул из толпы, как гвоздь.

Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на кого не глядя. Он сильно вспотел, руки его дрожали. Почувствовав на себе сотни любопытных глаз, он попробовал было поднять голову, но наткнулся на суровое, в жестком войлоке, лицо Гончаренки. Подрывник смотрел сочувственно и строго. Морозка не выдержал и, обернувшись к окну, замер, упершись в пустоту.

— Вот теперь и обсудим, — сказал Левинсон по-прежнему удивительно тихо, но слышно для всех, даже за дверями. — Кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется?..

— Да что тут говорить, — смутился дед Евстафий, — мы так только, промеж себя...

— Разговор тут недолгий, сами решайте! — снова загалдели мужики.

— А ну, старик, мне слово дай... — неожиданно сказал Дубов с глухой и сдержанной силой, смотря на деда Евстафия, отчего и Левинсона назвал по ошибке стариком. В голосе Дубова было такое, что все головы, вздрогнув, повернулись к нему.

Он протискался к столу и стал рядом с Морозкой, загородив Левинсона большой и грузной фигурой.

— Самим решать?.. боитесь?! — рванул гневно и страстно, грудью обламывая воздух. — Сами решим!.. — Он быстро наклонился к Морозке и впился в него горящими глазами. — Наш, говоришь, Морозка... шахтер? — спросил напряженно и едко. — У-у... нечистая кровь — сучанская руда!.. Не хочешь нашим быть? блудишь? позоришь угольное племя? Ладно!.. — Слова Дубова упали в тишине с тяжелым медным грохотом, как гулкий антрацит.

Морозка, бледный как полотно, смотрел ему в глаза не отрываясь, и сердце падало в нем, словно подбитое.

— Ладно!.. — снова повторил Дубов. — Блуди! Посмотрим, как без нас проживешь!.. А нам... выгнать его надо!.. — оборвал он вдруг, резко оборачиваясь к Левинсону.

— Смотри — прокидаешься! — выкрикнул кто-то из партизан.

— Что?! — переспросил Дубов страшно и шагнул вперед.

— Да цыц же вы, го-споди... — жалобно прогнусил из угла перепуганный старческий голос.

Левинсон сзади схватил взводного за рукав.

— Дубов... Дубов... — спокойно сказал он. — Подвинься малость — народ загораживаешь.

Заряд Дубова сразу пропал, взводный осекся, растерянно мигая.

— Ну, как нам выгнать его, дурака? — заговорил Гончаренко, вздымая над толпой кудрявую, опаленную голову. — Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь, — напакостил парень, сам я с ним кажен день лаюсь... Только и парень, сказать, боевой — не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли, на передовых. Свой парень — не выдаст, не продаст...

— Свой... — с горечью перебил Дубов. — А нам он, думаешь, не свой?.. В одной дыре коптили... третий месяц под одной шинелькой спим!.. А тут всякая сволочь, — вспомнил он вдруг сладкоголосого Чижа, — учить будет!..

— Вот я к тому и веду, — продолжал Гончаренко, недоуменно косясь на Дубова (он принял его ругательство на свой счет). — Бросить это дело без последствий никак невозможно, а сразу прогонять тоже не резон — прокидаемся. Мое мнение такое: спросить его самого!.. — И он увесисто резанул ладонью, поставив ее на ребро, будто отделил все чужое и ненужное от своего и правильного.

— Верно!.. Самого спросить!.. Пущай скажет, ежели сознательный.

Дубов, начавший было протискиваться на место, остановился в проходе и пытливо уставился на Морозку. Тот глядел, не понимая, нервно теребя сорочку потными пальцами.

— Говори, как сам мыслишь!..

Морозка покосился на Левинсона.

— Да разве б я... — начал он тихо и смолк, не находя слов.

— Говори, говори!.. — закричали поощрительно.

— Да разве б я... сделал такое... — Он опять не нашел нужного слова и кивнул на Рябца... — ну, дыни эти самые... сделал бы, ежели б подумал... со зла или как? А то ведь сызмальства это у нас — все знают, так вот и я... А как сказал Дубов, что всех я ребят наших... да разве же я, братцы!.. — вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его

брызнули светом, теплым и влажным... — Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..

Посторонние звуки с улицы толкнулись в комнату: собака лаяла где-то на Сниткинском кутку, пели девчата, рядом у попа стучало что-то размеренно и тупо, будто в ступке толкли. «Заводи-и!..» — протяжно кричали на пароме.

— Ну, как я сам себя накажу?.. — с болью, но уже значительно тверже и менее искренне продолжал Морозка... — Только слово дать могу... шахтерское... уж это верное будет — мараться не стану...

— А если не сдержишь? — осторожно спросил Левинсон.

— Сдержу я... — И Морозка сморщился, стыдясь перед мужиками.

— А если нет?..

— Тогда что хотите... хоть расстреляйте...

— И расстреляем! — строго сказал Дубов, но глаза его блестели уже без всякого гнева, любовно и насмешливо.

— Значит, и шабаш! Амба!.. — закричали со скамей.

— Ну вот, и делов-то всех... — заговорили мужики, радуясь тому, что канительное собрание приходит к концу. — Дело-то пустяковое, а разговоров на год...

— На этом и решим, что ли?.. Других предложений не будет?..

— Да закрывай ты, ч-черт!.. — шумели партизаны, прорвавшись после недавнего напряжения. — И то надоело уж... Жрать охота, — кишка кишке шиш показывает!..

— Нет, обождите, — сказал Левинсон, подняв руку и сдержанно щурясь. — С этим вопросом покончено, теперь другой...

— Что там еще?!

— Да, думаю я, нужно нам такую резолюцию принять... — Он оглянулся вокруг... — А секретаря-то у нас и не было!.. — засмеялся он вдруг мелко и добродушно. — Иди-ка, Чиж, запиши... такую резолюцию принять: чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам, хоть немного... — Он сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам.

— Да мы того не требуем!.. — крикнул кто-то из мужиков.

Левинсон подумал: «Клюнуло...»

— Цыц, ты-ы... — оборвали мужика остальные. — Слухай лучше. Пущай и вправду поработают — руки не отвалятся!..

— А Рябцу мы особо отработаем...

— Почему особо? — заволновались мужики. — Что он за шишка?.. Невелик труд — председателем всякий может!..

— Кончать, кончать!.. согласны!.. записывай!.. — Партизаны срывались с мест и, уже не слушаясь командира, валили из комнаты.

— И-эх... Ваня-а!.. — подскочил к Морозке лохматый, востроносый парень и, дробно постукивая сапожками, потащил его к выходу. — Мальчик ты мой разлюбезный, сыночек ты мой, сопливая ноздря... И-эх!... — вытаптывал он на крыльце, лихо заламывая фуражку и обнимая Морозку другой рукой.

— Иди ты, — беззлобно пхнул его ординарец.

Мимо быстро прошли Левинсон и Бакланов.

— Ну, и здоровый этот Дубов, — говорил помощник, возбужденно брызгая слюной и размахивая руками. — Вот их с Гончаренко стравить! Кто кого, как ты думаешь?

Левинсон, занятый другим, не слушал его. Отсыревшая пыль сдавала под ногами зыбуче и мягко.

Морозка незаметно отстал. Последние мужики обогнали его. Они говорили теперь спокойно, не торопясь, точно шли с работы, а не со сходки.

На бугор ползли приветливые огоньки хат, звали ужинать. Река шумела в тумане на сотни журливых голосов.

«Мишку еще не поил...» — встрепенулся Морозка, входя постепенно в привычный вымерянный круг.

В конюшне, почуяв хозяина, Мишка заржал тихо и недовольно, будто спрашивая: «Где это ты шляешься?» Морозка нащупал в темноте жесткую гриву и потянул его из пуни.

— Ишь обрадовался, — оттолкнул он Мишкину голову, когда тот нахально уткнулся в шею влажными ноздрями. — Только блудить умеешь, а отдуваться — так мне одному...

VI. Левинсон

Отряд Левинсона стоял на отдыхе уже пятую неделю — оброс хозяйством: заводными лошадьми, подводами, кухонными котлами, вокруг которых ютились оборванные,

сговорчивые дезертиры из чужих отрядов, — народ разленился, спал больше, чем следует, даже в караулах. Тревожные вести не позволяли Левинсону сдвинуть с места всю эту громоздкую махину: он боялся сделать опрометчивый шаг — новые факты то подтверждали, то высмеивали его опасения. Не раз он обвинял себя в излишней осторожности — особенно, когда стало известно, что японцы покинули Крыловку и разведка не обнаружила неприятеля на многие десятки верст.

Однако никто, кроме Сташинского, не знал об этих колебаниях Левинсона. Да и никто в отряде не знал, что Левинсон может вообще колебаться: он ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил уже готовые «да» или «нет». Поэтому он казался всем — за исключением таких людей, как Дубов, Сташинский, Гончаренко, знавших истинную его цену, — человеком особой, правильной породы. Каждый партизан, особенно юный Бакланов, старавшийся во всем походить на командира, перенимавший даже его внешние манеры, думал примерно так: «Конечно, я, грешный человек, имею много слабостей; я многого не понимаю, многого не умею в себе преодолеть; дома у меня заботливая и теплая жена или невеста, по которой я скучаю; я люблю сладкие дыни, или молочко с хлебцем, или же чищеные сапоги, чтобы покорять девчат на вечерке. А вот Левинсон — это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-нибудь подобном: он все понимает, все делает как нужно, он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозка; он знает только одно — *дело*. Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку...»

С той поры как Левинсон был выбран командиром, никто не мог себе представить его на другом месте: каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Если бы Левинсон рассказал о том, как в детстве он помогал отцу торговать подержанной мебелью, как отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и скверно играл на скрипке, — каждый счел бы это едва ли уместной шуткой. Но Левинсон никогда не рассказывал таких вещей. Не потому, что был скрытен, а потому, что знал, что о нем думают именно как о человеке «особой породы», знал также многие свои слабости и слабости других людей и думал, что вести за собой других людей можно, только указывая

им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. В равной мере он никогда не пытался высмеивать юного Бакланова за подражание. В его годы Левинсон тоже подражал людям, учившим его, причем они казались ему такими же правильными, каким он — Бакланову. Впоследствии он убедился, что это не так, и все же был очень благодарен им. Ведь Бакланов перенимал у него не только внешние манеры, но и старый жизненный опыт — навыки борьбы, работы, поведения. И Левинсон знал, что внешние манеры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым Левинсонам и Баклановым, а это — очень важно и нужно.

...В сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей-Ковтун — начальник штаба партизанских отрядов. Старый Суховей-Ковтун писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей, о том, что сам он прячется в охотничьем зимовье, раненный девятью пулями, и что уж, видно, ему недолго осталось жить...

Слух о поражении шел по долине с зловещей быстротой, и все же эстафета обогнала его. Каждый ординарец чувствовал, что эта самая страшная эстафета, какую только приходилось возить с начала движения. Тревога людей передавалась лошадям. Мохнатые партизанские кони, оскалив зубы, карьером рвались от села к селу по хмурым, размокшим поселкам, разбрызгивая комья сбитой копытами грязи...

Левинсон получил эстафету в половине первого ночи, а через полчаса конный взвод пастуха Метелицы, миновав Крыловку, разлетелся веером по тайным сихотэ-алиньским тропам, разнося тревожную весть в отряды Свиягинского боевого участка.

Четыре дня собирал Левинсон разрозненные сведения из отрядов, мысль его работала напряженно и ощупью — будто прислушиваясь. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые, нездешние глаза, дразнил Бакланова за шашни с «задрипанной Маруськой». А когда Чиж, осмелевший от страха, спросил однажды, почему он ничего не предпринимает, Левинсон вежливо щелкнул его по лбу и ответил, что это «не птичьего ума дело». Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает, отчего все про-

исходит и куда ведет, что в этом нет ничего необычного или страшного и он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но вообще чувствовал себя растерянно, как ученик, которого заставили сразу решить задачу со множеством неизвестных. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников.

Тот явился на пятый день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный, но такой же увертливый и рыжий, как до поездки, — в этом отношении он был неисправим.

— В городе провал, и Крайзельман в тюрьме... — сказал Канунников, доставая письмо из неведомого рукава с ловкостью карточного шулера, и улыбнулся одними губами: ему было совсем не весело, но он не умел говорить без того, чтобы не улыбаться. — Во Владимиро-Александровском и на Ольге — японский десант... Весь Сучан разгромлен. Та-бак дело!.. Закуривай... — и протянул Левинсону позолочённую сигаретку, так что нельзя было понять — относится ли «закуривай» к сигаретке или к делам, которые плохи, «как табак».

Левинсон бегло взглянул на адреса — одно письмо спрятал в карман, другое распечатал. Оно подтверждало слова Канунникова. Сквозь официальные строки, полные нарочитой бодрости, слишком ясно проступала горечь поражения и бессилия.

— Плохо, а?.. — участливо спросил Канунников.

— Ничего... Письмо кто писал — Седых?

Канунников утвердительно кивнул.

— Это заметно: у него всегда по разделам... — Левинсон насмешливо подчеркнул ногтем «Раздел IV: Очередные задачи», — понюхал сигаретку. — Дрянной табак, правда? Дай прикурить... Ты только там среди ребят не трепись... насчет десанта и прочего... Трубку мне купил? — И, не слушая объяснений Канунникова, почему тот не купил трубки, снова уткнулся в бумагу.

Раздел «Очередные задачи» состоял из пяти пунктов; из них четыре показались Левинсону невыполнимыми. Пятый же пункт гласил:

«...Самое важное, что требуется сейчас от партизанского командования — чего нужно добиться во что бы то ни стало, — это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и

дисциплинированные боевые единицы, вокруг которых впоследствии...»

— Позови Бакланова и начхоза, — быстро сказал Левинсон.

Он сунул письмо в полевую сумку, так и не дочитав, что будет впоследствии вокруг боевых единиц. Где-то из множества задач вырисовывалась одна — «самая важная». Левинсон выбросил потухшую сигаретку и забарабанил по столу... «Сохранить боевые единицы...» Мысль эта никак не давалась, стояла в мозгу в виде трех слов, писанных химическим карандашом на линованной бумаге. Машинально нащупал второе письмо, посмотрел на конверт и вспомнил, что это от жены. «Это потом, — подумал он и снова спрятал его. — Сохранить боевые е-ди-ни-цы».

Когда пришли начхоз и Бакланов, Левинсон знал уже, что будут делать он и люди, находящиеся в его подчинении: они будут делать *все,* чтобы сохранить отряд как боевую единицу.

— Нам придется скоро отсюда уходить, — сказал Левинсон. — Все ли у нас в порядке?.. Слово за начхозом...

— Да, за начхозом, — как эхо, повторил Бакланов и подтянул ремень с таким суровым и решительным видом, будто заранее знал, к чему все это клонится.

— Мне — что, за мной дело не станет, я всегда готов... Только вот, как быть с овсом... — И начхоз стал очень длинно рассказывать о подмоченном овсе, о рваных вьюках, о больных лошадях, о том, что «всего овса им никак не поднять», — словом, о таких вещах, которые показывали, что он ни к чему еще не готов и вообще считает передвижение вредной затеей. Он старался не смотреть на командира, болезненно морщился, мигал и крякал, так как заранее был уверен в своем поражении.

Левинсон взял его за пуговицу и сказал:

— Дуришь...

— Нет, правда, Осип Абрамыч, лучше нам здесь укрепиться...

— Укрепиться?.. здесь?.. — Левинсон покачал головой, как бы сочувствуя глупости начхоза. — А уж седина в волосах. Да ты чем думаешь, головой ли?

— Я...

— Никаких разговоров! — Левинсон вразумительно подергал его за пуговицу. — В любой момент быть готовым. Ясно?.. Бакланов, ты проследишь за этим... — Он отпустил

пуговицу. — Стыдно!.. пустяки там вьюки твои, пустяки! — Глаза его похолодели, и под их жестким взглядом начхоз окончательно убедился, что вьюки — это точно пустяки.

— Да, конечно... ну, что ж, ясно... не в этом суть... — забормотал он, готовый теперь согласиться даже на то, чтобы везти овес на собственной спине, если командир найдет это необходимым. — Что нам может помешать? Да долго ли тут? Фу-у... хоть сегодня — в два счета.

— Вот, вот... — засмеялся Левинсон, — да уж ладно, ладно, иди! — И он легонько подтолкнул его в спину. — Чтоб в любой момент.

«Хитрый, стерва», — с досадой и восхищением думал начхоз, выходя из комнаты.

К вечеру Левинсон собрал отрядный совет и взводных командиров.

К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча, пощипывая густые, тяжело нависшие усы. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Это был самый старый, самый заслуженный и самый неумный командир во всем уезде. Его никто не поддержал: Кубрак был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела.

— Крышка! Стоп!.. — перебил его пастух Метелица. — Пора забывать про бабий подол, дядя Кубрак! — Он, как всегда, неожиданно вспылил от собственных слов, ударил кулаком по столу, и его рябое лицо сразу вспотело. — Здесь нас, как курят, — стоп, и крышка!.. — И он забегал по комнате, шаркая мохнатыми улами и плетью раскидывая табуретки.

— А ты потише немножко, не то скоро устанешь, — посоветовал Левинсон. Но втайне он любовался порывистыми движениями его гибкого тела, туго скрученного, как ременный бич. Этот человек минуты не мог просидеть спокойно — весь был огонь и движение, и хищные его глаза всегда горели ненасытным желанием кого-то догонять и драться.

Метелица выставил свой план отступления, из которого видно было, что его горячая голова не боится больших пространств и не лишена военной сметки.

— Правильно!.. У него котелок варит! — воскликнул Бакланов, восхищенный и немножко обиженный слишком

смелым полетом Метелицыной самостоятельной мысли. — Давно ли коней пас, а годика через два, гляди, всеми нами командовать будет...

— Метелица?.. У-у... да ведь это — сокровище! — подтвердил Левинсон. — Только смотри не зазнавайся...

Однако, воспользовавшись жаркими прениями, где каждый считал себя умнее других и никого не слушал, Левинсон подменил план Метелицы своим — более простым и осторожным. Но он сделал это так искусно и незаметно, что его новое предложение голосовалось как предложение Метелицы и всеми было принято.

В ответных письмах в город и Сташинскому Левинсон извещал, что на днях переводит отряд в деревню Шибиши, в верховьях Ирохедзы, а госпиталю предписывал оставаться на месте до особого приказа. Сташинского Левинсон знал еще по городу, и это было второе тревожное письмо, которое он писал ему.

Он кончил работу глубокой ночью, в лампе догорал керосин. В открытое окно тянуло сыростью и прелью. Слышно было, как шуршат за печкой тараканы и Рябец храпит в соседней избе. Левинсон вспомнил о письме жены и, долив лампу, перечел его. Ничего нового и радостного. Попрежнему нигде не принимают на службу, продано все, что можно, приходится жить за счет «Рабочего Красного Креста», у детей — цинга и малокровие. А через все — одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Вначале ему не хотелось ворошить круг мыслей, связанных с этой стороной его жизни, но постепенно он увлекся, лицо его распустилось, он исписал два листка мелким, неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону.

Потом, разминая затекшие члены, он вышел во двор. В конюшне переступали лошади, сочно хрустели травой. Дневальный, обняв винтовку, крепко спал под навесом. Левинсон подумал: «Что, если так же спят часовые?..» Он постоял немного и, с трудом преодолев желание лечь спать самому, вывел из конюшни жеребца. Оседлал. Дневальный не проснулся. «Ишь сукин сын», — подумал Левинсон. Осторожно снял с него шапку, спрятал ее под сено и, вскочив в седло, уехал проверять караулы.

Придерживаясь кустов, он пробрался к поскотине.

— Кто там? — сурово окликнул часовой, брякнув затвором.
— Свои...
— Левинсон? Что это тебя по ночам носит?
— Дозорные были?
— Минут с пятнадцать один уехал.
— Нового ничего?
— Пока что спокойно... Закурить есть?..
Левинсон отсыпал ему «маньчжурки» и, переправившись через реку вброд, выехал в поле.

Глянул подслеповатый месяц, из тьмы шагнули бледные кусты, поникшие в росе. Река звенела на перекате четко — каждая струя в камень. Впереди на бугре неясно заплясали четыре конные фигуры. Левинсон свернул в кусты и затаился. Голоса послышались совсем близко. Левинсон узнал двоих: дозорные.
— А ну, обожди, — сказал он, выезжая на дорогу. Лошади, фыркнув, шарахнулись в сторону. Одна узнала жеребца под Левинсоном и тихо заржала.
— Так можно напужать, — сказал передний встревоженно-бодрым голосом. — Трр, стерва!..
— Кто это с вами? — спросил Левинсон, подъезжая вплотную.
— Осокинская разведка... японцы в Марьяновке...
— В Марьяновке? — встрепенулся Левинсон. — А где Осокин с отрядом?
— В Крыловке, — сказал один из разведчиков. — Отступили мы: бой страшный был, не удержались. Вот послали до вас, для связи. Завтра на корейские хутора уходим... — Он тяжело склонился на седле, точно жестокий груз собственных слов давил его. — Все прахом пошло. Сорок человек потеряли. За все лето убытку такого не было.
— Снимаетесь рано из Крыловки? — спросил Левинсон. — Поворачивайте назад — я с вами поеду...
...В отряд он вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой, тяжелой от бессонницы.

Разговор с Осокиным окончательно подтвердил правильность принятого Левинсоном решения — уйти заблаговременно, заметая следы. Еще красноречивей сказал об этом вид самого осокинского отряда: он разлезался по всем швам, как старая бочка с прогнившими клепками и ржавыми обручами, по которой крепко стукнули обушком. Люди перестали слушаться командира, бесцельно

слонялись по дворам, многие были пьяны. Особенно запомнился один, кудлатый и тощий, — он сидел на площади возле дороги, уставившись в землю мутными глазами, и в слепом отчаянии слал патрон за патроном в белесую утреннюю мглу.

Вернувшись домой, Левинсон тотчас же отправил свои письма по назначению, не сказав, однако, никому, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.

VII. Враги

В первом письме к Сташинскому, отправленном еще на другой день после памятного мужицкого схода, Левинсон делился своими опасениями и предлагал постепенно разгружать лазарет, чтобы не было потом лишней обузы. Доктор перечитал письмо несколько раз, и оттого, что мигал он особенно часто, а на желтом лице все резче обозначались челюсти, каждому стало нехорошо, сумно. Будто из маленького серого пакетика, что держал Сташинский в сухих руках, выползла, шипя, смутная Левинсонова тревога и с каждой травины, с каждого душевного донышка вспугнула уютно застоявшуюся тишь.

...Как-то сразу сломалась ясная погода, солнце зачередовало с дождем, уныло запели маньчжурские черноклены, раньше всех чувствуя дыхание недалекой осени. Старый черноклювый дятел забил по коре с небывалым ожесточением, — заскучал Пика, стал молчалив и неласков. Целыми днями бродил он по тайге, приходил усталый, неудовлетворенный. Брался за шитво — нитки путались и рвались, садился в шашки играть — проигрывал; и было у него такое ощущение, будто тянет он через тонкую соломинку гнилую болотную воду. А люди уже расходились по деревням — свертывали безрадостные солдатские узелки, — грустно улыбаясь, обходили каждого «за ручку». Сестра, осмотрев перевязки, целовала «братишек» на последнее прощанье, и шли они, утопая во мху новенькими лапоточками, в безвестную даль и слякоть.

Последним Варя проводила хромого.

— Прощай, братуха, — сказала, целуя его в губы. — Видишь, бог тебя любит — хороший денек устроил... Не забывай нас, бедных...

— А где он, бог-то? — усмехнулся хромой. — Нет бога-то... нет, нет, ядрена вошь!... — Он хотел добавить еще

что-то, привычно-веселое и сдобное, но вдруг, дрогнув в лице, махнул рукой и, отвернувшись, заковылял по тропинке, жутко побрякивая котелком.

Теперь из раненых остались только Фролов и Мечик, да еще Пика, который, собственно, ничем не болел, но не хотел уходить. Мечик — в новой шагреневой рубахе, сшитой ему сестрой, полусидел на койке, подмостив подушку и Пикин халат. Он был уже без повязки на голове, волосы его отросли, вились густыми желтоватыми кольцами, шрам у виска делал все лицо серьезней и старше.

— Вот и ты поправишься, уйдешь скоро,—грустно сказала сестра.

— А куда я пойду? — спросил он неуверенно и сам удивился. Вопрос выплыл впервые и породил неясные, но уже знакомые представления, — не было в них радости. Мечик поморщился. — Некуда идти мне, — сказал он жестко.

— Вот тебе и на!.. — удивилась Варя. — В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш... Да ничего, научишься...

Она села рядом на койку и взяла его за руку. Мечик не глядел на нее, и мысль о том, что рано или поздно придется все-таки уйти, показалась ему ненужной сейчас, горчила, как отрава.

— А ты не бойся, — как бы поняв его, сказала Варя.— Такой красивый и молоденький, а робкий... Робкий ты, — повторила она с нежностью и, неприметно оглядевшись, поцеловала его в лоб. В ласке ее было что-то материнское. — ...Это у Шалдыбы там, а у нас ничего... — быстро зашептала она на ухо, не договаривая слов, — у него там деревенские, а у нас больше шахтеры, свои ребята — можно ладить... Ты ко мне наезжай почаще...

— А как же Морозка?

— А как же та? На карточке? — ответила она вопросом и засмеялась, отпрянув от Мечика, потому что Фролов повернул голову.

— Ну... Я уж и думать забыл... Порвал я карточку, — добавил он торопливо, — видала бумажки тогда?..

— Ну, а с Морозкой и того мене — он, поди, привык. Да он и сам гуляет... Да ты ничего, не унывай, — главное, приезжай почаще. И никому спуску не давай... сам не давай. Ребят наших бояться не нужно — это они на вид злые: палец в рот положи — откусят... А только все это не

страшно — видимость одна. Нужно только самому зубы показывать...

— А ты показываешь разве?

— Мое дело женское, мне, может, этого не надо — я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя... Только не сможешь ты, — добавила она, подумав. И снова, склонившись к нему, шепнула: — Может, я и люблю тебя за это... не знаю...

«А правда, несмелый я совсем, — подумал Мечик, подложив руки под голову и уставившись в небо неподвижным взглядом. — Но неужели я не смогу? Ведь надо как-то, умеют же другие...» В мыслях его, однако, не было теперь грусти — тоскливой и одинокой. Он мог уже на все смотреть со стороны — разными глазами. Происходило это потому, что в болезни его наступил перелом, раны быстро зарастали, тело крепло и наливалось. А шло это от земли —земля пахла спиртом и муравьями, да еще от Вари — глаза у нее были чуткие, как дым, и говорила она все от хорошей любви — хотелось верить.

«...И чего мне унывать в самом деле? — думал Мечик, и ему действительно казалось теперь, что нет никаких поводов к унынию. — Надо сразу поставить себя на равную ногу: спуску никому не давать... самому не давать — это она очень правильно сказала. Люди здесь другие, надо и мне как-то переломиться... И я сделаю это, — подумал он с небывалой решимостью, чувствуя почти сыновнюю благодарность к Варе, к ее словам, к хорошей ее любви. — ...Все тогда пойдет по-новому... И когда я вернусь в город, никто меня не узнает — я буду совсем другой...»

Мысли его отвлеклись далеко в сторону — к светлым будущим дням, — и были они поэтому легкие, таяли сами собой, как розово-тихие облака над таежной прогалиной. Он думал о том, как вместе с Варей вернется в город в качающемся вагоне с раскрытыми окнами, и будут плыть за окном такие же розово-тихие облака над далекими мреющими хребтами. И будут они двое сидеть у окна, прижавшись друг к другу: Варя говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будут совсем золотые, как полдень... И Варя в его мечтах тоже не походила на сутулую откатчицу из шахты № 1, потому что все, о чем думал Мечик, было не настоящее, а такое, каким он хотел бы все видеть.

...Через несколько дней пришло из отряда второе письмо, — привез его Морозка. Он натворил большого переполоху — ворвался из тайги с визгом и гиком, вздыбливая жеребца и крича что-то несуразное. Сделал же он это от избытка жизненных сил и... просто «для смеху».

— Носит тебя, дьявола, — сказал перепуганный Пика с певучей укоризной. — Тут человек умирает, — кивнул он на Фролова, — а ты орешь...

— А-а... отец Серафим! — приветствовал его Морозка. — Наше вам — сорок одно с кисточкой!..

— Я тебе не отец, а зовут меня Ф-федором... — озлился Пика. Последнее время он часто сердился, делался смешным и жалким.

— Ничего, Федосей, не пузырься, не то волосы вылезут... Супруге — почтение! — откланялся Морозка Варе, снимая фуражку и надевая ее на Пикину голову. — Ничего, Федосей, фуражка тебе к лицу. Только ты штанишки подбирай, не то висят, как на пугале, оч-чень неинтеллигентно!

— Что — скоро нам удочки сматывать? — спросил Сташинский, разрывая конверт. — Зайдешь потом в барак за ответом, — сказал, пряча письмо от Харченки, который с опасностью для жизни вытягивал шею из-за его плеча.

Варя стояла перед Морозкой, перебирая передник и впервые испытывая неловкость при встрече с мужем.

— Чего не был давно? — спросила накопец с деланным равнодушием.

— А ты небось скучала? — переспросил он насмешливо, чувствуя ее непонятную отчужденность. — Ну, ничего, теперь нарадуешься — в лес вот пойдем... — Он помолчал и добавил едко: — Страдать...

— Тебе только и делов, — ответила она сухо, не глядя на него и думая о Мечике.

— А тебе?.. — Морозка выжидательно поиграл плетью.

— И мне не впервой, чать не чужие...

— Так идем?.. — сказал он осторожно, не двигаясь с места.

Она опустила передник и, запрокинув косы, пошла вперед по тропинке небрежной деланной походкой, удерживаясь, чтобы не оглянуться на Мечика. Она знала, что он смотрит вслед жалким, растерянным взглядом и никогда не поймет, даже потом, что она исполняет только скучную обязанность.

Она ждала, что вот-вот Морозка обнимет ее сзади, но он не приближался. Так шли они довольно долго, сохраняя расстояние и молча. Наконец она не выдержала и остановилась, взглянув на него с удивлением и ожиданием. Он подошел ближе, но так и не взял ее.

— Что-то финтишь ты, девка... — сказал вдруг хрипло и с расстановкой. — Влипла уже, что ли?

— А ты что — спрос? — Она подняла голову и посмотрела на него в упор — строптиво и смело.

Морозка знал и раньше, что она гуляет в его отсутствие так же, как гуляла в девках. Он знал это еще с первого дня совместной жизни, когда пьяным утром проснулся с головной болью, в груде тел на полу, и увидел, что его молодая и законная жена спит в обнимку с рыжим Герасимом — зарубщиком из шахты № 4. Но — как и тогда, так и во всей последующей жизни — он относился к этому с полным безразличием. По сути дела, он так и не вкусил подлинной семейной жизни и сам никогда не чувствовал себя женатым человеком. Но мысль, что любовником его жены может быть такой человек, как Мечик, показалась ему сейчас очень обидной.

— В кого же это ты, желательно бы узнать, — спросил он нарочито вежливо, выдерживая ее взгляд с небрежной и спокойной усмешкой: он не хотел показывать обиды. — В энтого, маминого, что ли?

— А хоть бы и в маминого...

— Да он ничего — чистенький, — согласился Морозка. — Послаже будет. Ты ему платков нашей — сопли утирать.

— Если надо будет, и нашью и утру... сама утру! слышишь? — Она приблизила лицо вплотную и заговорила быстро и возбужденно: — Ну, чего ты храбришься, что толку в лихости твоей? За три года ребенка не сделал — только языком трепишься, а туда же... Богатырь шиновый!..

— Заделаешь тебе, как же, ежели тут целый взвод работает... Да ты не кричи, — оборвал он ее, — не то...

— Ну, что — не то?.. — сказала она вызывающе. — Может, бить будешь?.. А ну, попробуй, посмотрю я...

Он удивленно приподнял плетку, словно мысль эта явилась для него неожиданным откровением, и снова опустил.

— Нет, бить я не стану... — сказал неуверенно и с сожалением, будто раздумывая еще, не вздуть ли в самом

деле. — Оно и следовало бы, да не привык я бить вашего брата. — В голосе его скользнули незнакомые ей нотки. — Ну, да что ж — живи. Может, барыней будешь... — Он круто повернул и зашагал к бараку, на ходу сбивая плетью цветочные головки.

— Слушай, обожди!.. — крикнула она, вдруг переполняясь жалостью. — Ваня!..

— Не надо мне барских объедков, — сказал он резко. — Пущай моими пользуются...

Она заколебалась, бежать ли за ним или нет, и не побежала. Выждала, пока он скроется за поворотом, и тогда, облизывая высохшие губы, медленно пошла вслед.

Завидев Морозку, слишком скоро вернувшегося из тайги (ординарец шел, сильно размахивая руками, с тяжелым хмурым развальцем), Мечик понял, что у Морозки с Варей «ничего не вышло», и причиной этому — он, Мечик. Неловкая радость и чувство беспричинной виновности ненужно шевельнулись в нем, и стало страшно встретиться с Морозкиным истребляющим взглядом...

У самой койки с хрустом пощипывал травку мохнатый жеребчик: казалось, ординарец идет к нему, на самом деле темная перекошенная сила влекла его к Мечику, но Морозка скрывал это даже от себя, полный неутомимой гордости и презрения. С каждым его шагом чувство виновности в Мечике росло, а радость улетучивалась, он смотрел на Морозку малодушными, уходящими внутрь глазами и не мог оторваться. Ординарец схватил жеребца под уздцы, тот оттолкнул его мордой, повернув к Мечику, будто нарочно, и Мечик захлебнулся внезапно чужим и тяжелым, мутным от ненависти взглядом. В эту короткую секунду он чувствовал себя так приниженно, так невыносимо гадко, что вдруг заговорил одними губами, без слов — слов у него не было.

— Сидите тут в тылу, — с ненавистью сказал Морозка в такт своим темным мыслям, не желая вслушиваться в беззвучные пояснения Мечика. — Рубахи шагреневые понадевали...

Ему стало обидно, что Мечик может подумать, будто злоба его вызвана ревностью, но он сам не сознавал ее истинных причин и выругался длинно и скверно.

— Чего ты ругаешься? — вспыхнув, переспросил Мечик, почувствовав непонятное облегчение после того, как Морозка выругался. — У меня ноги перебиты, а не — в

тылу... — сказал он с гневной самолюбивой дрожью и горечью. В эту минуту он верил сам, что ноги у него перебиты, и вообще чувствовал себя так, словно не он, а Морозка носит шагреневые рубахи. — Мы тоже знаем таких фронтовиков, — добавил, краснея, — я б тебе тоже сказал, если бы не был тебе обязан... на свое несчастье...

— Ага-а... заело? — чуть не подпрыгнув, завопил Морозка, по-прежнему не слушая его и не желая понимать его благородства. — Забыл, как я тебя из полымя вытащил?.. Таскаем мы вас на свою голову!.. — закричал он так громко, словно каждый день таскал «из полымя» раненых, как каштаны, — на св-вою голову!.. вот вы где у нас сидите!.. — И он ударил себя по шее с невероятным ожесточением.

Сташинский и Харченко выскочили из барака. Фролов повернул голову с болезненным удивлением.

— Вы что кричите? — спросил Сташинский, с жуткой быстротой мигая одним глазом.

— Совесть моя где?! — кричал Морозка в ответ на вопрос Мечика, где у него совесть. — Вот она где, совесть, — вот, вот! — рубил он с остервенением, делая неприличные жесты. Из тайги, с разных сторон, бежали сестра и Пика, крича что-то наперерыв. Морозка вскочил на жеребца и сильно вытянул его плетью, что случалось с ним только в минуты величайшего возбуждения. Мишка взвился на дыбы и прыгнул в сторону, как ошпаренный.

— Обожди, письмо захватишь!.. Морозка!.. — растерянно крикнул Сташинский, но Морозки уже не было. Из потревоженной чащи доносился бешеный топот удалявшихся копыт.

VIII. Первый ход

Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента, ветви больно хлестали Морозку по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Отдельные моменты нелепого разговора с Мечиком — один хлеще другого — вновь и вновь рождались в разгоряченном мозгу, и все же Морозке казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям.

Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в

обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Он мог бы жестоко высмеять любовь Мечика к кудрявой барышне, портрет которой, может, еще хранится у него в кармане пиджака, возле сердца, и надарить эту красивую, чистенькую барышню самыми паскудными именами... Тут он вспомнил, что Мечик ведь «спутался» с его женой и навряд ли оскорбится теперь за чистенькую барышню, и вместо злорадного торжества над унижением противника Морозка снова чувствовал *свою* непоправимую обиду.

...Мишка, разобиженный вконец несправедливостью хозяина, бежал до тех пор, пока в натруженных губах не ослабели удила; тогда он замедлил ход и, не слыша новых понуканий, пошел показно-быстрым шагом, совсем как человек, оскорбленный, но не теряющий собственного достоинства. Он не обращал внимания даже на соек, — они слишком много кричали в этот вечер, но, как всегда, попусту, и больше обычного казались ему суетливыми и глупыми.

Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы, прямо в лицо, било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело,— так не похоже на соечью людскую суету. Гнев Морозки остыл. Обидные слова, которые он сказал или хотел сказать Мечику, давно утратили мстительно-яркое оперение, предстали во всей своей общипанной неприглядности: они были ненужно-крикливы и легковесны. Он сожалел уже, что связался с Мечиком — не «выдержал марку» до конца. Он чувствовал теперь, что Варя вовсе не так безразлична ему, как это казалось раньше, и вместе с тем твердо знал, что никогда уже не вернется к ней. И оттого, что Варя была наиболее близким человеком, который связывал его с прежней жизнью на руднике, когда он жил, «как все», когда все казалось ему простым и ясным, — теперь, расставшись с ней, он испытывал такое чувство, точно эта большая и цельная полоса его жизни завершилась, а новая еще не началась,

Солнце заглядывало Морозке под козырек — оно еще стояло над хребтом бесстрастным, немигающим глазом, но поля вокруг были тревожно-безлюдны.

Он видел неубранные ячменные снопы на недожатых полосах, бабий передник, забытый второпях на суслоне[1],

[1] Суслон — составленные на жнивье снопы. *(Прим. А Фадеева.)*

грабли, комлем воткнутые в межу. На покривившемся стогу уныло, по-сиротски, примостилась ворона и молчала. Но все это проплывало мимо сознания. Морозка разворошил давнишнюю слежавшуюся пыль воспоминаний и обнаружил, что это совсем не веселый, а очень безрадостный проклятый груз. Он почувствовал себя заброшенным и одиноким. Казалось, он сам плывет над огромным вымороченным полем, и тревожная пустота последнего только сильней подчеркивала его одиночество.

Очнулся он от дробного конского топота, внезапно вырвавшегося из-за бугра. Едва вскинул голову — перед ним выросла стройная, перетянутая в поясе фигурка дозорного на глазастой бедовой лошадке, — от неожиданности она так и села на задние ноги.

— Ну, ты-ы, кобло́, вот кобло́!.. — выругался дозорный, поймав на лету сбитую толчком фуражку. — Морозка, что ли? Вали скорей до дому, до дому вали: там у нас такое — не разбери-поймешь, ей-богу...

— А что?

— Да дезертиры тут прошли, наговорили цельный воз, цельный воз — японцы-де вот-вот будут! Мужики с поля, бабы в рев, бабы в рев... Нагнали у парома телег, что твой базар — потеха!.. Мало паромщика не убили, доси, поди, всех не переправил — нет, не переправил!.. А Гришка наш сгонял верст за десять — японцев и слыхом не слыхать, не слыхать — брехня. Набрехали, суки!.. Стрелять за такие дела — и то патронов жалко, и то жалко, ей-богу... — Дозорный брызгал слюной, размахивал плетью и то снимал, то надевал фуражку, лихо потряхивая кудерьками, словно, помимо всего прочего, хотел еще сказать: «Смотри, дорогой, как девки меня любят».

Морозка вспомнил, как месяца два тому назад этот парень украл у него жестяную кружку, а после божился, что она у него «еще с германского фронта». Кружки было не жаль теперь, но воспоминание это — сразу, быстрей слов дозорного, которого Морозка не слушал, занятый своим, — втолкнуло его в привычную колею отрядной жизни. Срочная эстафета, приезд Канунникова, отступление Осокина, слухи, которыми питался отряд последнее время, — все это хлынуло на него тревожной волной, смывая черную накипь прошедшего дня.

— Какие дезертиры, чего ты треплешься? — перебил он дозорного. Тот удивленно приподнял бровь и застыл

с занесенной фуражкой, которую только что снял и снова собирался надеть. — Тебе бы только фасон давить, женя с ручкой! — презрительно сказал Морозка; сердито дернул под уздцы и через несколько минут был уже у парома.

Волосатый паромщик, с подвернутой штаниной, с огромным чирьем на колене, и впрямь замучился, гоняя перегруженный паром взад и вперед, и все же многие еще толпились на этой стороне. Едва паром приставал к берегу, на него обрушивалась целая лавина людей, мешков, телег, голосивших ребят, люлек — каждый старался поспеть первым; все это толкалось, кричало, скрипело, падало, — паромщик, потеряв голос, напрасно раздирал глотку, стараясь водворить порядок. Курносая баба, успевшая лично поговорить с дезертирами, терзаемая неразрешимым противоречием между желанием скорее попасть домой и досказать свои новости остающимся, — в третий раз опаздывала на паром, тыкала вслед громадным, больше себя, мешком с ботвой для свиней и то молила: «Господи, господи», то снова принималась рассказывать, чтобы опоздать в четвертый раз.

Морозка, попав в эту сумятицу, хотел было, по старой привычке («для смеху»), попугать еще сильнее, но почему-то раздумал и, соскочив с лошади, принялся успокаивать.

— И охота брехать тебе, никаких там японцев нету, — перебил вконец осатаневшую бабу, — расскажет тоже: «Га-азы пущают...» Какие там газы? Корейцы, может, солому палили, а ей — га-азы...

Мужики, забыв про бабу, обступили его, — он вдруг почувствовал себя большим, ответственным человеком и, радуясь необычной своей роли и даже тому, что подавил желание «попугать», — до тех пор опровергал и высмеивал россказни дезертиров, пока окончательно не расхолодил собравшихся. Когда причалил следующий паром, не было уже такой давки. Морозка сам направлял подводы по очереди, мужики сетовали, что рано уехали с поля, и, в досаде на себя, ругали лошадей. Даже курносая баба с мешком попала наконец в чью-то телегу между двумя конскими мордами и широким мужичьим задом.

Морозка, перегнувшись через перила, смотрел, как бегут меж лодок белые кружочки пены — ни один не обгонял другого, — их естественный порядок напомнил ему,

как сам он только что сорганизовал мужиков; напоминание это было приятно.

У поскотины он встретил дозорную смену — пятерых ребят из взвода Дубова. Они приветствовали его смехом и добродушной матерщиной, потому что всегда были рады его видеть, а говорить им было не о чем, и потому еще, что все это были здоровые и крепкие ребята, а вечер наступал прохладный, бодрый.

— Катись колбаской!.. — проводил их Морозка и с завистью посмотрел вслед. Ему захотелось быть вместе с ними, с их смехом и матерщиной — вместе мчаться в дозор прохладным и бодрым вечером.

Встреча с партизанами напомнила Морозке, что, уезжая из госпиталя, он не захватил письма Сташинского, а за это может попасть. Картина сходки, когда он чуть не вылетел из отряда, внезапно встала перед глазами, и сразу что-то защемило. Морозка только теперь почувствовал, что это событие было, может, самым важным для него за последний месяц — гораздо важнее того, что произошло в госпитале.

— Михрютка, — сказал он жеребцу и взял его за холку. — Надоело мне все, браток, до бузовой матери... — Мишка мотнул головой и фыркнул.

Подъезжая к штабу, Морозка принял твердое решение «наплевать на все», и отпроситься во взвод к ребятам, сложив с себя обязанности ординарца.

На крыльце у штаба Бакланов допрашивал дезертиров, — они были безоружны и под охраной. Бакланов, сидя на ступеньке, записывал фамилии.

— Иван Филимонов... — лепетал один жалобным голосом, изо всех сил вытягивая шею.

— Как?.. — грозно переспрашивал Бакланов, поворачиваясь к нему всем туловищем, как это делал обычно Левинсон. (Бакланов думал, что Левинсон поступает так, желая подчеркнуть особую значительность своих вопросов, на самом же деле Левинсон поворачивался так потому, что когда-то был ранен в шею и иначе вообще не мог повернуться.)

— Филимонов?.. Отчество!..

— Левинсон где? — спросил Морозка. Ему кивнули на дверь. Он поправил чуб и вошел в избу.

Левинсон занимался за столом в углу и не заметил его. Морозка в нерешительности поиграл плеткой. Как и

всем в отряде, командир казался Морозке необыкновенно правильным человеком. Но так как жизненный опыт подсказывал ему, что правильных людей не существует, то он старался убедить себя, что Левинсон, наоборот, — величайший жулик и «себе на уме». Тем не менее он тоже был уверен, что командир «все видит наскрозь» и обмануть его почти невозможно: когда приходилось просить о чем-либо, Морозка испытывал странное недомогание.

— А ты все в бумагах возишься, как мыша, — сказал он наконец. — Отвез я пакет в полной справности.

— Ответа нет?

— Не-ету...

— Ладно. — Левинсон отложил карту и встал.

— Слушай, Левинсон... — начал Морозка. — У меня просьба к тебе... Сполнишь — вечным другом будешь, правда...

— Вечным другом? — с улыбкой переспросил Левинсон. — Ну, говори, что там за просьба.

— Пусти меня во взвод...

— Во взво-од?.. С чего это тебе приспичило?

— Да долго рассказывать — очертело мне, поверь совести... Точно и не партизан я, а так... — Морозка махнул рукой и нахмурился, чтобы не выругаться и не испортить дела.

— А кто же ординарцем?

— Да Ефимку можно приспособить, — уцепился Морозка. — Ох, и ездок, скажу тебе, — в старой армии призы брал!

— Так говоришь, вечным другом? — снова переспросил Левинсон таким тоном, точно это соображение могло иметь как раз решающее значение.

— Да ты не смейся, холера чертова!.. — не выдержал Морозка. — К нему с делом, а он хаханьки...

— А ты не горячись. Горячиться вредно... Скажешь Дубову, чтоб прислал Ефимку, и... можешь отправляться.

— Вот эт-то удружил, вот удружил!.. — обрадовался Морозка. — Вот поставил марку... Левинсон... эт-то н-номер!.. — Он сорвал с головы фуражку и хлопнул ею об пол.

Левинсон поднял фуражку и сказал:

— Дура.

...Морозка приехал во взвод — уже стемнело. Он застал в избе человек двенадцать. Дубов, сидя верхом на скамейке, при свете ночника разбирал наган.

— А-а, нечистая кровь... — пробасил он из-под усов. Увидев сверток в руках Морозки, удивился. — Ты чего это со всеми причиндалами? Разжаловали, что ли?

— Шабаш! — закричал Морозка. — Отставка!.. Перо в зад, без пенсии... Снаряжай Ефимку — командир приказывает...

— Видно, ты удружил? — едко спросил Ефимка, сухой и желчный парень, заросший лишаями.

— Вали, вали — там разберемся... Одним словом — с повышением, Ефим Семенович!.. Магарыч с вас...

От радости, что снова находится среди ребят, Морозка сыпал прибаутками, дразнился, щипал хозяйку, крутился по избе, пока не налетел на взводного и не опрокинул ружейного масла.

— Калека, вертило немазаное! — выругался Дубов и хлопнул его по спине так, что Морозкина голова мало не отделилась от туловища.

И хоть было очень больно, Морозка не обиделся — ему даже нравилось, как ругается Дубов, употребляя свои, никому не известные слова и выражения: все здесь он принимал как должное.

— Да... пора, пора уж... — говорил Дубов. — Это хорошо, что ты снова к нам присмыкнулся. А то испохабел вовсе — заржавел, как болт неприткнутый, из-за тебя срам...

Все соглашались с тем, что это хорошо, но по другой причине: большинству нравилось в Морозке как раз то, что не нравилось Дубову.

Морозка старался не вспоминать о поездке в госпиталь. Он очень боялся, что кто-нибудь спросит: «А как жинка твоя поживает?..»

Потом вместе со всеми он ездил на реку поить лошадей... Глухо, нестрашно кричали в забоке сычи, в тумане над водой расплывались конские головы, тянулись молча, насторожив уши; у берега ежились темноликие кусты в холодной медвяной росе. «Вот это жизнь...» — думал Морозка и ласково подсвистывал жеребцу.

Дома чинили седла, протирали винтовки; Дубов читал вслух письма с рудника, а ложась спать, назначил Морозку дневальным «по случаю возвращения в Тимофеево лоно».

Весь вечер Морозка чувствовал себя исправным солдатом и хорошим, нужным человеком.

Ночью Дубов проснулся от сильного толчка в бок.

— Что? что?.. — спросил испуганно и сел. Не успел продрать глаза на тусклый ночничок — услышал, вернее почувствовал, отдаленный выстрел, через некоторое время другой.

У кровати стоял Морозка, кричал:

— Вставай скорей! Стреляют за рекой!...

Редкие одиночные выстрелы следовали один за другим с почти правильными промежутками.

— Буди ребят, — распорядился Дубов, — сейчас же крой по всем халупам... Скоро!..

Через несколько секунд в полном боевом снаряжении он выскочил во двор. Небо расступилось — безветренно-холодное. По мглистым нехоженым тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды. Из темной дыры сеновала выскакивали — один за другим — взъерошенные партизаны, ругаясь, застегивая на ходу патронташи, выводили лошадей. С насестов с неистовым кудахтаньем летели куры, лошади бились и ржали.

— В ружье!.. по коням! — командовал Дубов. — Митрий, Сеня!.. Бежите по хатам, будите людей... Скоро!..

С площади у штаба взвилась динамитная ракета и покатилась по небу с дымным шипеньем. Сонная баба высунулась в окно и быстро нырнула обратно.

— Завязывай... — сказал кто-то упавшим в дрожи голосом.

Примчавшийся из штаба Ефимка кричал в ворота:

— Тревога!.. Все на сборное место в полном готове!.. — Взметнул над венцом оскаленной лошадиной пастью и, крикнув еще что-то непонятное, исчез.

Когда вернулись посланные, оказалось, что больше половины взвода не ночует дома: с вечера ушли на гулянку и, видно, остались у девчат. Растерявшийся Дубов, не зная — выступать ли с наличным составом или съездить в штаб самому узнать, в чем дело, — ругаясь в бога и священный синод, послал во все концы разыскивать поодиночке. Два раза приезжали ординарцы с приказом немедленно прибыть всем взводом, а он все не мог найти людей, метался по двору, как пойманный зверь, готов был в отчаянии пустить себе пулю в лоб и, может быть, пустил бы, если б не чувствовал все время своей тяжелой ответственности. Многие в эту ночь пострадали от его безжалостных кулаков.

Наконец, напутствуемый надрывным собачьим воем, взвод ринулся к штабу, наполняя придавленные страхом улицы бешеным конским топотом и звоном стали.

Дубов очень удивился, застав весь отряд на площади. Вдоль по главному тракту вытянулся готовый в путь обоз, — многие, спешившись, сидели возле лошадей и курили. Он отыскал глазами маленькую фигурку Левинсона, тот стоял возле освещенных факелом бревен и спокойно разговаривал с Метелицей.

— Что ж ты так поздно? — набросился Бакланов. — А говоришь еще: «Мы-ы... шахте-еры...» — Он был вне себя, иначе никогда бы не сказал Дубову подобной фразы. Взводный только рукой махнул. Самым обидным для него было сознание, что этот вот молодой парень Бакланов имеет теперь законное право всячески хулить его, но даже хула та не будет достойной платой за его, Дубова, вину. Кроме того, Бакланов уязвил его в самое больное место: в глубине души Дубов полагал, что звание шахтера самое высокое и почетное, какое только может носить человек на земле. Теперь он был уверен, что его взвод опозорил и себя, и Сучанский рудник, и все шахтерское племя, по крайней мере, до седьмого колена.

Изругавшись вволю, Бакланов уехал снимать дозоры. От пятерых ребят, вернувшихся из-за реки, Дубов узнал, что никакого неприятеля нет, а стреляли они «в белый свет, как в копейку», по приказанию Левинсона. Он понял тогда, что Левинсон хотел проверить боевую готовность отряда, и ему стало еще горше от сознания, что он не оправдал доверия командира, не стал примером для других.

Когда взводы построились и сделали перекличку, обнаружилось, что многих все же недостает. Особенно много дезертиров оказалось у Кубрака. Сам Кубрак ездил днем прощаться с родней и до сих пор не протрезвился. Несколько раз он обращался к своему взводу с речью — «могут ли его уважать, если он такой подлец и свинья», — и плакал. И весь отряд видел, что Кубрак пьян. Только Левинсон будто не замечал этого, иначе пришлось бы снять Кубрака с должности, а его некем было заменить.

Левинсон проехал по строю и, вернувшись на середину, поднял руку. Она повисла холодно и строго. Слышны стали тайные ночные шумы.

— Товарищи... — начал Левинсон, и голос его, негромкий, но внятный, был услышан каждым, как биение своего сердца. — Мы уходим отсюда... куда — этого не стоит сейчас говорить. Японские силы — хотя их не нужно преувеличивать — все же такие, что нам лучше укрыться до поры, до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет. Она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание?.. Сегодня никак не оправдали... Мы распустились, как девочки!.. Ну что, если бы на самом деле были японцы?.. Да они ведь передушили б нас, как цыплят!.. Срам!.. — Левинсон быстро перегнулся вперед, и последние его слова хлестнули сразу развернутой пружиной так, что каждый вдруг почувствовал себя захваченным врасплох цыпленком, которого душат в темноте неумолимые железные пальцы.

Даже ничего не понявший Кубрак сказал убежденно:

— Прравильно... Все ето... прравильно... — Крутнул квадратной головой и громко икнул.

Дубов ждал с минуты на минуту, что Левинсон скажет: «Вот, например, Дубов — он пришел сегодня к шапочному разбору, а ведь я надеялся на него больше всех, — срам!..» Но Левинсон никого не упомянул по имени. Он вообще говорил немного, но упорно бил в одно место, будто вколачивал массивный гвоздь, которому предстоит служить на вечные времена. Только убедившись, что слова его дошли по назначению, он посмотрел в сторону Дубова и неожиданно сказал:

— Дубова взвод пойдет с обозом... Уж больно прыткий... — вытянулся на стременах и, взмахнув плетью, скомандовал: — Сми-и-ирно... справа по три... а-а-арш!..

Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули седла, и, колыхаясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая вереница людей поплыла туда, где из-за древних сихотэ-алиньских отрогов — такой же древний и молодой — вздымался рассвет.

IX. Мечик в отряде

Сташинский узнал о выступлении от помощника начхоза, прибывшего в лазарет заготовлять продовольствие.

— Он, Левинсон-то, смекалистый, — говорил помощник, подставляя солнцу выцветшую горбатую спину. —

Без его мы бы все пропали... Вот и здесь рассуди: дорогу в лазарет никто не знает, в случае чего загонют нас — мы сюда всем отрядом шасть!.. и поминай, как нас звали... а уж тут и провиант и фураж припасены. Ло-овко придумано!.. — Помощник в восхищении крутил головой, и Сташинский видел, что хвалит он Левинсона не только потому, что тот на самом деле «смекалистый», а еще из приятности, которую доставляет помощнику приписывание другому человеку несвойственных ему самому хороших качеств.

В этот же день Мечик впервые встал на ноги. Поддерживаемый под руки, прошелся по лужайке, удивленно-радостно ощущая упругий дерн под ногами, и беспричинно смеялся. А после, лежа на койке, чувствовал неугомонное биение сердца не то от усталости, не то от этого радостного ощущения земли. Ноги еще дрожали от слабости, и по всему телу бродил веселый, прыгающий зуд.

Пока Мечик гулял, на него с завистью смотрел Фролов, и Мечик никак не мог перебороть чувства какой-то вины перед ним. Фролов болел уже так долго, что исчерпал все сострадание окружающих. В их непременной ласке и заботливости он слышал постоянный вопрос: «Когда же ты все-таки умрешь?» — но умирать не хотел. И видимая нелепость его цепляний за жизнь давила всех, как могильная плита.

До последнего дня пребывания Мечика в госпитале между ним и Варей тянулись странные отношения, похожие на игру, где каждый знал, чего хочет одна и боится другой, но ни один не решался сделать смелый, исчерпывающий ход.

За трудную и терпеливую свою жизнь, где мужчин было так много, что невозможно было отличить их по цвету глаз, волос, даже по именам, — Варя ни одному не могла сказать: «желанный, любимый». Мечик был первый, которому она вправе была — и сказала эти слова. Ей казалось, что только он, такой красивый, скромный и нежный, способен удовлетворить ее тоску материнства и что полюбила она его именно за это. В тревожной немоте она звала его по ночам, искала каждый день неутолимо, жадно, стараясь увести от людей, чтобы подарить свою позднюю любовь, но никогда не решалась почему-то сказать этого прямо.

И хоть Мечику хотелось того же со всем пылом и воображением только что созревшей юности, он упорно избегал оставаться с ней наедине — то таскал за собой Пику, то жаловался на нездоровье. Он робел потому, что никогда не был близок с женщиной; ему казалось, что это выйдет у него не так, как у людей, а очень стыдно. Если же удавалось преодолеть робость, перед ним вставала вдруг гневная фигура Морозки, как он идет из тайги, размахивая плетью, и Мечик испытывал тогда смесь страха и сознания своего неоплатного долга перед этим человеком.

В этой игре он похудел и вырос, но так до последней минуты и не превозмог слабости. Ушли они вместе с Пикой, неловко простившись со всеми, словно с чужими. Варя нагнала их на тропе.

— Давай уж хоть простимся как следует, — сказала, зардевшись от бега и смущения. — Там я постеснялась как-то... никогда этого не было, а тут постеснялась, — и виновато сунула ему вышитый кисет, как делали все молодые девушки на руднике.

Ее смущение и подарок так не вязались с ней, — Мечику стало жаль ее и стыдно перед Пикой, он едва коснулся ее губами, а она смотрела на него последним дымчатым взглядом, и губы ее кривились.

— Смотри же, наезжай!.. — крикнула она, когда они уж скрылись в чаще. И, не слыша ответа, тут же, опустившись в траву, заплакала.

Дорогой, оправившись от грустных воспоминаний, Мечик почувствовал себя настоящим партизаном, даже подвернул рукава, желая загореть: ему казалось, что это очень необходимо в той новой жизни, которую он начал после памятного разговора с сестрой.

Устье Ирохедзы было занято японскими войсками и колчаковцами. Пика трусил, нервничал, жаловался всю дорогу на несуществующие боли. Мечик никак не мог уговорить его обойти село долиной. Пришлось карабкаться по хребтам, по безвестным козьим про́торям. Они спустились к реке на вторую ночь скалистыми кручами, едва не убившись, — Мечик еще нетвердо чувствовал себя на ногах. Почти к утру попали в корейскую фанзу; жадно глотали чумизу без соли, и, глядя на истерзанную, жалкую фигуру Пики, Мечик никак не мог восстановить пленявший его когда-то образ тихого и светлого старичка

над тихим камышовым озером. Раздавленным своим видом Пика как бы подчеркивал непрочность и лживость этой тишины, в которой нет отдыха и спасения.

Потом шли редкими хуторами, где никто не слыхал о японцах. На вопрос — проходил ли отряд? — им указывали в верховья, расспрашивали новости, поили медовым квасом, девки заглядывались на Мечика. Началась уже бабья страда. Дороги тонули в густой колосистой пшенице, росились по утрам опустевшие паутины, и воздух был полон пчелиного предосенне-жалобного гуда.

В Шибиши они пришли под вечер; деревушка стояла под лесистой горой, на пригреве, — закатное солнце било с противоположной стороны. У дряхлой, заросшей грибами часовенки группа веселых, горластых парней с красными бантами во всю фуражку играла в городки. Только что пробил маленький человечек, в высоких ичигах и с рыжей, длинным клином, бородой, похожий на гнома, каких рисуют в детских сказках, — позорно промахнув все палки. Над ним смеялись. Человечек конфузливо улыбался, но так, что все видели, что ему нисколько не конфузно, а тоже очень весело.

— Вон он, Левинсон-то, — сказал Пика.

— Где?

— Да вон — рыжий... — Бросив недоумевающего Мечика, Пика с неожиданной, бесовской прытью посеменил к маленькому человечку.

— Глянь, ребята, — Пика!..

— Пика и есть...

— Приплелся, черт лысый!..

Парни, побросав игру, обступили старика. Мечик остался в стороне, не зная — подойти или ждать, пока позовут.

— Кто это с тобой? — спросил наконец Левинсон.

— А парень один с госпиталя... ха-роший парень!..

— Раненый это, что Морозка привез, — вставил кто-то, узнав Мечика. Тот, услышав, что говорят о нем, подошел ближе.

У маленького человечка, так плохо игравшего в городки, оказались большие и ловкие глаза, — они схватили Мечика и, вывернув его наизнанку, подержали так несколько мгновений, будто взвешивали все, что там оказалось.

— Вот пришел к вам в отряд, — начал Мечик, крас-

нея за свои засученные рукава, которые забыл отвернуть. — Раньше был у Шалдыбы... до ранения, — добавил для вескости.

— А у Шалдыбы с каких пор?

— С июня — так, с середины...

Левинсон снова окинул его пытливым, изучающим взглядом.

— Стрелять умеешь?

— Умею... — неуверенно сказал Мечик.

— Ефимка... Принеси драгунку...

Пока бегали за винтовкой, Мечик чувствовал, как щупают его со всех сторон десятки любопытных глаз, немое упорство которых он начинает принимать за враждебность.

— Ну вот... Во что бы тебе выстрелить? — Левинсон поискал глазами.

— В крест! — радостно предложил кто-то.

— Нет, в крест не стоит... Ефимка, поставь городок на столб, вон туда...

Мечик взял винтовку и едва не зажмурился от жути, которая им овладела (не потому, что нужно было стрелять, а потому, что казалось, будто все хотят его промаха).

— Левой рукой поближе возьми — легше так, — посоветовал кто-то.

Эти слова, сказанные с явным сочувствием, много помогли Мечику. Осмелев, он надавил курок и в грохоте выстрела — тут он все-таки зажмурился — успел заметить, как городок слетел со столба.

— Умеешь... — засмеялся Левинсон. — С лошадью обращаться приходилось?

— Нет, — сознался Мечик, готовый после такого успеха принять на себя даже чужие грехи.

— Жаль, — сказал Левинсон. Видно было, что ему действительно жаль. — Бакланов, дашь ему Зючиху. — Он лукаво прищурился. — Береги ее, лошадь безобидная. Как беречь, взводный научит... В какой взвод мы его направим?

— Я думаю, к Кубраку — у него недостача, — сказал Бакланов. — Вместе с Пикой будут.

— И то... — согласился Левинсон. — Вали.

...Первый же взгляд на Зючиху заставил Мечика забыть свою удачу и вызванные ею мальчишески-гордые надежды. Это была слезливая скорбная кобыла, грязно-

белого цвета, с продавленной спиной и мякинным брюхом — покорная крестьянская лошадка, испахавшая в своей жизни не одну десятину. Вдобавок ко всему она была жеребой, и странное ее прозвище пристало к ней, как к шепелявой старухе господне благословение.

— Это мне, да?.. — спросил Мечик упавшим голосом.

— Лошадь неказистая, — сказал Кубрак, хлопнув ее по заду. — Копыта у ее слабые — не то, сказать, от востпитания, не то от болезненного отношения... Ездить, однако, можно... — Он повернул к Мечику квадратную, в седоватом ежике, голову и повторил с тупой убежденностью: — Можно ездить...

— Разве других у вас нет? — спросил Мечик, сразу проникаясь бессильной ненавистью к Зючихе и к тому, что на ней можно ездить.

Кубрак, не ответив, принялся скучно и монотонно рассказывать, что должен делать Мечик утром, в обед и вечером с этой обшарпанной кобылой, чтобы уберечь ее от неисчислимых опасностей и болезней.

— Вернулся с походу — сразу не расседлывай, — поучал взводный, — пущай постоит, остынет. А как только расседлал, вытри ее спину ладошкой или сеном, и перед тем как седлать, тоже вытирай...

Мечик с дрожью в губах смотрел куда-то поверх лошади и не слушал. Он чувствовал себя так, словно эту обидную кобылу с разляпанными копытами дали ему нарочно, чтобы унизить с самого начала. Последнее время всякий свой поступок Мечик рассматривал под углом той новой жизни, которую он должен был начать. И ему казалось теперь, что не может быть речи о какой-то новой жизни с этой отвратительной лошадью: никто не будет видеть, что он уже совсем другой, сильный, уверенный в себе человек, а будут думать, что он прежний, смешной Мечик, которому нельзя доверить даже хорошей лошади.

— У кобылы у етой, помимо протчего — ящур... — неубедительно говорил взводный, не желая знать, как Мечик обижен и доходят ли слова по назначению. — Лечить бы его надо купоросом, одначе купоросу у нас нету. Ящур лечим мы куриным пометом — средство тоже очень искреннее. Наложить надо на тряпочку и обернуть округ удилов перед зануздкой — очень помогаить...

«Что я — мальчишка, что ли? — думал Мечик, не слушая взводного. — Нет, я пойду и скажу Левинсону, что

я не желаю ездить на такой лошади... Я вовсе не обязан страдать за других (ему приятно было думать, будто он стал жертвой за кого-то другого). Нет, я все скажу ему прямо, пускай он не думает...»

Только когда взводный кончил и лошадь была вверена всецело попечению Мечика, он пожалел, что не слушал объяснений, Зючиха, понурив голову, лениво перебирала белыми губами, и Мечик понял, что вся ее жизнь находится теперь в его руках. Но он по-прежнему не знал, как распоряжаться нехитрой лошадиной жизнью. Он не сумел даже хорошенько привязать эту безропотную кобылу, она бродила по всем конюшням, тычась в чужое сено, раздражая лошадей и дневальных.

— Да где он, холера, новенький этот?.. Чего кобылу свою не вяжет!.. — кричал кто-то в сарае. Слышались яростные удары плети. — Пошла, пошла-а, стерва!.. Дневальный, убери кобылу, ну ее к...

Мечик, вспотев от быстрой ходьбы и внутреннего жара, перебирая в голове самые злые выражения, натыкаясь на колючий кустарник, шагал по темным, дремлющим улицам, отыскивая штаб. В одном месте чуть не попал на гулянку — хриплая гармонь исходила «саратовской», пыхали цигарки, звенели шашки и шпоры, девчата визжали, дрожала земля в сумасшедшем плясе. Мечик постеснялся спросить у них дорогу и обошел стороной. Он проплутал бы всю ночь, если бы навстречу не вынырнула из-за угла одинокая фигура.

— Товарищ! Где пройти к штабу? — окликнул Мечик, подходя ближе. И узнал Морозку. — Здравствуйте... — сказал с сильным смущением.

Морозка остановился в замешательстве, издав какой-то неопределенный звук...

— Второй двор направо, — ответил наконец, не придумав ничего большего. Странно блеснул глазами и прошел мимо, не оборачиваясь...

«Морозка... да... ведь он здесь...» — подумал Мечик и, как в прежние дни, почувствовал себя одиноким, окруженным опасностями в виде Морозки, темных, незнакомых улиц, безропотной кобылы, с которой неизвестно как обращаться.

Когда он подошел к штабу, решимость его окончательно ослабела, он не знал уже, зачем пришел, что будет делать и говорить.

Человек двадцать партизан лежали вокруг костра, разведенного посреди пустого, огромного, как поле, двора. Левинсон сидел у самого костра, поджав по-корейски ноги, околдованный дымным шипучим пламенем, и еще больше напомнил Мечику гнома из детской сказки. Мечик приблизился и стал позади, — никто не оглянулся на него. Партизаны по очереди рассказывали скверные побасенки, в которых неизменно участвовал недогадливый поп с блудливой попадьей и удалой парень, легко ходивший по земле, ловко надувавший попа из-за ласковых милостей попадьи. Мечику казалось, что рассказываются эти вещи не потому, что они смешны на самом деле, а потому, что больше нечего рассказывать; смеются же по обязанности. Однако Левинсон все время слушал со вниманием, смеялся громко и будто искренне. Когда его попросили, он тоже рассказал несколько смешных историй. И так как был среди собравшихся самый грамотный, истории его получались самыми замысловатыми и скверными. Но Левинсон, как видно, нисколько не стеснялся, а говорил насмешливо-спокойно, и скверные слова шли, будто не задевая его, как чужие.

Глядя на него, Мечику невольно захотелось рассказать самому — в сущности, он любил слушать такие вещи, хотя считал их стыдными и старался делать вид, будто стоит выше их, — но ему казалось, что все посмотрят на него с удивлением и выйдет очень неловко.

Он так и ушел, не присоединившись, унося в сердце досаду на себя и обиду на всех, больше на Левинсона. «Ну и пусть, — думал Мечик, обидчиво поджимая губы, — все равно я не буду за ней ухаживать, пускай подыхает. Посмотрим, что он запоет, а я не боюсь...»

В последующие дни он действительно перестал обращать внимание на лошадь, брал ее только на конное учение, изредка на водопой. Если бы он попал к более заботливому командиру, возможно, его скоро бы подтянули, но Кубрак никогда не интересовался, что делается во взводе, предоставляя всему идти положенным ходом. Зючиха обросла паршами, ходила голодная, непоенная, изредка пользуясь чужой жалостью, а Мечик снискал всеобщую нелюбовь, как «лодырь и задавала».

Из всего взвода только два человека были ему более или менее близки — Пика и Чиж. Но сошелся он с ними не потому, что они удовлетворяли его, а потому, что боль-

ше ни с кем не умел сойтись. Чиж сам подошел к нему, стараясь снискать его расположение. Улучив момент, когда Мечик, после ссоры с отделенным из-за нечищеной винтовки, лежал один под навесом, тупо уставившись в потолок, Чиж приблизился к нему развязной походкой со словами:

— Рассердились?.. Бросьте! Тупой, малограмотный человек, стоит ли обращать внимание?

— Я не сержусь, — сказал Мечик со вздохом.

— Значит, скучаете? Это другое дело, это я могу понять... — Чиж опустился на снятый передок телеги и привычным жестом подтянул свои густо смазанные сапоги. — Что ж, знаете, и мне скучно — интеллигентных людей тут мало. Разве только Левинсон, да он тоже... — Чиж махнул рукой и многозначительно посмотрел на ноги.

— А что?.. — спросил Мечик с любопытством.

— Да что ж, знаете, вовсе не такой уж образованный человек. Просто хитрый. На нашем горбу капиталец себе составляет. Не верите? — Чиж горько улыбнулся. — Ну да! Вы, конечно, думаете, что он очень храбрый, талантливый полководец. — Слово «полководец» он произнес с особым смаком. — Бросьте!.. Все это мы сами сочинили. Я вас уверяю... Да вот возьмем хотя бы конкретный случай нашего ухода: вместо того чтобы стремительным ударом опрокинуть неприятеля, мы ушли куда-то в трущобу. Из высших, видите ли, стратегических соображений! Там, может быть, товарищи наши погибают, а у нас — стратегические соображения... — Чиж, не замечая, вынул из колеса чекушку и досадливо сунул ее обратно.

Мечику не верилось, чтобы Левинсон был действительно таков, каким изображал его Чиж, но слушать было интересно: он давно не слыхал такой грамотной речи, и ему хотелось почему-то, чтобы в ней была доля правды.

— Неужели это верно? — сказал он, приподымаясь. — А он показался мне очень порядочным человеком.

— Порядочным?! — ужаснулся Чиж. Голос его утратил обычные сладковатые нотки, и в нем звучало теперь сознание своего превосходства. — Какое заблуждение. Да вы посмотрите, каких он подбирает людей!.. Ну что такое Бакланов? Мальчишка! Много о себе думает, а какой из него помощник командира? Разве нельзя было других

найти? Конечно, я сам больной, израненный человек — я ранен семью пулями и оглушен снарядом, — я вовсе не гонюсь за такой хлопотной должностью, но, во всяком случае, я был бы не хуже его — скажу не хвалясь...

— Может быть, он не знал, что вы хорошо понимаете в военном деле?

— Господи, не знал! Да все об этом знают, спросите у любого. Конечно, многие завидуют и наговорят вам по злобе, но это же факт!..

Постепенно Мечик оживился тоже и стал делиться своими настроениями. Весь день они провели вместе. И хотя после нескольких таких встреч Чиж стал просто неприятен Мечику, все же он не мог от него отвязаться. Он даже сам искал его, когда долго не видал. Чиж научил его отвиливать от дневальства, от кухни — все это уже утеряло прелесть новизны, стало нудной обязанностью.

И с этих пор кипучая жизнь отряда пошла мимо Мечика. Он не видел главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что делается. В таком отчуждении потонули все его мечты о новой, смелой жизни, хотя он научился огрызаться, не бояться людей, загорел и опустился в одежде, внешне сравнявшись со всеми.

X. Начало разгрома

Морозка, повстречав Мечика, к удивлению своему, не ощутил ни прежней злобы, ни ненависти. Осталось только недоумение, зачем снова попадается на пути этот вредный человек, и подсознательное убеждение, что он, Морозка, должен на него сердиться. Все же встреча так подействовала на него, что захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь.

— Иду сейчас проулком, — сказал он Дубову, — только из-за угла выскочил, а прямо на меня — парень шалдыбинский, что привез я, помнишь?

— Ну?..

— Да ничего... «Где, говорит, к штабу тут пройти?..» — «А вон, говорю, второй дом направо...»

— И что же? — допытывался Дубов, не находя во всем этом ничего удивительного и думая, что оно еще будет.

— Ну, встретил — и все!.. Что же еще? — ответил Морозка с непонятным раздражением.

Ему стало вдруг скучно и расхотелось говорить с людьми. Вместо того чтобы идти на вечерку, как собирался, он завалился на сеновал, но уснуть не смог. Неприятные воспоминания навалились на него тяжелой грудой; казалось, Мечик нарочно встал на дороге, стараясь сбить его с какой-то правильной линии.

Весь следующий день он бродил, не находя места, с трудом подавляя желание снова повидать Мечика.

— Ну что мы сидим без дела? — досадливо приставал к взводному. — Сгниешь тут от скуки... О чем там Левинсон думает?..

— О том и думает, как бы это Морозку повеселить. Все штаны продрал, над этим сидючи.

Дубов и не подозревал о сложных Морозкиных переживаниях. А Морозка, не получая поддержки, исходил зловещей тоской и знал, что скоро запьет, если не удастся рассеяться на горячем деле. Первый раз в жизни он сам боролся со своими желаниями, но силы его были слабы. Только случайное обстоятельство уберегло его от падения.

Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Отрывочные сведения, которые удавалось иногда собрать, рисовали жестокую картину развала. Тревожный улахинский ветер нес дымные запахи крови.

По вкрадчивым таежным тропам, где много лет уж не ступала человеческая нога, Левинсон связался с железной дорогой. Ему сообщили, что вскоре должен пройти эшелон с оружием и обмундированием. Железнодорожники обещали точно указать день и час. Зная, что рано или поздно отряд все равно откроют, а зимовать в тайге без патронов и теплой одежды невозможно, Левинсон решил сделать первую вылазку. Гончаренко спешно начинил фугасы. Туманной ночью, пробравшись незамеченным сквозь неприятельское пекло, взвод Дубова внезапно появился на линии.

...Товарные вагоны, прицепленные к почтовому поезду, Гончаренко оторвал, не задев пассажирских. В грохоте взрыва, в динамитной гари взметнулись над головой лопнувшие рельсы и, вздрагивая, рухнули под откос. Берданный затвор от фугаса, зацепившись шнурком, повис

на телеграфном проводе, заставив впоследствии многих ломать голову над тем, кто и зачем его повесил.

Пока рыскали вокруг кавалерийские разъезды, Дубов с навьюченными до отказа лошадьми выжидал на Свиягинской лесной даче, а ночью увильнул в «щеки» [1]. Через несколько суток был в Шибиши, не потеряв ни одного человека.

— Ну, Бакланыч, теперь держись... — сказал Левинсон, и в зыбком его взгляде нельзя было прочесть, шутит ли он или всерьез. В тот же день он раздробил хозяйственную часть, раздав по рукам шинели, патроны, шашки, сухари, оставив, сколько могут поднять заводные лошади.

Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята неприятелем. К устью Ирохедзы стягивались новые силы, японская разведка шарила по всем направлениям и не раз натыкалась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы двинулись кверху. Шли медленно, с большими остановками, от хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флангам частые охранения. В железном упорстве их движения, несмотря на его медлительность, чувствовалась уверенная в себе, разумная и в то же время слепая сила.

Разведчики Левинсона возвращались с дикими глазами, а сведения их противоречили одно другому.

— Как же так? — холодно переспрашивал Левинсон.— Вчера, говоришь, они были в Соломенной, а сегодня утром в Монакине, — что же они, назад идут?..

— Н-не знаю, — заикался разведчик. — Может, то передовые были в Соломенной...

— А откуда ты знаешь, что в Монакине главные, а не передовые?

— Мужики сказывали...

— Дались тебе мужики!.. Как тебе было приказано?

Разведчик тут же сочинял замысловатую историю, почему не удалось проникнуть вглубь. На самом деле, напуганный бабьими россказнями, он не доехал до неприятеля верст десять, просидел в кустах, раскуривая табачок и дожидаясь, когда удобнее будет вернуться. «Ты бы сам сунулся», — думал он про Левинсона, глядя на него затаенно-мигающим мужицким взглядом.

---

[1] Щеки — ущелье. *(Прим. А. Фадеева.)*

— Придется тебе самому съездить, — сказал Левинсон Бакланову. — Иначе нас тут, как мух, прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-нибудь с собой и поезжай чуть свет.

— А кого взять? — спросил Бакланов. Он старался быть серьезным и озабоченным, хотя все внутри билось в тревожной боевой радости: как и Левинсон, он считал нужным прятать истинные свои чувства.

— Возьми, кого хочешь... хотя бы новенького, что у Кубрака, — Мечика, что ли? Кстати проверишь, что он за парень. А то говорят про него нехорошее, может, и зря...

Разведка подвернулась Мечику как нельзя кстати. За короткое пребывание в отряде он скопил такое количество невыполненных дел, несдержанных обещаний и неосуществленных хотений, что каждое из них в отдельности, даже выполненное, потеряло бы уже всякий смысл и значение. Но вместе они давили все тяжелей, и глуше, и больнее, не давая вырваться из своего до нелепости узкого круга. Теперь ему казалось, что он сможет разорвать этот бессмысленный круг одним смелым движением.

Они выехали еще до рассвета. Чуть розовели на отроге таежные маковки, в деревне под горой кричали вторые петухи. Было холодно, темно и немножко жутко. Необычность обстановки, предвкушение опасности, надежда на удачу порождали в обоих то приподнято-боевое настроение, при котором все остальное неважно. В теле — легкая зыбь крови, пружинят мускулы, а воздух кажется холодным и жгучим, даже хрустит.

— Эк у тебя кобыла опаршивела, — говорит Бакланов. — Не ухаживаешь, что ли? Плохо... Это Кубрак, дурило, не показал, видно, что с ней делать? — Бакланов никогда бы не подумал, что у человека, умеющего обращаться с лошадью, хватит совести довести ее до такого состояния. — Не показал, да?

— Да как сказать... — смутился Мечик. — Он вообще мало помогает. Не знаешь, к кому обратиться.

Стыдясь своей лжи, он ерзал на седле и не смотрел на Бакланова.

— А ты у каждого спрашивай. У нас там много понимающих. Ребята есть боевые...

Вопреки мнению Чижа, которое Мечик тоже почти усвоил, Бакланов начинал ему нравиться. Он был такой

плотный и круглый, сидел на седле как пришитый. Глаза у него были коричневые и сметливые, он все схватывал на лету, тут же отделяя достойное внимания от пустяков, затем следовали практические выводы.

— Э-э, парень, а я все смотрю, чего у тебя седло ездит! Заднюю подпругу ты до отказа натянул, а передняя висит. Наоборот надо. Давай перетянем.

Мечик не успел еще сообразить, в чем дело, а уж Бакланов, спешившись, возился у седла.

— Ну-у... да у тебя и потник завернулся... Слезай, слезай — лошадь загубишь. Насквозь переседлаем.

После нескольких верст Мечик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо лучше и умней его, что Бакланов, кроме того, очень смелый и сильный человек и что он, Мечик, должен всегда безропотно ему подчиняться. Бакланов же, подходивший к Мечику без всякой предвзятости, хотя и почувствовал вскоре свое превосходство, но разговаривал с ним как с равным, стараясь простым наблюдением определить действительную его цену.

— В сопки тебя кто направил?

— Да я, собственно, сам пошел, а путевку мне максималисты дали...

Помня странное поведение Сташинского, Мечик старался как-нибудь смазать значение пославшей его организации.

— Максималисты?... Зря ты с ними путаешься — трепачи...

— Да мне ведь все равно... Просто там есть несколько моих товарищей по гимназии, вот я...

— Гимназию-то кончил? — перебил Бакланов.

— Что? Да, кончил...

— Это хорошо. Я тоже учился в ремесленном. На токаря. Не пришлось кончить. Поздно, видишь, начал, — пояснил он, точно оправдываясь. — До того я на судостроительном работал, пока братишка не подрос, а тут вот вся эта каша...

Немного погодя он снова задумчиво протянул:

— Да-а... Гимназия... Я тоже мальцом хотел, да уж такое дело...

Видно, слова Мечика навеяли на него много ненужных воспоминаний. Мечик с неожиданной страстностью стал доказывать, что вовсе не плохо, а даже хорошо, что Бакланов не учился в гимназии. Незаметно для себя он убеждал

Бакланова в том, какой тот хороший и умный, несмотря на свою необразованность. Бакланов, однако, не видел большого достоинства в своей неучености, а более сложных рассуждений Мечика не понял вовсе. Задушевного разговора не получалось. Оба прибавили рыси и долго ехали молча.

Всю дорогу попадались разведчики и врали по-прежнему. Бакланов только головой крутил. На хуторе, в трех верстах от деревушки Соломенной, они оставили лошадей и пошли пешком. Солнце давно уже перевалило к западу, усталые поля пестрели бабьими платками, от жирных суслонов ложились тени, спокойно-густые и мягкие. У встречной подводы Бакланов спросил, были ли в Соломенной японцы.

— С утра, говорят, человек пять приезжало, а сегодня штой-то не слыхать... Хоть бы хлеба убрать, ну их к лешему...

Сердце у Мечика забилось, но страха он не чувствовал.

— Значит, они и впрямь в Монакине, — сказал Бакланов. — Это разведка приезжала. Крой смело...

Они вошли в село, встреченные ленивым собачьим лаем. На постоялом дворе — с пучком сена, привязанным к шесту, и подводой у ворот — напились молока «по-баклановски»: из мисочки и с хлебцем. Впоследствии, с жутью вспоминая весь этот поход, Мечик неизменно видел перед собой Бакланова, как он вышел на улицу с расплывшимся счастливым лицом и остатками молока на верхней губе. Они не сделали и нескольких шагов, как из переулка, подобрав юбки, выбежала толстая баба и, столкнувшись с ними, остановилась в столбняке. Глаза ее полезли под платок, а ртом она хватала воздух, как пойманная рыба. И вдруг завопила самым пронзительным и тонким голосом:

— А родненькие ж вы мои, а куда ж вы идетя?.. Агромяту-ущая сила гапонцив биля школы!.. Сюда идуть, а текайте ж, сюда идуть!..

Мечик не успел еще восчувствовать ее слова, как из того же переулка, маршируя в ногу, вышли четыре японских солдата с ружьями на плечах. Бакланов, вскрикнув, стремительно выхватил кольт и выстрелил — почти в упор — в двоих. Мечик видел, как сзади у них вылетели кровавые клочки и оба они рухнули на землю. Третий патрон попал в перекос, и кольт перестал действовать. Один из оставшихся японцев бросился бежать, а другой

сорвал винтовку, но в то же время Мечик, повинуясь новой силе, которая управляла им больше, чем страх, выстрелил в него несколько раз подряд. Последние пули попали в японца, когда уже он лежал, корчась в пыли.

— Бежим!.. — крикнул Бакланов. — К подводе!..

Через несколько минут, отвязав лошадь, бившуюся у постояла, они мчались по улице, вздымая жаркие клубы пыли. Бакланов стоял на телеге, изо всех сил хлестал концами вожжей, то и дело оглядываясь назад, — нет ли погони. Где-то в центре не менее пяти горнистов играли тревогу.

— Здесь они... все-е!.. — кричал Бакланов с каким-то торжественным озлоблением. — Все-е... Главные!.. Слышишь, играют?..

Мечик ничего не слышал. Припав на дно, он чувствовал дикую радость избавления и то, как в горячей пыли корчится убитый им японец, исходя последними смертными муками. И когда он посмотрел на Бакланова, перекошенное лицо последнего показалось ему противным и страшным.

Через некоторое время Бакланов уже смеялся:

— Ловко получилось! Да? Они в село, и мы — разом. А ты, брат, молодец! Даже не ожидал от тебя, право. Если бы не ты, он бы нас вот как изрешетил!..

Мечик, стараясь не смотреть на него, лежал, подвернув голову, весь желтый и бледный, в темных пятнах, как хлебный колос, сгнивающий на корню.

Отъехав версты две и не слыша погони, Бакланов остановил лошадь возле одинокого ильмака, согнувшегося над дорогой.

— Ты здесь оставайся, а я влезу на дерево, будем караулить...

— Зачем?.. — сказал Мечик прерывающимся голосом. — Поедем скорей. Надо сообщить... ясно, что тут главные... — Он заставлял себя верить в то, что говорит, и не мог. Теперь ему страшно было оставаться вблизи неприятеля.

— Нет, уж лучше обождем. Не затем киселя хлебали, чтоб трех этих дураков пришить. Разнюхаем точно.

Через полчаса из Соломенной выехали шагом человек двадцать конных. «А что, ежели заметят? — подумал Бакланов с тайной дрожью. — Не уйти нам на подводе». Превозмогая себя, он решил ждать до последней крайности.

Конница, не видная Мечику за холмом, проехала уже с полдороги, когда со своего наблюдательного пункта Бакланов заметил пехоту: она только выходила из села густыми колоннами, пыльно отсвечивая оружием... В стремительном гоне до хутора они едва не загнали лошадь, там пересели на своих и через несколько минут мчались уже по дороге в Шибиши. Предусмотрительный Левинсон еще до их приезда (приехали они ночью) выставил усиленное охранение — спешенный взвод Кубрака. Треть взвода осталась с лошадьми, а остальные дежурили возле села, за валом старой монгольской крепостцы. Мечик, передав кобылу Бакланову, остался со взводом.

Несмотря на сильное переутомление, спать не хотелось. Туман стлался от реки, было холодно. Пика ворочался и стонал во сне, под ногами часовых загадочно шуршали травы. Мечик лежал на спине, глазами нащупывая звезды; они едва проступали из черной пустоты, которая чудилась там, за туманной завесой; и эту же пустоту, еще мрачней и глуше, потому что без звезд, Мечик ощущал в себе. Он подумал, что такую же пустоту должен все время ощущать Фролов, и ему стало жутко от внезапной мысли, что судьба этого человека может быть похожа на его. Он старался отогнать от себя эту страшную мысль, но образ Фролова не шел из головы. Он видел его лежащим на койке, с безжизненно опущенными руками и высохшим лицом, и клены тихо шумели над ним. «Да ведь он умер!..» — с ужасом подумал Мечик. Но Фролов пошевелил пальцем и, повернувшись к нему, сказал с костлявой улыбкой: «Ребята... шкодят...» Вдруг он задергался на постели, из него полетели какие-то клочки, и Мечик увидел, что это совсем не Фролов, а японец. «Это ужасно...» — снова подумал он, вздрагивая всем телом, но Варя склонилась над ним и сказала: «А ты не бойся». Она была холодной и мягкой. Мечику сразу стало легче. «Ты не сердись, что я с тобой плохо простился, — сказал он ласково. — Я люблю тебя». Она прижалась к нему, и сразу все пропало, ухнуло куда-то, а через несколько мгновений, он уже сидел на земле, мигая глазами, нащупывая рукой винтовку, и было совсем светло. Вокруг суетились люди, свертывая шинели; Кубрак, просунувшись в кусты, смотрел в бинокль, все лезли к нему и спрашивали:

— Где?.. Где?..

Мечик, нащупав наконец винтовку, вылез на гребень

и понял, что речь идет о неприятеле, но, не видя его, тоже стал спрашивать:

— Где?..

— Чего сгрудились? — зашипел вдруг взвоздный и сильно толкнул кого-то. — Раскладывайся цепью!..

Пока расползались по валу, Мечик, вытягивая шею, все еще старался увидеть неприятеля.

— Да где он?.. — несколько раз спросил у соседа. Тот, лежа на животе и не слушая его, все время хватался почему-то за ухо, и нижняя губа у него отвисла. Вдруг он повернулся и свирепо выругался. Мечик не успел огрызнуться — послышалась команда:

— Взво-од...

Он высунул винтовку и, по-прежнему ничего не видя и сердясь на то, что все видят, а он нет, — выстрелил наугад при слове «пли». (Он не знал, что добрая половина взвода тоже ничего не видит, но скрывает это во избежание насмешек в будущем.)

— Пли!.. — снова скомандовал Кубрак, и снова Мечик выстрелил.

— Ага-а, текают!.. — закричали кругом; все вдруг заговорили громко и бестолково, лица стали веселыми и возбужденными.

— Будя, будя!.. — кричал взводный. — Кто там стреляет? Патронов не жалко!..

Из расспросов Мечик узнал, что подъезжала японская разведка. Многие из тех, кто тоже ее не видел, смеялись над Мечиком и хвастали, как слетали с седел японцы, в которых они целились. В это время ударил гулкий орудийный выстрел, заполнив долину ответным эхом. Несколько человек в страхе попадали на землю; Мечик тоже съежился, как ушибленный: это был первый орудийный выстрел, который он слышал в своей жизни. Снаряд разорвался где-то за деревней. Потом в безумной одышке залаяли пулеметы, посыпались частые ружейные выстрелы, но партизаны не отвечали.

Через минуту, а может быть, через час, — время до боли скрадывалось, — Мечик почувствовал, что партизан стало больше, и увидел Бакланова и Метелицу, — они спускались с вала. Бакланов нес бинокль, у Метелицы дергалась щека и сильно раздувались ноздри.

— Лежишь? — спросил Бакланов, распуская складки на лбу. — Ну как?

Мечик мучительно улыбнулся и, сделав невероятное напряжение над собой, спросил:

— А где наши лошади?..

— Лошади наши в тайге, скоро и мы там будем, только бы задержать немножко... Нам-то ничего, — добавил он, видно желая подбодрить Мечика, — а вот Дубова взвод на равнине... А, черт!.. — выругался вдруг, вздрогнув от близкого взрыва. — Левинсон тоже там... — И побежал куда-то вдоль цепи, держась за бинокль обеими руками.

Следующий раз, когда пришлось стрелять, Мечик уже видел японцев: они наступали несколькими цепями, перебегая меж кустов, и были так близко, что Мечику казалось, что от них невозможно теперь убежать, даже если придется. То, что он испытывал, было не страх, а мучительное ожидание: когда же все кончится. В одно из таких мгновений неизвестно откуда вынырнул Кубрак и закричал:

— Куда ты палишь?..

Мечик оглянулся и понял, что слова взводного относятся не к нему, а к Пике, которого он до сих пор почему-то не видел. Пика лежал ниже, уткнувшись лицом в землю, и, как-то нелепо, над головой, перебирая затвором, стрелял в дерево перед собой. Он продолжал это занятие и после того, как Кубрак окликнул его, с той лишь разницей, что обойма уже кончилась и затвор щелкал впустую. Взводный несколько раз ударил его сапогом, и все же Пика не поднял головы.

Потом все бежали куда-то, сначала в беспорядке, затем реденьким гуськом. Мечик тоже бежал со всеми, не понимая, что к чему, но чувствовал даже в минуты самого отчаянного смятения, что все это не так уж случайно и бессмысленно и что целый ряд людей, не испытывающих, может, того, что испытывает он сам, направляет его и окружающих действия. Людей этих он не замечал, но чувствовал в себе их волю и, когда очнулся в селе, — теперь они шли шагом, длинной цепочкой, — невольно стал отыскивать глазами, кто же все-таки распоряжается его судьбой? Впереди шел Левинсон, он выглядел таким маленьким и так потешно размахивал огромным маузером, что трудно было поверить, будто он и является главной направляющей силой. Пока Мечик силился разрешить это противоречие, снова густо и злобно посыпались пули; казалось, они задевают волосы, даже пушок на ушах.

Цепочка ринулась вперед, несколько человек упало. Мечик почувствовал, что, если вновь придется отстреливаться, он уже ничем не будет отличаться от Пики.

Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигура Морозки на оскаленном жеребце с развевающейся огненной гривой, промчавшаяся так быстро, что трудно было отличить, где кончался Морозка и начиналась лошадь. Впоследствии он узнал, что Морозка был в числе конных, выделенных для связи со взводами во время боя.

Окончательно Мечик пришел в себя только в тайге, на горной тропинке, развороченной недавно прошедшими лошадьми. Здесь было темно и тихо, и строгий кедрач прикрывал их покойными, обомшелыми лапами.

XI. Страда

Укрывшись после боя в глухом, заросшем хвощом и папоротником овраге, Левинсон осматривал лошадей и наткнулся на Зючиху.

— Это что такое?

— А что? — пробормотал Мечик.

— А ну, расседлай, покажи спину...

Мечик дрожащими пальцами распустил подпругу.

— Ну да, конечно... Сбита спина, — сказал Левинсон таким тоном, словно и не ожидал ничего хорошего. — Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать — дядя?..

Левинсон старался не повышать голоса, но это давалось ему с трудом, — он сильно устал, борода его вздрагивала, и он нервно комкал руками сорванную где-то веточку.

— Взводный! Иди сюда... Ты чем смотришь?..

Взводный, не мигая, уставился в седло, которое Мечик держал почему-то в руках. Сказал мрачно и медленно:

— Ему, дураку, сколько раз говорено...

— Я так и знал! — Левинсон выбросил веточку. Взгляд его, направленный на Мечика, был холоден и строг. — Пойдешь к начхозу и будешь ездить с вьючными лошадьми, пока не вылечишь...

— Слушайте, товарищ Левинсон... — забормотал Мечик голосом, дрожащим от унижения, которое он испытывал не оттого, что скверно ухаживал за лошадью, а оттого,

что как-то нелепо и унизительно держал в руках тяжелое седло. — Я не виноват... Выслушайте меня... постойте... Теперь вы можете мне поверить... Я буду хорошо с ней обращаться.

Но Левинсон, не оглядываясь, прошел к следующей лошади.

Вскоре недостаток продовольствия заставил их выйти в соседнюю долину. В течение нескольких дней отряд метался по улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше, каждая крошка хлеба, овса добывалась с боем; вновь и вновь растравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливей, злей.

Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми не только чувство самосохранения, но и другой, не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, не осознанный даже большинством из них, по которому все, что приходится им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной целью и без которого никто из них не пошел бы добровольно умирать в улахинской тайге. Но он знал также, что этот глубокий инстинкт живет в людях под спудом бесконечно маленьких, каждодневных, насущных потребностей и забот о своей — такой же маленькой, но живой — личности, потому что каждый человек хочет есть и спать, потому что каждый человек слаб. Обремененные повседневной мелочной суетой, чувствуя свою слабость, люди как бы передоверили самую важную свою заботу более сильным, вроде Левинсона, Бакланова, Дубова, обязав их думать о ней больше, чем о том, что им тоже нужно есть и спать, поручив им напоминать об этом остальным.

Левинсон теперь всегда был на людях — водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. Даже когда разговаривал с людьми о самых обыденных вещах, в каждом его слове слышалось: «Смотрите, я тоже страдаю вместе с вами — меня тоже могут завтра убить или я сдохну с голоду, но я по-прежнему бодр и настойчив, потому что все это не так уж важно...»

И все же... с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром... И чем

меньше становилось этих проводов, тем труднее было ему убеждать, — он превращался в силу, стоящую над отрядом.

Обычно, когда глушили рыбу на обед, никто не хотел лазить за нею в холодную воду, гоняли наиболее слабых, чаще всего бывшего свинопаса Лаврушку — человека безвестной фамилии, робкого и заикающегося. Он отчаянно боялся воды, дрожа и крестясь, сползал с берега, и Мечик всегда с болью смотрел на его тощую спину. Однажды Левинсон заметил это.

— Обожди.,. — сказал он Лаврушке. — Почему ты сам не слазишь? — спросил у кривого, словно ущемленного с одной стороны дверью парня, загонявшего Лаврушку пинками.

Тот поднял на него злые, в белых ресницах, глаза и неожиданно сказал:

— Слазь сам, попробуй...

— Я-то не полезу, — спокойно ответил Левинсон, — у меня и других дел много, а вот тебе придется... Снимай, снимай штаны... Вот уж и рыба уплывает.

— Пущай уплывает... я тоже не рыжий... — Парень повернулся спиной и медленно пошел от берега. Несколько десятков глаз смотрели одобрительно на него и насмешливо на Левинсона.

— Ну и морока с таким народом... — начал было Гончаренко, сам расстегивая рубаху, и остановился, вздрогнув от непривычно громкого оклика командира:

— Вернись!.. — В голосе Левинсона брякнули властные нотки неожиданной силы.

Парень остановился и, жалея уже, что ввязался в историю, но не желая срамиться перед другими, сказал снова:

— Сказано, не полезу...

Левинсон тяжелыми шагами двинулся к нему, держась за маузер, не спуская с него глаз, ушедших вовнутрь и ставших необыкновенно колючими и маленькими. Парень медленно, будто нехотя, стал расстегивать штаны.

— Живей! — сказал Левинсон с мрачной угрозой.

Парень покосился на него и вдруг перепугался, заторопился, застрял в штанине и, боясь, что Левинсон не учтет этой случайности и убьет его, забормотал скороговоркой:

— Сейчас, сейчас... зацепилась вот... а, черт!.. Сейчас, сейчас...

Когда Левинсон оглянулся вокруг, все смотрели на него с уважением и страхом, но и только: сочувствия не было. В эту минуту он сам почувствовал себя силой, стоящей над отрядом. Но он готов был идти и на это: он был убежден, что сила его правильная.

С этого дня Левинсон не считался уже ни с чем, если нужно было раздобыть продовольствие, выкроить лишний день отдыха. Он угонял коров, обирал крестьянские поля и огороды, но даже Морозка видел, что это совсем не похоже на кражу дынь с Рябцева баштана.

После многоверстного перехода через Удегинский отрог, во время которого отряд питался только виноградом и попаренными над огнем грибами, Левинсон вышел в Тигровую падь, к одинокой корейской фанзушке в двадцати верстах от устья Ирохедзы. Их встретил огромный, волосатый, как его унты, человек без шапки, с ржавым смитом у пояса. Левинсон признал даубихинского спиртоноса Стыркшу.

— Ага, Левинсон!.. — приветствовал Стыркша хриплым от неизлечимой простуды голосом. Из буйной поросли с обычной горькой усмешкой выглядывали его глаза. — Жив еще? Хорошее дело... А тут тебя ищут.

— Кто ищет?

— Японцы, колчаки... кому ты еще нужен?

— Авось не найдут... Жрать тут будет нам?

— Может, и найдут, — загадочно сказал Стыркша. — Они тоже не дураки — голова-то твоя в цене... На сходах, вон, приказ читают: за поимку живого или мертвого — награда.

— Ого!.. и дорого дают?..

— Пятьсот рублей сибирками.

— Дешевка! — усмехнулся Левинсон. — Пожрать-то, я говорю, будет нам?

— Черта с два... кореец сам на одной чумизе. Свинья тут у них пудов на десять, так они на нее молятся — мясо на всю зиму.

Левинсон пошел отыскивать хозяина. Трясущийся, седоватый кореец, в продавленной проволочной шляпе, с первых же слов взмолился, чтобы не трогали его свинью. Левинсон, чувствуя за собой полтораста голодных ртов

и жалея корейца, пытался доказать ему, что иначе поступить не может. Кореец, не понимая, продолжал умоляюще складывать руки и повторял:

— Не надо куши-куши... Не надо...

— Стреляйте, все равно, — махнул Левинсон и сморщился, словно стрелять должны были в него.

Кореец тоже сморщился и заплакал.

Вдруг он упал на колени и, ерзая в траве бородой, стал целовать Левинсону ноги, но тот даже не поднял его — он боялся, что, сделав это, не выдержит и отменит свое приказание.

Мечик видел все это, и сердце его сжималось. Он убежал за фанзу и уткнулся лицом в солому, но даже здесь стояло перед ним заплаканное старческое лицо, маленькая фигурка в белом, скорчившаяся у ног Левинсона. «Неужели без этого нельзя?» — лихорадочно думал Мечик, и перед ним длинной вереницей проплывали покорные и словно падающие лица мужиков, у которых тоже отбирали последнее. «Нет, нет, это жестоко, это слишком жестоко», — снова думал он и глубже зарывался в солому.

Мечик знал, что сам никогда не поступил бы так с корейцем, но свинью он ел вместе со всеми, потому что был голоден.

Ранним утром Левинсона отрезали от гор, и после двухчасового боя, потеряв до тридцати человек, он прорвался в долину Ирохедзы. Колчаковская конница преследовала его по пятам, он побросал всех вьючных лошадей и только в полдень попал на знакомую тропу, к госпиталю.

Тут он почувствовал, что едва сидит на лошади. Сердце после невероятного напряжения билось медленно-медленно, казалось — оно вот-вот остановится. Ему захотелось спать, он опустил голову и сразу поплыл на седле — все стало простым и неважным. Вдруг он вздрогнул от какого-то толчка изнутри и оглянулся... Никто не заметил, как он спал. Все видели перед собой его привычную, чуть согнутую спину. А разве мог подумать кто-либо, что он устал, как все, и хочет спать?.. «Да... хватит ли сил у меня?» — подумал Левинсон, и вышло это так, словно спрашивал не он, а кто-то другой. Левинсон тряхнул головой и почувствовал мелкую противную дрожь в коленях.

— Ну вот... скоро и жинку свою увидишь, — сказал Морозке Дубов, когда они подъезжали к госпиталю.

Морозка промолчал. Он считал, что дело это кончено, хотя ему все дни хотелось повидать Варю. Обманывая себя, он принимал свое желание за естественное любопытство постороннего наблюдателя: «Как это у них получится».

Но когда он увидел ее, — Варя, Сташинский и Харченко стояли возле барака, смеясь и протягивая руки, — все в нем перевернулось. Не задерживаясь, он вместе со взводом проехал под клены и долго возился подле жеребца, ослабляя подпруги.

Варя, отыскивая Мечика, бегло отвечала на приветствия, улыбалась всем смущенно и рассеянно. Мечик встретился с ней глазами, кивнул и, покраснев, опустил голову: он боялся, что она сразу подбежит к нему, и все догадаются, что тут что-то неладно. Но она из внутреннего такта не подала виду, что рада ему.

Он наскоро привязал Зючиху и улизнул в чащу. Пройдя несколько шагов, наткнулся на Пику. Тот лежал возле своей лошади; взгляд его, сосредоточенный в себе, был влажен и пуст.

— Садись... — сказал устало.

Мечик опустился рядом.

— Куда мы пойдем теперь?..

Мечик не ответил.

— Я бы сичас рыбу ловил... — задумчиво сказал Пика. — На пасеке... Рыба сичас книзу идет... Устроил бы водопад и ловил... Только подбирай. — Он помолчал и добавил грустно: — Да ведь нет пасеки-то... нет! А то б хорошо было... Тихо там, и пчела теперь тихая...

Вдруг он приподнялся на локте и, коснувшись Мечика, заговорил дрожащим, в тоске и боли, голосом:

— Слухай, Павлуша... слухай, мальчик ты мой, Павлуша!.. Ну разве ж нет такого места, нет, а? Ну как же жить будем, как жить-то будем, мальчик ты мой, Павлуша?.. Ведь никого у меня... сам я... один... старик... помирать скоро... — Не находя слов, он беспомощно глотал воздух и судорожно цеплялся за траву свободной рукой.

Мечик не смотрел на него, даже не слушал, но с каждым его словом что-то тихо вздрагивало в нем, словно чьи-то робкие пальцы обрывали в душе с еще живого стебля уже завядшие листья. «Все это кончилось и

никогда не вернется...» — думал Мечик, и ему жаль было своих завядших листьев.

— Спать пойду... — сказал он Пике, чтобы как-нибудь отвязаться. — Устал я...

Он зашел глубже в чащу, лег под кусты и забылся в тревожной дремоте... Проснулся внезапно, будто от толчка. Сердце неровно билось, потная рубаха прилипла к телу. За кустом разговаривали двое: Мечик узнал Сташинского и Левинсона. Он осторожно раздвинул ветки и выглянул.

— ...Все равно, — сумрачно говорил Левинсон, — дольше держаться в этом районе немыслимо. Единственный путь — на север, в Тудо-Вакскую долину... — Он расстегнул сумку и вынул карту. — Вот... Здесь можно пройти хребтами, а спустимся по Хаунихедзе. Далеко, но что ж поделаешь...

Сташинский глядел не в карту, а куда-то в таежную глубь, точно взвешивая каждую, облитую человеческим потом версту. Вдруг он быстро замигал глазом и посмотрел на Левинсона.

— А Фролов?.. ты опять забываешь...

— Да — Фролов... — Левинсон тяжело опустился на траву. Мечик прямо перед собой увидел его бледный профиль.

— Конечно, я могу остаться с ним... — глухо сказал Сташинский после некоторой паузы. — В сущности, это моя обязанность...

— Ерунда! — Левинсон махнул рукой. — Не позже как завтра к обеду сюда придут японцы по свежим следам... Или твоя обязанность быть убитым?

— А что ж тогда делать?

— Не знаю...

Мечик никогда не видел на лице Левинсона такого беспомощного выражения.

— Кажется, остается единственное... я уже думал об этом... — Левинсон запнулся и смолк, сурово стиснув челюсти.

— Да?.. — выжидательно спросил Сташинский.

Мечик, почувствовав недоброе, сильней подался вперед, едва не выдав своего присутствия.

Левинсон хотел было назвать одним словом то единственное, что оставалось им, но, видно, слово это было настолько трудным, что он не смог его выговорить. Ста-

шинский взглянул на него с опаской и удивлением и... понял.

Не глядя друг на друга, дрожа и запинаясь и мучаясь этим, они заговорили о том, что уже было понятно обоим, но чего они не решались назвать одним словом, хотя оно могло бы сразу все выразить и прекратить их мучения.

«Они хотят убить его...» — сообразил Мечик и побледнел. Сердце забилось в нем с такой силой, что, казалось, за кустом тоже вот-вот его услышат.

— А как он — плох? Очень?.. — несколько раз спросил Левинсон. — Если бы не это... Ну... если бы не мы его... одним словом, есть у него хоть какие-нибудь надежды на выздоровление?

— Надежд никаких... да разве в этом суть?

— Все-таки легче как-то, — сознался Левинсон. Он тут же устыдился, что обманывает себя, но ему действительно стало легче. Немного помолчав, он сказал тихо: — Придется сделать это сегодня же... только смотри, чтобы никто не догадался, а главное он сам... можно так?..

— Он-то не догадается... скоро ему бром давать, вот вместо брома... А может, мы до завтра отложим?..

— Чего ж тянуть... все равно... — Левинсон спрятал карту и встал. — Надо ведь — ничего не поделаешь... Ведь надо?.. — Он невольно искал поддержки у человека, которого сам хотел поддержать.

«Да, надо...» — подумал Сташинский, но не сказал.

— Слушай, — медленно начал Левинсон, — да ты скажи прямо, готов ли ты? Лучше прямо скажи...

— Готов ли я? — сказал Сташинский. — Да, готов.

— Пойдем... — Левинсон тронул его за рукав, и оба медленно пошли к бараку.

«Неужели они сделают это?..» — Мечик ничком упал на землю и уткнулся лицом в ладони. Он пролежал так неизвестно сколько времени. Потом поднялся и, цепляясь за кусты, пошатываясь, как раненый, побрел вслед за Сташинским и Левинсоном.

Остывшие, расседланные лошади поворачивали к нему усталые головы; партизаны храпели на прогалине, некоторые варили обед. Мечик поискал Сташинского и, не найдя его, почти побежал к бараку.

Он поспел вовремя. Сташинский, стоя спиной к Фролову, протянув на свет дрожащие руки, наливал что-то в мензурку.

— Обождите!.. Что вы делаете?.. — крикнул Мечик, бросаясь к нему с расширенными от ужаса глазами. — Обождите! Я все слышал!..

Сташинский, вздрогнув, повернул голову, руки его задрожали еще сильнее... Вдруг он шагнул к Мечику, и страшная багровая жила вздулась у него на лбу.

— Вон!.. — сказал он зловещим, придушенным шепотом. — Убью!..

Мечик взвизгнул и, не помня себя, выскочил из барака. Сташинский тут же спохватился и обернулся к Фролову.

— Что... что это?.. — спросил тот, опасливо косясь на мензурку.

— Это бром, выпей... — настойчиво, строго сказал Сташинский.

Взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью... «Конец...» — подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи. Все оказалось простым и легким, и даже странно было, зачем он так долго мучился, так упорно цеплялся за жизнь и боялся смерти, если жизнь сулила ему новые страдания, а смерть только избавляла от них. Он в нерешительности повел глазами вокруг, словно отыскивая что-то, и остановился на нетронутом обеде, возле, на табуретке. Это был молочный кисель, он уже остыл, и мухи кружились над ним. Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение — жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким.

— Случится, будешь на Сучане, — сказал он медленно, — передай, чтоб не больно уж там... убивались... Все к этому месту придут... да... Все придут, — повторял он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно той мыслью, которая лишала личную — *его, Фролова,* — смерть ее особенного, отдельного страшного смысла и делала ее — эту смерть — чем-то обыкновенным, свойственным всем людям. Немного подумав, он сказал: — Сынишка там у меня есть на руднике... Федей звать... Об нем чтоб вспомнили, когда обернется все, — помочь там чем или как... Да давай, что ли!.. — оборвал он вдруг сразу отсыревшим и дрогнувшим голосом.

Кривя побелевшие губы, знобясь и страшно мигая одним глазом, Сташинский поднес мензурку. Фролов поддержал ее обеими руками и выпил.

Мечик, спотыкаясь о валежник и падая, бежал по тайге, не разбирая дороги. Он потерял фуражку, волосы его свисали на глаза, противные и липкие, как паутина, в висках стучало, и с каждым ударом крови он повторял какое-то ненужное жалкое слово, цепляясь за него, потому что больше не за что было ухватиться. Вдруг он наткнулся на Варю и отскочил, дико блеснув глазами.

— А я-то ищу тебя... — начала она обрадованно и смолкла, испуганная его безумным видом.

Он схватил ее за руку, заговорил быстро, бессвязно:

— Слушай... они его отравили... Фролова... Ты знаешь?.. Они его...

— Что?.. отравили?.. молчи!.. — крикнула она, вдруг поняв все сразу. И, властно притянув его к себе, зажала ему рот горячей, влажной ладонью. — Молчи!.. не надо... Идем отсюда.

— Куда?.. Ах, пусти!.. — Он рванулся и оттолкнул ее, лязгнув зубами.

Она снова схватила его за рукав и потащила за собой, повторяя настойчиво:

— Не надо... идем отсюда... увидят... Парень тут какой-то... так и вьется... идем скорее!..

Мечик вырвался еще раз, едва не ударив ее.

— Куда ты?.. постой!.. — крикнула она, бросаясь за ним.

В это время из кустов выскочил Чиж, — она метнулась в сторону и, перепрыгнув через ручей, скрылась в ольховнике.

— Что — не далась? — быстро спросил Чиж, подбегая к Мечику. — А ну, может, мне посчастливится! — Он хлопнул себя по ляжке и кинулся вслед за Варей...

XII. Пути-дороги

Морозка с детства привык к тому, что люди, подобные Мечику, подлинные свои чувства — такие же простые и маленькие, как у Морозки, — прикрывают большими и красивыми словами и этим отделяют себя от тех, кто,

как Морозка, не умеют вырядить свои чувства достаточно красиво. Он не сознавал, что дело обстоит именно таким образом, и не мог бы выразить это *своими* словами, но он всегда чувствовал между собой и этими людьми непроходимую стену из натащенных ими неизвестно откуда фальшивых, крашеных слов и поступков.

Так, в памятном столкновении между Морозкой и Мечиком последний старался показать, что уступает Морозке из благодарности за спасение своей жизни. Мысль, что он подавляет в себе низменные побуждения ради человека, который даже не стоит этого, наполняла его существо приятной и терпеливой грустью. Однако в глубине души он досадовал и на себя и на Морозку, потому что на самом деле он желал Морозке всяческого зла и только сам не мог причинить его — из трусости и оттого, что испытывать терпеливую грусть много красивей и приятней.

Морозка чувствовал, что именно из-за этой красивости, которой нет в нем, в Морозке, Варя предпочла Мечика, считая, что в Мечике это не только внешняя красивость, а подлинная душевная красота. Вот почему, когда Морозка снова увидал Варю, он невольно попал в прежний безвыходный круг мыслей — о ней, о себе, о Мечике.

Он видел, что Варя все время пропадает где-то («наверно, с Мечиком!»), и долго не мог заснуть, хотя старался уверить себя, что ему все безразлично. При каждом шорохе он осторожно приподнимал голову, всматривался в темноту: не покажутся ли две их совестливо крадущиеся фигуры?

Однажды его разбудила какая-то возня. В костре шипели мокрые валежины, и громадные тени плясали по опушке. Окна в бараке то освещались, то гасли — кто-то чиркал спичкой. Потом из барака вышел Харченко, перекинулся словами с кем-то невидным в темноте и пошел меж костров, кого-то разыскивая.

— Кого нужно? — хрипло спросил Морозка. Не расслышав ответа, переспросил: — Что?

— Фролов умер, — глухо сказал Харченко.

Морозка туже натянул шинель и снова заснул.

На рассвете Фролова похоронили, и Морозка в числе других равнодушно закапывал его в могилу.

Когда седлали лошадей, обнаружилось, что исчез Пика. Его маленькая горбоносая лошадка уныло стояла под де-

ревом, всю ночь не расседланная. Вид ее был жалок. «Сбежал, старость, не выдержал», — подумал Морозка.

— Да ладно, не ищите, — сказал Левинсон, морщась от боли в боку, мучавшей его с утра. — Лошадь не забудьте... Нет, нет, не навьючивать!.. Начхоз где? Готово?.. По коням!.. — Он сильно вздохнул и, сморщившись опять, грузно, будто нес в себе что-то большое и тяжелое, отчего сам стал большим и тяжелым, поднялся в седло.

Никто не пожалел о Пике. Только Мечик с болью почувствовал утрату. Хотя в последнее время старик не вызывал в нем ничего, кроме тоски и нудных воспоминаний, все же осталось такое ощущение, точно вместе с Пикой ушла какая-то часть его самого.

Отряд двинулся вверх по крутому, изъеденному козами гребню. Холодное голубовато-серое небо стлалось над ним. Далеко внизу мерещились синие пади, и туда из-под ног катились с шумом тяжелые валуны.

Обнимала их златолистая, сухотравная тайга в осенней ждущей тишине. В желтом ветвистом кружеве линял седобородый изюбр, пели прохладные родники, роса держалась весь день, прозрачная и чистая и тоже желтая от листвы. А зверь ревел с самого утра тревожно, страстно, невыносимо, и чудилось в таежном золотом увядании мощное дыхание какого-то огромного, вечно живого тела.

Первым, кто почуял неладное между Морозкой и Варей, был ординарец Ефимка, посланный незадолго до обеденного отдыха к Кубраку с распоряжением: «Подтянуть хвост, чтобы кто-нибудь не откусил».

Ефимка с трудом проехал по цепи, изодрал штаны о колючий кустарник и поругался с Кубраком: взводный посоветовал ему не беспокоиться о чужом хвосте, а беречь лучше свой «щербатый нос». Между прочим, Ефимка заметил, что Морозка с Варей едут далеко друг от друга и что вчера их тоже не видно было вместе.

На обратном пути он, поравнявшись с Морозкой, спросил:

— Что-то, я смотрю, от жены ты бегаешь, чего вы там не поделили?

Морозка, смущенно и сердито посмотрев на его сухое, желчное лицо, сказал:

— Чего не поделили? Делить нам нечего. Бросил я ее...

— Бро-осил!.. — Ефимка несколько минут молча и хмуро глядел куда-то вбок, точно раздумывая, подходит

ли теперь это слово, если в прежних отношениях между Морозкой и Варей тоже не было прочной семейной связи.

— Ну что ж — и так бывает, — сказал он наконец, — тоись, я говорю, как кому повезет... Но-о, кобылка!.. — Он жестко подхлестнул лошадку, и Морозка, проводив глазами его суконную рубаху, видел, как он докладывал что-то Левинсону, потом поехал рядом с ним.

«Эх, жистянка... н-ну!..» — подумал Морозка с каким-то, из последних сил, отчаянием, и ему стало очень грустно оттого, что сам он будто скован чем-то и не может так же беспечно разъезжать по цепи или разговаривать с соседом. «Хорошо им — едет себе, и никаких, — думал он с завистью. — А с чего им тужить на самом деле? Хотя б Левинсону?.. Человек во власти, всякий к нему с почетом — что хочу, то и делаю... Можно жить». И, не предполагая, что у Левинсона болит простуженный бок, что Левинсон несет в себе ответственность за смерть Фролова, что голова его оценена и раньше всех может расстаться с телом, — Морозка думал о том, какие все-таки живут на свете здоровые, спокойные и обеспеченные люди и как ему самому решительно не везет в жизни.

Все те запутанные, надоедливые мысли, которые впервые родились в нем, когда он жарким июльским днем возвращался из госпиталя и кудрявые косари любовались его уверенной кавалерийской посадкой, те мысли, которые с особенной силой овладели им, когда он ехал по опустевшему полю после ссоры с Мечиком и одинокая бесприютная ворона сидела на покривившемся стогу, — все эти мысли приобрели теперь небывалую мучительную яркость и остроту. Морозка чувствовал себя обманутым в прежней своей жизни и снова видел вокруг себя только ложь и обман. Он не сомневался больше в том, что вся его жизнь от самых пеленок, вся эта тяжелая бессмысленная гульба и работа, кровь и пот, которые он пролил, и даже все его «беспечное» озорство — это не радость, нет, а беспросветный каторжный труд, которого никто не оценил и не оценит.

Он с неведомой ему — грустной, усталой, почти старческой — злобой думал о том, что ему уже двадцать семь лет, и ни одной минуты из прожитого нельзя вернуть, чтобы прожить ее по-иному, а впереди тоже не видно ничего хорошего, и он, может быть, очень скоро погибнет от пули, не нужный никому, как умер Фролов, о котором

никто не пожалел. Морозке казалось теперь, что он всю жизнь всеми силами старался попасть на ту, казавшуюся ему прямой, ясной и правильной, дорогу, по которой шли такие люди, как Левинсон, Бакланов, Дубов (и даже Ефимка, казалось, ехал теперь по той же дороге), но кто-то упорно мешал ему в этом. И так как он никогда не мог подумать, что этот враг сидит в нем самом, ему особенно приятно и горько было думать о том, что он страдает из-за подлости людей — таких, как Мечик, в первую голову.

После обеда, когда он поил в ключе жеребца, к нему с таинственным видом подошел тот самый бойкий кудрявый парень, который когда-то украл у него жестяную кружку.

— Что я скажу тебе, а что я тебе скажу... — забормотал он мигающей скороговоркой. — Вот язви ее в копыта, в копыта, право слово, Варьку-то, Варьку... У меня, брат, ню-ух по этой части!..

— Что?.. По какой части? — грубо спросил Морозка, подняв голову.

— Насчет баб, очень я баб понимаю, — пояснил парень, немного смутившись. — Хоть и нет еще ничего, нет ничего, да меня, брат, не проведешь — нет, брат, не проведешь... Глазами она за им так и шиpяет, так и шиpяет.

— А он что? — возбужденно краснея, спросил Морозка, поняв, что речь идет о Мечике, и забыв, что он должен делать вид, что будто ничего не знает.

— А что ж он? Он ничего... — сказал парень каким-то неискренним, оглядывающимся голосом, точно все, о чем он говорил, неважно было по существу, а понадобилось ему только для того, чтобы загладить перед Морозкой старые свои грехи.

— Ну и хрен с ними! Мое какое дело? — Морозка фыркнул. — Может, и ты с ней спал — я почем знаю, — добавил он с презрением и обидой.

— Вот тебе!.. Да я ведь...

— Пошел, пошел к федькиной матери!.. — внезапно раздражаясь, закричал Морозка. — На кой ты загнулся с нюхом своим. Пошел, н-ну!.. — И он вдруг с силой ударил парня ногой по заду.

Мишка, испуганный его резким движением, рванулся в сторону и, попав подогнутыми задними ногами в воду, так и застыл, наставив на людей уши.

— Ах ты, с-су... — выдохнул парень с изумлением и гневом и, не договорив, кинулся на Морозку.

Они сцепились, как барсуки. Мишка, круто повернув, потрусил от них мелкой рысцой.

— Я тебе, драному в стос, покажу с нюхом с твоим!.. Я тебе... — рычал Морозка, сбоку суя кулаком и злясь, что парень не отпускает его, поэтому нельзя хорошо размахнуться.

— Ну, ребятишки! — сказал над ними чей-то удивленный голос. — Вон они что делают...

Две больших узловатых руки спокойно вклинились между ними и, схватив обоих за воротники, растащили в разные стороны. Оба, не поняв, в чем дело, снова ринулись друг к другу, но на этот раз получили по такому увесистому пинку, что Морозка, отлетев, ударился спиной о дерево, а парень, зацепившись за валежину и помахав руками, грузно осел в воду.

— Давай руку, подсоблю... — без насмешки сказал Гончаренко. — Удумали тоже!

— Да как же он, стерва... гадов таких... убивать мало!.. — кричал Морозка, порываясь к мокрому и оглупевшему парню. Тот, держась одной рукой за Гончаренку и обращаясь исключительно к нему, другой бил себя в грудь, голова его тряслась.

— Нет, ты скажи, нет, ты скажи, — повторял он, чуть не плача, — значит, всякому так: захотел — и в зад, захотел — и в зад?.. — Заметив, что к месту происшествия стекается народ, он пронзительно закричал: — Рази виноват, виноват кто, что жена, жена у его...

Гончаренко, опасаясь скандала, а еще больше за Морозкину судьбу (если о скандале узнает Левинсон), бросил визжавшего парня и, схватив Морозку за руку, потащил его за собой.

— Идем, идем, — строго говорил он упиравшемуся Морозке. — Вот вышибут тебя, сукиного сына...

Морозка, поняв наконец, что этот сильный и строгий человек действительно сочувствует ему, перестал сопротивляться.

— Что, что там случилось? — спросил бежавший им навстречу голубоглазый немец из взвода Метелицы.

— Медведя поймали, — спокойно сказал Гончаренко.

— Медве-едя?.. — Немец выпучил глаза и, постояв немного, вдруг ринулся с такой прытью, как будто хотел поймать еще одного медведя.

Морозка впервые с любопытством посмотрел на Гончаренку и улыбнулся.

— Здоровый ты, холера, — сказал он, почувствовав какое-то удовлетворение от того, что Гончаренко здоровый.

— За что ты его? — спросил подрывник.

— Да как же... гадов таких!.. — снова заволновался Морозка. — Да его б надо...

— Ну-ну, — успокоительно перебил Гончаренко, — за дело, значит?.. Ну-ну...

— Собира-айсь! — кричал где-то Бакланов звонким, срывающимся с мужского на мальчишеский голосом.

В это время из кустов высунулась мохнатая Мишкина голова. Мишка посмотрел на людей умным зелено-карим глазом и тихо заржал.

— Эх!.. — вырвалось у Морозки.

— Ладный конек...

— Жизни не жалко! — Морозка восторженно хлопнул жеребца по шее.

— Жизнью ты лучше не кидайся — сгодится... — Гончаренко чуть улыбнулся в темную курчавую бороду. — Мне еще коня поить, гуляй себе. — И он крепким, размашистым шагом пошел к своей лошади.

Морозка снова с любопытством проводил его глазами, раздумывая, почему он раньше не обращал внимания на такого удивительного человека.

Потом, когда становились взводы, он, сам того не замечая, пристроился рядом с Гончаренкой и уж всю дорогу до Хаунихедзы не расставался с ним.

Варя, Сташинский и Харченко, зачисленные во взвод Кубрака, ехали почти в самом хвосте. На поворотах хребта виден был весь отряд, растянувшийся длинной цепочкой: впереди, согнувшись, ехал Левинсон; за ним, бессознательно перенимая его позу, Бакланов.

Где-то за спиной Варя все время чувствовала Мечика, и обида на его вчерашнее поведение шевелилась в ней, заслоняя то большое и теплое чувство, которое она постоянно испытывала к нему.

Со времени ухода Мечика из госпиталя она ни на минуту не забывала о его существовании и жила одной

мыслью о новой их встрече. С этим днем у нее связаны были самые задушевные, затаенные — о которых никому нельзя рассказывать, — но вместе с тем такие живые, земные, почти осязаемые мечты. Она представляла себе, как он появится на опушке — в шагреневой рубахе, красивый, стройный, белокурый, немножко робеющий, — она чувствовала на себе его дыхание, мягкие курчавые волосы под рукой, слышала его нежный, влюбленный говор. Она старалась не вспоминать о недоразумениях с ним, ей казалось почему-то, что такое не может больше повториться. Одним словом, она представляла себе будущие отношения к Мечику такими, какими они никогда не были, но какими они были бы ей приятны, и старалась не думать о том, что действительно могло случиться, но доставило бы ей огорчение.

Столкнувшись с Мечиком, она, по свойственной ей чуткости к людям, поняла, что он слишком расстроен и возбужден, чтобы следить за своими поступками, и что расстроившие его события много важнее всяких ее личных обид. Но именно потому, что раньше эта встреча представлялась ей по-иному, нечаянная грубость Мечика оскорбила и напугала ее.

Варя впервые почувствовала, что грубость эта не случайна, что Мечик, может быть, совсем не тот, кого ждала она долгие дни и ночи, но что нет у нее никого другого.

У нее не хватало мужества сразу сознаться в этом: не так легко было выбросить все, чем долгие дни и ночи она жила — страдала, наслаждалась, — и ощутить в душе внезапную, ничем не заполнимую пустоту. И она заставляла себя думать так, будто ничего особенного не случилось, будто все дело в неудачной смерти Фролова, будто все пойдет по-хорошему, но вместо того с самого утра думала только о том, как Мечик обидел ее и как он не имел права обижать ее, когда она подошла к нему со своими мечтами и со своей любовью.

Весь день она испытывала мучительное желание увидеть Мечика и поговорить с ним, но ни разу не оглянулась и даже во время обеденного отдыха не подошла к нему. «Что я буду бегать за ним, как девочка? — думала она. — Ежели он вправду любит меня, как говорил, пущай подойдет первый, я ни словом не попрекну его. А ежели не подойдет, все равно — одна останусь... так ничего и не будет».

На главном становике тропа пошла шире, и рядом с Варей пристроился Чиж. Вчера ему не удалось поймать ее, но он был настойчив в таких делах и не терял надежды. Она чувствовала прикосновение его ноги, он дышал ей на ухо какие-то стыдные слова, но, погруженная в свои мысли, она не слушала его.

— Ну как же вы, а? — приставал Чиж (он говорил «вы» всем лицам женского пола, независимо от их возраста, положения и отношения к нему). — Согласны — нет?..

«...Я все понимаю, разве я требую от него что-нибудь? — думала Варя. — Но неужто ему трудно было уважить меня?.. А может, он сам теперь страдает — думает, я на него в обиде. Что, ежели поговорить с ним? Как?! После того, как он прогнал меня?.. Нет, нет, и пущай ничего не будет...»

— Да что вы, милая, оглохли, что ли? Согласны, говорю?

— Чего согласны? — очнулась Варя. — Да ну тебя ко всем!

— Здравствуйте вам... — Чиж обиженно развел руками. — Да что вы, милая, представляетесь, будто в первый раз или маленькая. — Он принялся снова терпеливо нашептывать ей на ухо, убежденный, что она слышит и понимает его, но ломается, чтобы, по бабьей привычке, набить себе цену.

Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долины, а Мечик все не подъезжал к Варе и, как видно, не собирался. И чем больше она убеждалась в том, что он так и не подъедет к ней, тем сильнее она чувствовала бесплодную тоску и горечь прежних своих мечтаний и тем труднее ей было расстаться с ними.

Отряд спускался в балку на ночлег, в сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.

— Так вы не забудьте, миленькая, — с ласковой наглой настойчивостью проговорил Чиж. — Да, огонек я в сторонке разложу. Имейте это в виду... — Немного погодя он кричал кому-то: — То есть как — «куда лезешь»? А ты чего стал на дороге?

— А ты чего в чужой взвод прешься?

— Как чужой? Разуй глаза!..

После короткого молчания, во время которого оба,

очевидно, разували глаза, спрашивавший заговорил виноватым, съехавшим голосом:

— Тьфу, и правда «кубраки»... А Метелица где? — И, как бы вполне загладив виноватым голосом свою ошибку, он снова натужно закричал: — Мете-елица!

А внизу кто-то, до того раздраженный, что, казалось, не исполни его требования — он или покончит с собой, или начнет убивать других, вопил:

— Огня-а давай!.. Огня-а-а дава-ай!..

Вдруг на самом дне балки полыхнуло бесшумное зарево костра и вырвало из темноты мохнатые конские головы, усталые лица людей в холодном блеске патронташей и винтовок.

Сташинский, Варя и Харченко отъехали в сторону и тоже спешились.

— Ничего, теперь отдохнем, ог-гонек запалим! — с нарочитой и никого не веселящей бодростью говорил Харченко. — Ну-ка, за хворостом!..

— ...Всегда вот так — вовремя не остановимся, а потом страдаем, — рассуждал он тем же малоутешительным тоном, шаря руками в мокрой траве и действительно страдая — от сырости, от темноты, от боязни, что его укусит змея, и от угрюмого молчания Сташинского. — Помню, вот тоже с Сучана шли — давно б уже заночевать пора, хоть глаз выколи, а мы...

«И зачем он говорит все это? — думала Варя. — Сучан... куда-то они шли... глаза выкололи... Ну, кому все это нужно теперь? Ведь все, все уже кончилось, и ничего не будет». Ей хотелось есть, и от этого как-то усиливалось другое ощущение — немой и сдавленной пустоты, которую она теперь ничем не могла заполнить. Она едва не расплакалась.

Однако, поев и отогревшись, все трое повеселели, и окружавший их темно-синий, чужой и холодный мир показался уже своим, уютным и теплым.

— Эх, шинель ты моя, шинель, — сытым голосом говорил Харченко, развертывая скатку. — На огне не горит и в воде не тонет. Вот бы мне бабу сюда!.. — Он подмигнул и рассмеялся.

«И чего я взъелась на него? — думала Варя, чувствуя, как от веселого костра, от съеденной каши, от домашних разговоров Харченки к ней возвращаются обычная ее мягкость и доброта. — И ничего ведь не было, с чего я

так расстроилась? И парень сидит да скучает из-за моей дурости... А ведь стоит только пойти к нему, и все, все пойдет, как сначала...»

И ей вдруг так не захотелось носить в себе что-то обидное и злое и страдать от этого, когда всем вокруг так хорошо и бездумно и когда ей тоже может быть бездумно хорошо, что она тут же решила выбросить все из головы и пойти к Мечику, и не было уже в этом ничего зазорного для нее или плохого.

«Мне ничего, ничего не нужно, — думала она, сразу повеселев, — лишь бы он только хотел и любил меня, лишь бы он возле был... нет, я бы все отдала, ежели бы он всегда ездил, говорил, спал со мною, такой красивый и молоденький...»

Мечик и Чиж развели отдельный костер на отлете. Они поленились сварить себе ужин, пожарили над огнем сало и, так как налегали на него больше, чем на хлеб, истратив все, оба сидели голодные.

Мечик еще не пришел в себя после смерти Фролова и исчезновения Пики. Весь день он будто плыл в тумане, сотканном из чужих и строгих, отделяющих его от остальных людей мыслей об одиночестве и смерти. К вечеру эта пелена спала, но он никого не хотел видеть и всех боялся.

Варя с трудом отыскала их костер. Вся балка жила в таких же кострах и дымных песнях.

— Вот вы куда запрятались? — сказала она, выходя из кустов с бьющимся сердцем. — Здравствуйте.

Мечик вздрогнул и, чуждо-испуганно посмотрев на нее, отвернулся к огню.

— А-а!.. — приятно осклабился Чиж... — Вас только и не хватало. Садитесь, милая, садитесь...

Он засуетился, распахнул шинель и показал ей место рядом. Но она не села с ним. Его обычная пошлость — качество, которое она сразу почувствовала в нем, хотя и не знала, что это такое, — теперь особенно неприятно резнула ее.

— Пришла проведать тебя, а то ты нас совсем забыл, — заговорила она певучим, волнующимся голосом, обращаясь к Мечику и не скрывая, что пришла исключительно из-за него. — Там уж и Харченко справлялся, как, мол, здоровье, шибко, мол, раненный парень был, а теперь будто и ничего, о себе уж я не говорю...

Мечик молча пожал плечами.

— Скажите, живем прекрасно — что за вопрос! — воскликнул Чиж, охотно принимая все на себя. — Да вы садитесь рядом, чего стесняетесь?

— Ничего, я ненадолго, — сказала она, — так только, проходом... — Ей стало вдруг обидно, что она пришла из-за Мечика, а он пожимает плечами. Она добавила: — А вы, видать, ничего и не кушали — котелок чистый...

— Чего там не кушали? Если бы продукты хорошие давали, а то черт знает что!.. — Чиж брезгливо поморщился. — Да вы садитесь рядом! — с отчаянным радушием повторил он снова и, схватив ее за руку, притянул к себе. — Садитесь же!..

Она опустилась возле на шинель.

— Уговор-то наш помните? — Чиж интимно подмигнул.

— Какой уговор? — спросила она, с испугом припоминая что-то. «Ах, не надо, не надо было приходить», — вдруг подумала она, и что-то большое и тревожное оборвалось в ней.

— То есть как — какой?.. А вот обождите... — Чиж быстро перегнулся к Мечику. — Хоть в обществе секретов и не полагается, — сказал он, обняв его за плечо и оборачиваясь к ней, — но...

— Какие там секреты?.. — сказала она с неестественной улыбкой и, быстро мигая, начала зачем-то поправлять волосы дрожащими, непослушными пальцами.

— Какого ты черта сидишь, как тюлень? — быстро зашептал Чиж на ухо Мечику. — Тут все уже сговорено, а ты...

Мечик отпрянул от Чижа, мельком взглянул на Варю и густо покраснел. «Ну что, дождался? Видишь теперь, что делается», — с укором сказал ему ее плывущий взгляд.

— Нет, нет, я пойду... нет, нет, — забормотала она, как только Чиж снова повернулся к ней, точно он уже предлагал ей нечто позорное и унизительное. — Нет, нет, я пойду...— Она вскочила и пошла мелким, скорым шагом, низко склонив голову; скрылась в темноте.

— Опять из-за тебя упустили... Раз-зява!.. — прошипел Чиж презрительно и злобно. Вдруг он подпрыгнул, подхваченный какой-то стихийной силой, и стремительными скачками, точно его подбрасывал кто-то, помчался вслед за Варей.

Он нагнал ее в нескольких саженях и, крепко обняв, повлек в кусты, приговаривая:

— Ну же, миленькая... ну, девочка...

— Пусти меня... отстань... кричать буду!.. — просила она, слабея и чуть не плача, но чувствуя, что у нее нет сил кричать и что кричать ей теперь не нужно: незачем и не для кого.

— Ну, миленькая, ну зачем же! — приговаривал Чиж, зажав ей рот и все больше возбуждаясь от собственной нежности.

«И правда, зачем? Ну, кому это нужно теперь? — подумала она устало. — Но ведь это Чиж... да, но ведь это же Чиж... откуда он, почему он?.. Ах, не все ли равно...» И ей действительно стало все безразлично.

XIII. Груз

— Не люблю я их, мужиков, душа не лежит, — говорил Морозка, плавно покачиваясь в седле, и в такт, когда Мишка ступал правой передней ногой, сшибал плетью ярко-желтые листья березок. — Бывал я тоже у деда. Двое дядьков там у меня — землю пашут. Нет, не лежит душа! Не то, не то — кровь другая: скупые, хитрые они... да что там! — Морозка, упустив березку, чтобы не потерять такт, хлестнул себя по сапогу. — А с чего бы, кажись, хитрить, скупиться? — спросил он, подымая голову. — Ну, ведь ни хрена, ни хре-на же у самих нету, подметай — чисто!.. — И он засмеялся будто бы чужим, наивным, жалеющим смешком.

Гончаренко слушал, глядя промеж конских ушей, в серых его глазах стояло умное и крепкое выражение, какое бывает у людей, умеющих хорошо слушать, а еще лучше — думать по поводу услышанного.

— А я думаю, каждого из нас колупни, — сказал он вдруг, — *из нас*, — подчеркнул для большей прочности и посмотрел на Морозку, — меня, к примеру, или тебя, или вон Дубова, — в каждом из нас мужика найдешь... Найдешь, — повторил он убежденно. — Со многими потрохами, разве что только без лаптей...

— Это насчет чего? — оглянулся Дубов.

— А то и с лаптями... Разговор у нас насчет мужика... В каждом, говорю, из нас мужик сидит...

— Ну-у... — усомнился Дубов.

— А как же иначе?.. У Морозки, скажем, дед в деревне, дядья; у тебя...

— У меня, друг, никого, — перебил Дубов, — да и слава богу! Не люблю, признаться, это семя... Хотя Кубрака возьми: ну сам он еще Кубрак Кубраком (не с каждого ж ума спросить!), а взвод он набрал? — И Дубов презрительно сплюнул.

Разговор этот происходил на пятый день пути, когда отряд спустился к истокам Хаунихедзы. Ехали они по старой зимней дороге, устланной мягким, засыхающим пырником. Хотя ни у кого не осталось ни крошки из харчей, припасенных в госпитале помощником начхоза, все были в приподнятом настроении, чувствуя близость жилья и отдыха.

— Ишь что делает? — подмигнул Морозка. — Дубов-то наш — старик, а? — И он засмеялся, удивляясь и радуясь тому, что взводный согласен с ним, а не с Гончаренкой.

— Нехорошо ты говоришь о народе, — сказал подрывник, нисколько не обескураженный. — Ладно, пущай у тебя никого, не в том дело — у меня теперь тоже никого. Рудник наш возьмем... Ну, ты, правда, еще российский, а Морозка? Он, окромя своего рудника, почти что ничего не видал...

— Как не видал? — обиделся Морозка. — Да я на фронте...

— Пущай, пущай, — замахал на него Дубов, — ну, пущай не видал...

— Так это ж деревня, рудник ваш, — спокойно сказал Гончаренко. — У каждого огород — раз. Половина на зиму приходит, на лето — обратно в деревню... Да у вас там зюбры кричат, как в хлеву!.. Был я на вашем руднике.

— Деревня? — удивлялся Дубов, не поспевая за Гончаренкой.

— А то что же? Копаются жинки ваши по огородам, народ кругом тоже все деревенский, а разве не влияет?.. Влияет! — И подрывник привычным жестом рассек воздух ладонью, поставленной на ребро.

— Влияет... Конечно... — неуверенно сказал Дубов, раздумывая, нет ли в этом чего-нибудь позорного для «угольного племени».

— Ну, вот... Возьмем теперь город; велики ль, сказать, города наши, много ль городов у нас? Раз, два и обчелся... На тысячи верст — сплошная деревня... Влияет, я спрашиваю?

— Обожди, обожди, — растерялся взводный, — на тысячи верст? как сплошная?.. ну да — деревня... ну влияет?

— Вот и выходит, что в каждом из нас — трошки от мужика, — сказал Гончаренко, возвращаясь к исходной точке и этим точно покрывая все, о чем говорил Дубов.

— Ловко подвел! — восхитился Морозка, которого с момента вмешательства Дубова спор интересовал только как проявление человеческой ловкости. — Заел он тебя, старик, и крыть нечем!

— Это я к тому, — пояснил Гончаренко, не давая Дубову опомниться, — что гордиться нам не нужно перед мужиком, хотя б и Морозке, — без мужика нам тоже... — Он покачал головой и смолк; и, видимо, все, о чем говорил потом Дубов, не в состоянии было его разубедить.

«Умный черт, — подумал Морозка, сбоку поглядывая на Гончаренку и проникаясь все большим уважением к нему. — Так припер старика — никуда не денешься». Морозка знал, что Гончаренко, как и все люди, может ошибаться, поступать несправедливо, — в частности, Морозка совсем не чувствовал на себе того мужицкого груза, о котором так уверенно говорил Гончаренко, — но все же он верил подрывнику больше, чем кому-либо другому. Гончаренко был «свой в доску», он «мог понимать», он «сознавал», а кроме того, он не был пустословом, праздным человеком. Его большие узловатые руки были жадны к работе, исполняли ее, на первый взгляд, медленно, но на самом деле споро — каждое их движение было осмысленно и точно.

И отношения между Морозкой и Гончаренкой достигли той первой, необходимой в дружбе, ступени, о которой партизаны говорят: «Они спят под одной шинелькой», «они едят из одного котелка».

Благодаря ежедневному общению с ним Морозка начинал думать, что сам он, Морозка, тоже исправный партизан: лошадь у него в порядке, сбруя крепко зачинена, винтовка вычищена и блестит, как зеркало, в бою он первый и надежнейший, товарищи любят и уважают его за это. И, думая так, он невольно приобщался к той

осмысленной здоровой жизни, какой, казалось, всегда живет Гончаренко, то есть к жизни, в которой нет места ненужным и праздным мыслям...

— О-ой... стой!.. — кричали впереди. Возглас передавался по цепи, и в то время как передние уже стали, задние продолжали напирать. Цепочка смешалась.

— Э-э... ут... Метелицу зовут... — снова побежало по цепи. Через несколько секунд, согнувшись по-ястребиному, промчался Метелица, и весь отряд с бессознательной гордостью проводил глазами его не отмеченную никакими уставами цепкую пастушью посадку.

— Поехать и мне, узнать, что там такое, — сказал Дубов.

Немного погодя он вернулся раздраженный, стараясь, однако, не показывать этого.

— В разведку Метелица едет, ночевать здесь будем, — сказал сдержанно, но в голосе его слышно для всех клокнули злые, голодные нотки.

— Как так, не евши?! О чем они там думают?! — закричали кругом.

— Отдохнули, называется...

— Вот язви его в свет!.. — присоединился Морозка.

Впереди уже спешивались.

Левинсон решил заночевать в тайге, потому что не был уверен, что низовье Хаунихедзы свободно от неприятеля. Однако он надеялся, что даже в этом случае ему удастся, прощупав путь разведкой, пробраться в долину Тудо-Ваки, богатую лошадьми и хлебом.

Всю дорогу мучила его непереносная, усиливающаяся с каждым днем боль в боку, и он знал уже, что боль эту — следствие усталости и малокровия — можно вылечить только неделями спокойной и сытной жизни. Но так как еще лучше он знал, что долго не будет для него спокойной и сытной жизни, он всю дорогу приноравливался к новому своему состоянию, уверяя себя, что эта «совсем пустяковая болезнь» была у него всегда и потому никак не может помешать ему выполнить то дело, которое он считал своей обязанностью выполнить.

— А на мое мнение — надо иттить... — не слушая Левинсона и глядя на его ичиги, в четвертый раз повторял Кубрак с тупым упрямством человека, который не желает ничего знать, кроме того, что ему хочется есть.

— Ну, если уж тебе так невтерпеж, иди сам... сам иди... оставь себе заместителя и иди... А подводить весь отряд нам нет никакого расчета...

Левинсон говорил с таким выражением, точно у Кубрака был именно этот неправильный расчет.

— Иди-ка, брат, лучше караул снаряжай, — прибавил он, пропустив мимо ушей новое замечание взводного. Увидев, однако, что тот собирается настаивать, он вдруг нахмурился и строго спросил: — Что?..

Кубрак поднял голову и замигал.

— Вперед по дороге пустишь конный дозор, — продолжал Левинсон с прежней, чуть заметной издевкой в голосе, — а назад на полверсте поставишь пеший караул; лучше всего у ключа, что переезжали. Понятно?

— Понятно, — угрюмо сказал Кубрак, удивляясь, почему он говорит это, а не то, что ему хочется. «Холера двужильная», — подумал он о Левинсоне, с бессознательной, прикрытой уважением, неприязнью к нему и жалостью к себе.

Ночью, проснувшись внезапно, как он часто просыпался в последнее время, Левинсон вспомнил этот разговор с Кубраком и, закурив, пошел проверять караулы.

Стараясь не ступать на шинели спящих, пробрался он меж тлеющих костров. Крайний справа горел ярче других, возле него на корточках сидел дневальный и грел руки, протянув их ладонями к огню. Он, видно, совсем забыл об этом, — темная баранья шапка сползла ему на затылок, глаза были задумчиво, широко раскрыты, и он чуть улыбался доброй, детской улыбкой. «Вот ловко!..» — подумал Левинсон, почему-то именно этим словом выразив то неясное чувство тихого, немного жуткого восторга, которое сразу овладело им при виде этих синих, тлеющих костров, улыбающегося дневального и — от всего, что смутно ждало его в ночи.

И он пошел еще тише и аккуратней — не для того, чтобы остаться незамеченным, а для того, чтобы не вспугнуть улыбку дневального. Но тот так и не очнулся и все улыбался на огонь. Наверное, этот огонь и идущий из тайги мокрый хрустящий звук выщипываемой травы напоминали дневальному «ночное» в детстве: росистый месячный луг, далекий крик петухов на деревне, притихший конский табун, побрякивающий путами, резвое пламя костра перед детскими зачарованными глазами...

Костер этот уже отгорел и потому казался дневальному ярче и теплее сегодняшнего.

Едва Левинсон отошел от лагеря, как его обняла сырая, пахучая темь, ноги тонули в чем-то упругом, пахло грибами и гниющим деревом. «Какая жуть!» — подумал он и оглянулся. Позади не было уже ни одного золотистого просвета — лагерь точно провалился вместе с улыбающимся дневальным. Левинсон глубоко вздохнул и нарочито веселым шагом пошел по тропинке вглубь.

Через некоторое время он услышал тихое журчание ключа, постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя, зашагал еще быстрее, стараясь сильнее шуршать, чтобы было слышно.

— Кто?.. Кто там?.. — раздался из темноты срывающийся голос.

Левинсон узнал Мечика и пошел напрямик, не отзываясь. В сжавшейся тишине лязгнул затвор и, запнувшись за что-то, жалобно заскрипел. Слышно было, как нервничают руки, стараясь дослать патрон.

— Почаще смазывать надо, — насмешливо сказал Левинсон.

— Ах, это вы?.. — с облегчением вырвалось у Мечика, — Нет, я смазываю... не знаю, что там случилось... — Он смущенно посмотрел на командира и, забыв про открытый затвор, опустил винтовку.

Мечик попал в караул в третью смену, в полночь. Прошло не более получаса, как отшуршали в траве неспешные шаги разводящего, но Мечику казалось, что он стоит уже очень долго. Он был наедине со своими мыслями в большом враждебном мире, где все шевелилось, медленно жило чужой, сторожкой и хищной жизнью.

В сущности, все это время его занимала только одна мысль, которая неизвестно когда и откуда родилась в нем, но теперь он неизменно возвращался к ней, о чем бы ни думал. Он знал, что никому не скажет об этой мысли, знал, что мысль эта чем-то плоха, очень постыдна, но он также знал, что теперь уже не расстанется с ней — всеми силами постарается выполнить ее, потому что это было последнее и единственное, что ему оставалось.

Мысль эта сводилась к тому, чтобы тем или иным путем, но как можно скорее уйти из отряда.

И прежняя жизнь в городе, казавшаяся раньше такой безрадостной и скучной, теперь, когда он думал о том, что снова сможет вернуться к ней, выглядела такой счастливой и беззаботной и единственно возможной.

Увидев Левинсона, Мечик смутился не столько оттого, что винтовка была не в порядке, сколько оттого, что с этими своими мыслями он был захвачен врасплох.

— Ну и вояка! — сказал Левинсон добродушно. После улыбающегося дневального ему не хотелось сердиться. — Жутко стоять, да?

— Нет... чего же, — смешался Мечик, — я уж привык...

— А я вот никак не могу привыкнуть, — усмехнулся Левинсон. — Уж сколько один хожу и езжу — днем и ночью, — а все жутко... Ну, как тут, спокойно?

— Спокойно, — сказал Мечик, глядя на него с удивлением и некоторой робостью.

— Ну, ничего, скоро вам легче будет, — отозвался Левинсон как бы не на слова Мечика, а на то, что крылось под ними. — Только бы на Тудо-Ваку выйти, а там легче... Куришь? Нет?

— Нет, не курю... так, иногда балуюсь, — поспешно добавил Мечик, вспомнив про Варин кисет, хотя Левинсон и не мог знать про существование этого кисета.

— А не скучно без курева?.. «Табак дело», как сказал бы Канунников, — был у нас такой хороший партизан. Не знаю, пробрался ли он в город...

— А зачем он пошел туда? — спросил Мечик, и от какой-то неясной мысли у него забилось сердце.

— Послал я его с донесением, да время очень тревожное, а там вся наша сводка.

— Так можно ведь и еще послать, — сказал Мечик неестественным голосом, стараясь делать вид, будто нет ничего особенного в его словах. — Не думаете еще послать?

— А что? — насторожился Левинсон.

— Да так... Если думаете — могу я свезти... Мне там все знакомо.

Мечику показалось, что он слишком поторопился и Левинсону теперь все стало ясно.

— Нет, не думаю... — в раздумье протянул Левинсон — У вас там что? родные?

— Нет, я вообще там работал... то есть у меня есть там родные, но я не потому... нет, вы можете на меня положиться: когда я работал в городе, мне не раз приходилось перевозить секретные пакеты.

— А с кем вы работали?

— Работал я с максималистами, но я думал тогда, что это все равно...

— То есть как все равно?

— Да с кем ни работать...

— А теперь?

— А теперь меня как-то с толку сбили, — тихо сказал Мечик, не зная, что же наконец от него требуется.

— Так... — протянул Левинсон, словно это и было как раз то, что требуется. — Нет, нет, не думаю... не думаю отправлять, — повторил он снова.

— Нет, вы знаете, почему я еще заговорил об этом?.. — начал Мечик с внезапной нервной решимостью, и голос его задрожал. — Вы только не подумайте обо мне плохо и вообще не думайте, что я скрываю что-нибудь, — я буду с вами совсем откровенным...

«Сейчас я скажу ему все», — подумал он, чувствуя, что действительно сейчас все скажет, не зная, хорошо ли это или плохо.

—Я заговорил об этом еще потому, что мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан, и будет лучше, если вы меня отправите... Нет, вы не подумайте, что я боюсь или прячу от вас что-нибудь, но ведь я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю... Ведь я ни с кем, ни с кем здесь не могу сойтись, ни от кого не вижу поддержки, а разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой, но всегда натыкался на грубость, насмешки, издевательства, хотя я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен — вы это знаете... Я теперь никому не верю... я знаю, что, если бы я был сильнее, меня бы слушались, меня бы боялись, потому что каждый здесь только с этим и считается, каждый смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, хотя бы для этого украсть у своего товарища, и никому нет дела до всего остального... Мне даже кажется иногда, что, если бы они завтра попали к Колчаку, они так же служили бы Колчаку и так же жестоко расправлялись бы со всеми, а я не могу, а я не могу этого делать!..

Мечик чувствовал, как с каждым словом разрывается в нем какая-то мутная пелена, слова с необыкновенной легкостью вылетают из растущей дыры, и от этого ему самому становилось легче. Хотелось говорить еще и еще, и было уже совсем безразлично, как отнесется к этому Левинсон.

«Вот тебе и на... ну — каша!..» — думал Левинсон, все с большим любопытством вслушиваясь в то, что нервно билось под словами Мечика.

— Постой, — сказал он наконец, тронув его за рукав, и Мечик с особенной ясностью почувствовал на себе его большие и темные глаза. — Ты, брат, наговорил — не проворотишь!.. Остановимся пока на этом. Возьмем самое важное... Ты, говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо...

— Да нет же! — воскликнул Мечик: ему казалось, что самое важное в его словах было не это, а то, как ему плохо здесь живется, как все его несправедливо обижают и как он хорошо делает, говоря об этом откровенно, начистоту. — Я хотел сказать...

— Нет, обожди уж, теперь я скажу, — мягко перебил Левинсон. — Ты сказал, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и, если бы мы попали к Колчаку...

— Нет, я не говорил о вас лично!.. Я...

— Это все равно... Если бы они попали к Колчаку, то они так же жестоко и бессмысленно исполняли бы то дело, какое угодно было Колчаку? Но это же совсем неверно!.. — И Левинсон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется ему неверным.

Но чем дальше он говорил, тем яснее ему становилось, что он тратит слова впустую. По тем отрывистым замечаниям, которые вставлял Мечик, он чувствовал, что нужно бы было говорить о чем-то другом, более основном и изначальном, к чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже осмысленного и решительного действия.

— Ну, что ж с тобой сделаешь, — сказал он наконец с суровой и доброй жалостью, — пеняй тогда сам на себя. А идти тебе некуда. Глупо. Убьют тебя, и все... Лучше

подумай как следует, особенно над тем, что я сказал... Об этом не вредно подумать...

— Я только об этом и думаю, — глухо сказал Мечик, и прежняя нервная сила, заставлявшая его говорить так много и смело, сразу покинула его.

— А главное — не считай своих товарищей хуже себя. Они не хуже, нет... — Левинсон достал кисет и медленно стал свертывать папироску.

Мечик с вялой тоской наблюдал за ним.

— А затвор ты замкни все-таки, — сказал вдруг Левинсон, и видно было, что он во все время их разговора помнил о раскрытом затворе. — Пора бы уж привыкнуть к таким вещам — не дома. — Он чиркнул спичкой, и на мгновение выступили из темноты его полузакрытые веки с длинными ресницами, тонкие ноздри, бесстрастная рыжая борода. — Да, как кобыла твоя? Ты все на ней ездишь?

— На ней...

Левинсон подумал.

— Вот что: завтра я тебе Нивку дам, знаешь? Пика на ней ездил... А Зючиху начхозу сдашь. Сойдет?

— Сойдет, — грустно сказал Мечик.

«Экий непроходимый путаник», — думал потом Левинсон, мягко и осторожно ступая в темную траву и часто пыхая цигаркой. Он был немножко взволнован всем этим разговором. Он думал о том, как Мечик все-таки слаб, ленив, безволен и как же на самом деле безрадостно, что в стране плодятся еще такие люди — никчемные и нищие. «Да, до тех пор, пока у нас, на нашей земле, — думал Левинсон, заостряя шаг и чаще пыхая цигаркой, — до тех пор, пока миллионы людей живут еще в грязи и бедности, по медленному, ленивому солнцу, пашут первобытной сохой, верят в злого и глупого бога, — до тех пор могут рождаться на ней такие ленивые и безвольные люди, такой никчемный пустоцвет...»

И Левинсон волновался, потому что все, о чем он думал, было самое глубокое и важное, о чем он только мог думать, потому что в преодолении этой скудости и бедности заключался основной смысл его собственной жизни, потому что не было бы никакого Левинсона, а был бы кто-то другой, если бы не жила в нем огромная, не сравнимая ни с каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека. Но какой может быть раз-

говор о новом, прекрасном человеке до тех пор, пока громадные миллионы вынуждены жить такой первобытной и жалкой, такой немыслимо-скудной жизнью.

«Но неужели и я когда-нибудь был такой или похожий?» — думал Левинсон, мысленно возвращаясь к Мечику. И он пытался представить себя таким, каким он был в детстве, в ранней юности, но это давалось ему с трудом: слишком прочно и глубоко залегли — и слишком значительны для него были — напластования последующих лет, когда он был уже тем Левинсоном, которого все знали именно как *Левинсона,* как человека, всегда идущего во главе.

Он только и смог вспомнить старинную семейную фотографию, где тщедушный еврейский мальчик — в черной курточке, с большими наивными глазами — глядел с удивительным, недетским упорством в то место, откуда, как ему сказали тогда, должна была вылететь красивая птичка. Она так и не вылетела, и помнится, он чуть не заплакал от разочарования. Но как много понадобилось еще таких разочарований, чтобы окончательно убедиться в том, что «так не бывает!».

И когда он действительно убедился в этом, он понял, какой неисчислимый вред приносят людям лживые басни о красивых птичках — о птичках, которые должны откуда-то вылететь и которых многие бесплодно ожидают всю свою жизнь... Нет, он больше не нуждался в них! Он беспощадно задавил в себе бездейственную, сладкую тоску по ним — все, что осталось в наследство от ущемленных поколений, воспитанных на лживых баснях о красивых птичках!.. «Видеть все так, как оно есть, — для того, чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть», — вот к какой — самой простой и самой нелегкой — мудрости пришел Левинсон.

«...Нет, все-таки я был крепкий парень, я был много крепче его, — думал он теперь с необъяснимым, радостным торжеством, которого никто не мог бы понять, даже предположить в нем, — я не только многого хотел, но я многое *мог* — в этом все дело...» Он шел, уже не разбирая дороги, и холодные росистые ветви освежали его лицо, он чувствовал прилив необыкновенных сил, вздымавших его на недосягаемую высоту, и с этой обширной, земной, человеческой высоты он господствовал над своими недугами, над слабым своим телом...

Когда Левинсон вышел к лагерю, костры уже повяли, дневальный больше не улыбался — слышно было, как он возится где-то с лошадью, приглушенно ругаясь. Левинсон пробрался к своему костру; костер едва тлел, возле него крепким и безмятежным сном спал Бакланов, закутавшись в шинель. Левинсон подложил сухой травы и хворосту и раздул пламя. От сильного напряжения у него закружилась голова. Бакланов почувствовал тепло, заворочался и зачмокал во сне, — лицо его было открыто, губы по-детски выпячены, фуражка, прижатая виском, стояла торчмя, и весь он походил на большого, сытого и доброго щенка. «Ишь ты», — любовно подумал Левинсон и улыбнулся; после разговора с Мечиком почему-то особенно приятно было смотреть на Бакланова.

Потом он, кряхтя, улегся рядом, и только закрыл глаза — закружил, закачался, поплыл куда-то, не чувствуя своего тела, пока не ухнул сразу в бездонную черную яму.

XIV. Разведка Метелицы

Отправляя Метелицу в разведку, Левинсон наказал ему во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но деревня, куда послан был взводный, на самом деле лежала много дальше, чем предполагал Левинсон: Метелица покинул отряд около четырех часов пополудни и на совесть гнал жеребца, согнувшись над ним, как хищная птица, жестоко и весело раздувая тонкие ноздри, точно опьяненный этим бешеным бегом после пяти медлительных и скучных дней, — но до самых сумерек бежала вслед, не убывая, осенняя тайга — в шорохе трав, в холодном и грустном свете умирающего дня. Уже совсем стемнело, когда он выбрался наконец из тайги и придержал жеребца возле старого и гнилого, с провалившейся крышей омшаника, как видно, давным-давно заброшенного людьми.

Он привязал лошадь и, хватаясь за рыхлые, осыпающиеся под руками, края сруба, взобрался на угол, рискуя провалиться в темную дыру, откуда омерзительно и жутко пахло осклизлым деревом и задушенными травами. Приподнявшись на цепких полусогнутых ногах, стоял он минут десять не шелохнувшись, зорко вглядываясь и вслушиваясь в ночь, не видный на темном фоне леса и еще более похожий на хищную птицу. Перед ним лежала хму-

рая долина в темных стогах и рощах, зажатая двумя рядами сопок, густо черневших на фоне неласкового звездного неба.

Метелица впрыгнул в седло и выехал на дорогу. Ее черные, давно неезженые колеи едва проступали в траве. Тонкие стволы берез тихо белели во тьме, как потушенные свечи.

Он поднялся на бугор: слева по-прежнему шла черная гряда сопок, изогнувшаяся, как хребет гигантского зверя; шумела река. Верстах в двух, должно быть возле самой реки, горел костер, — он напомнил Метелице о сиром одиночестве пастушьей жизни; дальше, пересекая дорогу, тянулись желтые, немигающие огни деревни. Линия сопок справа отворачивала в сторону, теряясь в синей мгле; в этом направлении местность сильно понижалась. Как видно, там пролегало старое речное русло; вдоль него чернел угрюмый лес.

«Болото там, не иначе», — подумал Метелица. Ему стало холодно: он был в расстегнутой солдатской фуфайке поверх гимнастерки с оторванными пуговицами, с распахнутым воротом. Он решил ехать сначала к костру. На всякий случай вынул из кобуры револьвер и сунул за пояс под фуфайку, а кобуру спрятал в сумку за седлом. Винтовки с ним не было. Теперь он походил на мужика с поля: после германской войны многие ходили так, в солдатских фуфайках.

Он был уже совсем близко от костра, — вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме. Жеребец рванулся и, вздрагивая могучим телом, прядая ушами, завторил страстно и жалобно. В то же мгновение у огня качнулась тень. Метелица с силой ударил плетью и взвился вместе с лошадью.

У костра, вытаращив испуганные глазенки, держась одной рукой за кнут, а другую, в болтающемся рукаве, приподняв, точно защищаясь, стоял худенький черноголовый мальчишка — в лаптях, в изорванных штанишках, в длинном не по росту пиджаке, обернутом вокруг тела и подпоясанном пенькой. Метелица свирепо осадил жеребца перед самым носом мальчишки, едва не задавив его, и хотел уже крикнуть ему что-то повелительное и грубое, как вдруг увидел перед собой эти испуганные глаза над болтающимся рукавом, штанишки с просвечивающими голыми коленками и этот убогий, с хозяйского плеча,

пиджак, из которого так виновато и жалко смотрела тонкая и смешная детская шея...

— Чего же ты стоишь?.. Напужался? Ах ты, воробей, воробей, — вот дурак-то тоже! — смутившись, заговорил Метелица невольно с той ласковой грубостью, с которой никогда не говорил с людьми, а только с лошадьми. — Стоит — и крышка!.. А ежели б задавил тебя?.. Ах, вот дурак-то тоже! — повторил он, размягчаясь вовсе, чувствя, как при виде этого мальчишки и всей этой убогости пробуждается в нем что-то — такое же жалкое, смешное, детское... Мальчишка от испугу едва перевел дух и опустил руку.

— А чего ж ты налетел, как бузуй? — сказал он, стараясь говорить резонно и независимо, как взрослый, но все еще робея. — Напужаиси — тут у меня кони...

— Ко-они? — насмешливо протянул Метелица. — Скажите на милость! — Он уперся в бока, откинулся назад, рассматривая парнишку, прищурившись и чуть пошевеливая атласными подвижными бровями, и вдруг засмеялся так откровенно громко, на таких высоких добрых и веселых нотах, что даже сам удивился, как это выходят из него такие звуки.

Парнишка смущенно, недоверчиво шмыгнул носом, но, поняв, что страшного ничего нет, а все, наоборот, выходит ужасно весело, сморщился так, что нос его вздернулся кверху, и тоже — совсем по-детски — залился озорно и тоненько. От неожиданности Метелица прыснул еще громче, и оба они, невольно подзадоривая друг друга, хохотали так несколько минут: один — раскачиваясь на седле взад и вперед, поблескивая огненными от костра зубами, а другой — упав на задницу, упершись в землю ладонями и откидываясь назад всем телом при каждом новом взрыве.

— Ну, и насмешил, хозяин! — сказал наконец Метелица, выпрастывая ногу из стремени. — Чудак ты, право... — Он соскочил на землю и протянул руку к огню.

Парнишка, перестав смеяться, смотрел на него с серьезным и радостным изумлением, как будто ждал от него еще самых неожиданных чудачеств.

— И веселый же ты, дьявол, — выговорил он наконец раздельно и четко, словно подвел окончательный итог своим убеждениям.

— Я-то? — усмехнулся Метелица. — Я, брат, веселый...

— А я так напужался, — сознался парнишка. — Кони тут у меня. А я картошку пеку...

— Картошку? Это здорово!.. — Метелица уселся рядом, не выпуская из руки уздечки. — Где ж ты берешь ее, картошку?

— Вона, где берешь... Да тут ее гибель! — И парнишка повел руками вокруг.

— Воруешь, значит?

— Ворую... Давай я подержу коня-то... Или жеребец у тебя?.. Да я, брат, не упущу, не бойся... Хороший жеребец, — сказал парнишка, опытным взглядом окинув ладную, худую, с подтянутым животом, и мускулистую фигуру жеребца. — А откуль сам?

— Ничего жеребец, — согласился Метелица. — А ты откуда?

А вон, — кивнул мальчишка в сторону огней. — Ханихеза — село наше... Сто двадцать дворов, как одна копеечка, — повторил он чьи-то чужие слова и сплюнул.

— Так... А я с Воробьевки за хребтом. Может, слыхал?

— С Воробьевки? Не, не слыхал, — далеко, видать...

— Далеко.

— А к нам зачем?

— Да как сказать... Это, брат, долго рассказывать... Коней думаю у вас куповать, коней, говорят, у вас тут много... Я, брат, их люблю, коней-то, — проникновенно-хитро сказал Метелица, — сам всю жизнь пас, только чужих.

— А я, думаешь, своих? Хозяйские...

Парнишка выпростал из рукава худую грязную ручонку и кнутовищем стал раскапывать золу, откуда заманчиво и ловко покатились черные картофелины.

— Может, ты ись хочешь? — спросил он. — У меня и хлеб е, ну — мало...

— Спасибо, я только что нажрался — вот! — соврал Метелица, показав по самую шею и только теперь почувствовав, как сильно ему хочется есть.

Парнишка разломил картофелину, подул на нее, сунул в рот половину вместе с кожурой, повернул на языке и с аппетитом стал жевать, пошевеливая острыми ушками. Прожевав, он посмотрел на Метелицу и так же раздельно и четко, как раньше определил его веселым человеком, сказал:

— Сирота я, полгода уж, как сирота. Тятьку у меня казаки вбили, а мамку изнасилили и тоже вбили, а брата тоже...

— Казаки? — встрепенулся Метелица.

— А как же? Вбили почем зря. И двор весь попалили, да не у нас одних, а дворов двенадцать, не менее, и каждый месяц наезжают, сейчас тоже человек сорок стоит. А волостное село за нами, Ракитное, так там цельный полк все лето стоит. Ох, и лютуют! Бери картошку-то...

— Как же вы так — и не бежали?.. Вон лес у вас какой... — Метелица даже привстал.

— Что ж лес? Век в лесу не просидишь. Да и болота там — не вылезешь — такое бучило...

«Как угадал», — подумал Метелица, вспомнив свои предположения.

— Знаешь что, — сказал он, подымаясь, — попаси-ка коня моего, а я в село пешком схожу. У вас, я вижу, тут не то что купить, а и последнее отберут...

— Что ты скоро так? Сиди!.. — сказал пастушонок, сразу огорчившись, и тоже встал. — Одному скушно тут, — пояснил он жалостным голосом, глядя на Метелицу большими просящими и влажными глазами.

— Нельзя, брат, — Метелица развел руками, — самое разведать, пока темно... Да я вернусь скоро, а жеребца спутаем... Где у них там самый главный стоит?

Парнишка объяснил, как найти избу, где стоит начальник эскадрона и как лучше пройти задами.

— А собак у вас много?

— Собак — хватает, да они не злые.

Метелица, спутав жеребца и попрощавшись, двинулся по тропинке вдоль реки. Парнишка с грустью смотрел ему вслед, пока он не исчез во тьме. Через полчаса Метелица был под самым селом. Тропинка отвернула вправо, но он, по совету пастушонка, продолжал идти по скошенному лугу, пока не натолкнулся на прясло, огибавшее мужицкие огороды, — дальше пошел задами. Село уже спало; огни потухли; чуть видны были при свете звезд теплые соломенные крыши хатенок в садах пустых и тихих; с огородов шел запах вскопанной сырой земли.

Метелица, миновав два переулка, свернул в третий. Собаки провожали его неверным хриплым лаем, точно напуганные сами, но никто не вышел на улицу, не окликнул его. Чувствовалось, что здесь привыкли ко всему, привык-

ли и к тому, что незнакомые, чужие люди бродят по улицам, делают, что хотят. Не видно было даже обычных в осеннее время, когда по деревням справляют свадьбы, шушукающихся парочек: в густой тени под плетнями никто не шептал о любви в эту осень.

Руководствуясь приметами, которые дал ему пастушонок, он прошел еще несколько переулков, кружа возле церкви, и наконец уперся в крашеный забор поповского сада. (Начальник эскадрона стоял в доме попа.) Метелица заглянул внутрь, пошарил глазами, прислушался и, не найдя ничего подозрительного, бесшумно перемахнул через забор.

Сад был густой и ветвистый, но листья уже опали. Метелица, сдерживая могучий трепет сердца, почти не дыша, пробирался вглубь. Кусты вдруг оборвались, пересеченные аллеей, и саженях в двадцати, налево от себя, он увидел освещенное окно. Оно было открыто. Там сидели люди. Ровный мягкий свет струился по опавшей листве, и яблони, отсвеченные по краям, стояли в нем странные и золотые.

«Вот оно!» — подумал Метелица, нервно дрогнув щекой и вспыхнув и загораясь весь тем жутким, неотвратимым чувством бесстрашного отчаяния, которое толкало его обычно на самые безрассудные подвиги: еще раздумывая, нужно ли кому-нибудь, чтобы он подслушал разговор этих людей в освещенной комнате, он знал, в сущности, что не уйдет отсюда до тех пор, пока не сделает этого. Через несколько минут он стоял за яблоней под самым окном, жадно вслушиваясь и запоминая все, что творилось *там*.

Их было четверо, они играли в карты за столом, в глубине комнаты. По правую руку сидел маленький старый попик в прилизанных волосиках и юркий на глаз, — он ловко сновал по столу худыми, маленькими ручками, неслышно перебирая карты игрушечными пальцами и стараясь заскочить глазами под каждую, так что сосед его, сидевший спиной к Метелице, принимая сдачу, просматривал ее боязно и торопливо и тотчас же прятал под стол. Лицом к Метелице сидел красивый, полный, ленивый и, как видно, добродушный офицер с трубкой в зубах, — должно быть, из-за его полноты Метелица принял его за начальника эскадрона. Однако во все последующее время он, по необъяснимым для себя причинам, интересовался больше четвертым из игравших — с лицом обрюзглым и бледным и с неподвижными ресницами, тот был в черной

папахе и в бурке без погон, в которую кутался каждый раз после того, как сбрасывал карту.

Вопреки тому, что ожидал услышать Метелица, они говорили о самых обыкновенных и неинтересных вещах: добрая половина разговора вертелась вокруг карт.

— Восемьдесят играю, — сказал сидевший к Метелице спиной.

— Слабо, ваше благородие, слабо, — отозвался тот, что был в черной папахе. — Сто втемную, — добавил он небрежно.

Красивый и полный, прищурившись, проверил свои и, вынув трубку, поднял до ста пяти.

— Я пас, — сказал первый, отворачиваясь к попику, который держал прикуп.

— Я так и думал... — усмехнулась черная папаха.

— Разве я виноват, если карты не идут? — оправдываясь, говорил первый, обращаясь за сочувствием к попику.

— По маленькой, по маленькой, — шутил попик, сожмуриваясь и посмеиваясь мелко-мелко, точно желая подчеркнуть таким мелким смешком всю незначительность игры своего собеседника. — А двести два очка уже списали-с... знаем мы вас!.. — И он с неискренней ласковой хитрецой погрозил пальчиком.

«Вот гнида», — подумал Метелица.

— Ах, и вы пас? — переспросил попик ленивого офицера. — Пожалуйте прикуп-с, — сказал он черной папахе и, не раскрывая карт, сунул их ей.

В течение минуты они с ожесточением шлепали по столу, пока черная папаха не проиграла. «А задавался, рыбий глаз»,—презрительно подумал Метелица, не зная— уходить ли ему или подождать еще. Но он не смог уйти, потому что проигравший повернулся к окну, и Метелица почувствовал на себе пронзительный взгляд, застывший в страшной немигающей точности.

Тем временем сидевший спиной к окну начал тасовать карты. Он делал это старательно и экономно, как молятся не очень древние старушки.

— А Нечитайлы нет, — зевая, сказал ленивый. — Как видно, с удачей. Лучше бы и я с ним пошел...

— Вдвоем? — спросила папаха, отвернувшись от окна. — Она бы сдюжила! — добавила она, скривившись.

— Васенка-то? — переспросил попик. — У-у... она бы сдюжила!.. Тут у нас здоровенный псаломщик был — да

ведь я вам рассказывал... Ну, только Сергей Иванович не согласился б. Никогда-с... Знаете, что он мне вчера по секрету сказал? «Я, говорит, ее с собой возьму, я, говорит, на ней и жениться не побоюсь, я, говорит...» Ой! — вдруг воскликнул попик, закрывая рот ладошкой и хитро поблескивая своими умненькими глазками. — Вот память! И не хотел, да проговорился. Ну, чур, не выдавать! — И он с мнимым испугом замахал ладошками. И хотя все так же, как Метелица, видели неискренность и скрытую угодливость каждого его слова и движения, никто не сказал ему об этом, и все засмеялись.

Метелица, согнувшись и пятясь боком, полез от окна. Он только свернул в поперечную аллею, как вдруг лицом к лицу столкнулся с человеком в казачьей шинели, наброшенной на одно плечо, — позади него виднелись еще двое.

— Ты что тут делаешь? — удивленно спросил этот человек, бессознательным движением придержав шинель, чуть не упавшую, когда он наткнулся на Метелицу.

Взводный отпрыгнул и бросился в кусты.

— Стой! Держи его! Держи! Сюда!.. Эй! — закричало несколько голосов. Резкие, короткие выстрелы затрещали вслед.

Метелица, путаясь в кустах и потеряв фуражку, рвался наугад, но голоса стонали, выли уже где-то впереди, и злобный собачий лай доносился с улицы.

— Вот он, держи! — крикнул кто-то, бросаясь к Метелице с вытянутой рукой. Пуля визгнула у самого уха. Метелица тоже выстрелил. Человек, бежавший на него, споткнулся и упал.

— Врешь, не поймаешь... — торжественно сказал Метелица, до самой последней минуты действительно не веривший в то, что его смогут скрутить.

Но кто-то большой и грузный навалился на него сзади и подмял под себя. Метелица попытался высвободить руку, но жестокий удар по голове оглушил его...

Потом его били подряд, и, даже потеряв сознание, он чувствовал на себе эти удары еще и еще...

В низине, где спал отряд, было темновато и сыро, но из оранжевого прогала за Хаунихедзой глядело солнце, и день, пахнувший осенним тлением, занялся над тайгой.

Дневальный, прикорнувший возле лошадей, заслышал во сне настойчивый, монотонный звук, похожий на далекую пулеметную дробь, и испуганно вскочил, схватившись за винтовку. Но это стучал дятел на старой ольхе возле реки. Дневальный выругался и, ежась от холода, кутаясь в дырявую шинель, вышел на прогалину. Никто не проснулся больше: люди спали глухим, безликим и безнадежным сном, каким спят голодные, измученные люди, которым ничего не сулит новый день.

«А взводного нет все... — нажрался, видать, и дрыхнет где в избе, а тут не евши сиди», — подумал дневальный. Обычно он не меньше других восхищался и гордился Метелицей, но теперь ему казалось, что Метелица довольно подлый человек и напрасно его сделали взводным командиром. Дневальному сразу не захотелось страдать тут, в тайге, когда другие, вроде Метелицы, наслаждаются всеми земными радостями, но он не решался потревожить Левинсона без достаточных оснований и разбудил Бакланова.

— Что?.. Не приехал?.. — завозился Бакланов, тараща спросонья ничего не понимающие глаза. — Как не приехал?! — закричал он вдруг, все еще не придя в себя, но поняв уже, о чем идет речь, и испугавшись этого. — Нет, да ты, братец, оставь, не может этого быть... Ах, да! Ну, буди Левинсона. — Он вскочил, быстрым движением перетянул ремень, собрав к переносью заспанные брови, сразу весь отвердел и замкнулся.

Левинсон, как ни крепко он спал, услышав свою фамилию, тотчас же открыл глаза и сел. Взглянув на дневального и Бакланова, он понял, что Метелица не приехал и что уже давно пора выступать. В первую минуту он почувствовал себя настолько усталым и разбитым, что ему захотелось зарыться с головой в шинель и снова заснуть, забыв о Метелице и о своих недугах. Но в ту же минуту он стоял на коленях и, свертывая скатку, отвечал сухим и безразличным тоном на тревожные расспросы Бакланова:

— Ну и что ж такого? Я так и думал... Конечно, мы встретим его по дороге.

— А если не встретим?

— Если не встретим?.. Слушай, нет ли у тебя запасного шнурка на скатку?

— Вставай, вставай, кобылка! Даешь деревню! — кричал дневальный, ногами расталкивая спящих. Из травы подымались всклокоченные партизанские головы, и вдогонку дневальному летели первые, недоделанные спросонья, матюки, — в хорошее время Дубов называл такие «утренниками».

— Злые все, — задумчиво сказал Бакланов. — Жрать хотят...

— А ты? — спросил Левинсон.

— Что — я?.. Обо мне разговору нет. — Бакланов насупился. — Как ты, так и я — точно не знаешь...

— Нет, я знаю, — сказал Левинсон с таким мягким и кротким выражением, что Бакланов впервые внимательно присмотрелся к нему.

— А ты, брат, похудел, — сказал он с неожиданной жалостью. — Одна борода осталась. Я бы на твоем месте...

— Идем-ка лучше умываться, — прервал его Левинсон, виновато и хмуро улыбнувшись.

Они прошли к реке. Бакланов снял обе рубахи и стал полоскаться. Видно было, что он не боялся холодной воды. Тело у него было крепкое, плотное, смуглое, точно литое, а голова круглая и добрая, как у ребенка, и мыл он ее тоже каким-то наивным ребячьим движением — поливал из ладони и растирал одной рукой.

«О чем-то я много говорил вчера и что-то обещал, и как-то неладно теперь», — подумал вдруг Левинсон, смутно и с неприязнью вспомнив вчерашний разговор с Мечиком и свои мысли, связанные с этим разговором. Не то чтобы они показались ему неправильными теперь, то есть не выражавшими того, что происходило в нем на самом деле — нет, он чувствовал, что это были довольно правильные, умные, интересные мысли, и все-таки он испытывал теперь смутное недовольство, вспоминая их. «Да, я обещал ему другую лошадь... Но разве в этом может быть что-нибудь неладное? Нет, я поступил бы так и сегодня — значит, тут все в порядке... Так в чем же дело?.. А дело в том...»

— Что ж ты не умываешься? — спросил Бакланов, кончив полоскаться и докрасна растираясь грязным полотенцем. — Холодная вода. Хорошо!

«...А дело в том, что я болен и с каждым днем все хуже владею собой», — подумал Левинсон, спускаясь к воде.

Умывшись, перепоясавшись и ощутив на бедре привычную тяжесть маузера, он почувствовал себя все-таки отдохнувшим за ночь.

«Что случилось с Метелицей?» Эта мысль теперь целиком овладела им.

Левинсон никак не мог представить себе Метелицу не двигающимся и вообще не живущим. Он всегда испытывал к этому человеку смутное влечение и не раз замечал, что ему приятно бывает ехать рядом с ним, разговаривать или даже просто смотреть на него. Метелица нравился ему не за какие-либо выдающиеся общественно-полезные качества, которых у него было не так уж много и которые в гораздо большей степени были свойственны самому Левинсону, а Метелица нравился ему за ту необыкновенную физическую цепкость, животную, жизненную силу, которая била в нем неиссякаемым ключом и которой самому Левинсону так не хватало. Когда он видел перед собой его быструю, всегда готовую к действию фигуру или знал, что Метелица находится где-то тут рядом, он невольно забывал о собственной физической слабости, и ему казалось, что он может быть таким же крепким и неутомимым, как Метелица. Втайне он даже гордился тем, что управляет таким человеком.

Мысль о том, что Метелица мог попасть в руки врага, — несмотря на то, что сам Левинсон все больше укреплялся в ней, — плохо прививалась людям. Каждый истомившийся партизан старательно и боязливо гнал ее от себя, как самую последнюю мысль, сулившую одни несчастья и страданья, а потому, очевидно, совершенно невозможную. Наоборот, предположение дневального, что взводный «нажрался и дрыхнет где-то в избе», — как ни не похоже это было на быстрого и исполнительного Метелицу, — все больше собирало сторонников. Многие открыто роптали на «подлость и несознание» Метелицы и надоедали Левинсону с требованием немедленно выступить ему навстречу. И когда Левинсон, с особой тщательностью выполнив все будничные дела, в частности переменив Мечику лошадь, отдал наконец приказ выступать, — в отряде наступило такое ликование, точно с этим приказом на самом деле кончились всякие беды и мытарства.

Они проехали час и другой, а взводный с лихим и смолистым чубом все не показывался на тропе. Они проехали еще столько же, а взводного все не было. И уже не только

Левинсон, но даже самые отъявленные завистники и хулители Метелицы стали сомневаться в счастливом исходе его поездки.

К таежной опушке отряд подходил в суровом и значительном молчании.

XV. Три смерти

Метелица очнулся в большом темном сарае,—он лежал на голой сырой земле, и первым его ощущением было ощущение этой зябкой земляной сырости, пронизывающей тело. Он сразу вспомнил, что произошло с ним. Удары, нанесенные ему, еще шумели в голове, волосы ссохлись в крови, — он чувствовал эту запекшуюся кровь на лбу и на щеках.

Первая более или менее оформленная мысль, которая пришла ему в голову, была мысль о том — нельзя ли уйти. Метелица никак не мог поверить, что после всего, что он испытал в жизни, после всех подвигов и удач, сопутствовавших ему во всяком деле и прославивших его имя меж людей, — он будет в конце концов лежать и гнить, как всякий из этих людей. Он обшарил весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже выломать дверь — напрасные усилия!.. Он натыкался всюду на мертвое, холодное дерево, а щели были так безнадежно малы, что в них не проникал даже взгляд, — они с трудом пропускали тусклый рассвет осеннего утра.

Однако он шарил еще и еще, пока не осознал для себя с безвыходной, неумолимой точностью, что ему действительно не уйти на этот раз. И когда он окончательно убедился в этом, вопрос о собственной жизни и смерти сразу перестал интересовать его. И все его душевные и физические силы сосредоточились на том — совершенно незначительном с точки зрения его собственной жизни и смерти, но ставшем для него теперь самым важным — вопросе, каким образом он, Метелица, о котором до сих пор шла только лихая и бедовая слава, сможет показать тем людям, которые станут его убивать, что он не боится и презирает их.

Он не успел еще обдумать это, как за дверями послышалась возня, заскрипел засов, и вместе с серым, дрожащим и хилым утренним светом вошли в сарай два казака

с оружием и в лампасах. Метелица, расставив ноги, прищурившись, смотрел на них.

Заметив его, они в нерешительности помялись у дверей, — тот, что был позади, беспокойно зашмыгал носом.

— Пойдем, землячок, — сказал наконец передний беззлобно, даже немного виновато.

Метелица, упрямо склонив голову, вышел наружу.

Через некоторое время он стоял перед знакомым ему человеком — в черной папахе и в бурке — в той самой комнате, в которую засматривал ночью из поповского сада. Тут же, подтянувшись в кресле, удивленно, не строго поглядывая на Метелицу, сидел красивый, полный и добродушный офицер, которого Метелица принял вчера за начальника эскадрона. Теперь, рассмотрев обоих, он по каким-то неуловимым признакам понял, что начальником был как раз не этот добродушный офицер, а другой — в бурке.

— Можете идти, — отрывисто сказал этот другой, взглянув на казаков, остановившихся у дверей.

Они, неловко подталкивая друг друга, выбрались из комнаты.

— Что ты делал вчера в саду? — быстро спросил он, остановившись перед Метелицей и глядя на него своим точным, немигающим взглядом.

Метелица молча, насмешливо уставился на него, выдерживая его вгляд, чуть пошевеливая атласными черными бровями и всем своим видом показывая, что, независимо от того, какие будут задавать ему вопросы и как будут заставлять его отвечать на них, он не скажет ничего такого, что могло бы удовлетворить спрашивающих.

— Ты брось эти глупости, — снова сказал начальник, нисколько не сердясь и не повышая голоса, но таким тоном, который показывал, что он понимает все, что происходит теперь в Метелице.

— Что же говорить зря? — снисходительно улыбнулся взводный.

Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью.

— Оспой давно болел? — спросил он.

— Что? — растерялся взводный. Он растерялся потому, что в вопросе начальника не чувствовалось ни издевательства, ни насмешки, а видно было, что он просто заинтересовался его рябым лицом. Однако, поняв это, Мете-

лица рассердился еще сильней, чем если бы насмехались и издевались над ним: вопрос начальника точно пытался установить возможность каких-то человеческих отношений между ними.

— Что ж ты — здешний или прибыл откуда?

— Брось, ваше благородие!.. — решительно и гневно сказал Метелица, сжав кулаки и покраснев и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но мысль, а почему бы и в самом деле не схватить сейчас этого черного человека с таким противно-спокойным, обрюзглым лицом, в неопрятной рыжеватой щетине и не задушить его, — мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, и его рябое лицо сразу вспотело.

— Ого! — в первый раз изумленно и громко воскликнул этот человек, не отступив, однако, ни шагу назад и не спуская глаз с Метелицы.

Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потряс им перед носом Метелицы. Взводный овладел собой и, отвернувшись к окну, застыл в пренебрежительном молчании. После того, сколько ни грозили ему револьвером, суля самые ужасные кары в будущем, сколько ни упрашивали правдиво рассказать обо всем, обещая полную свободу, — он не произнес ни единого слова, даже ни разу не посмотрел на спрашивающих.

В самом разгаре допроса легонько приоткрылась дверь, и чья-то волосатая голова с большими испуганными и глупыми глазами просунулась в комнату.

— Ага, — сказал начальник эскадрона. — Собрались уже? Ну что ж — скажи ребятам, чтобы взяли этого молодца.

Те же два казака пропустили Метелицу во двор и, указав ему на открытую калитку, пошли вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут позади. Они вышли на церковную площадь. Там, возле бревенчатой ктиторовой избы, толпился народ, оцепленный со всех сторон конными казаками.

Метелице казалось всегда, что он не любит и презирает людей со всей их скучной и мелочной суетой, со всем, что окружает их. Он думал, что ему решительно все равно, как они относятся к нему и что говорят о нем, он никогда не имел друзей и не старался иметь их. Но вместе с тем

все самое большое и важное из того, что он делал в жизни, он, сам того не замечая, делал *ради* людей и *для* людей, чтобы они смотрели на него, гордились и восхищались им и прославляли его. И теперь, когда он вскинул голову, он вдруг не только взглядом, но всем сердцем охватил эту колеблющуюся, пеструю, тихую толпу мужиков, мальчишек, напуганных баб в поневах, девушек в белых цветных платочках, бойких верховых с чубами, таких раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на лубочной картинке, — их длинные живые тени, плясавшие по мураве, и даже древние церковные купола над ними, облитые жидким солнцем, застывшие в холодном небе.

«Вот это да!» — чуть не воскликнул он, сразу весь распахнувшись, обрадовавшись этому всему — живому, яркому и бедному, что двигалось, дышало и светило вокруг и трепетало в нем. И он быстрей и свободней пошел вперед легким звериным, не тяготеющим к земле шагом, раскачиваясь гибким телом, и каждый человек на площади обернулся к нему и тоже почувствовал, затаив дыхание, какая звериная и легкая, как эта поступь, сила живет в его гибком и жадном теле.

Он прошел сквозь толпу, глядя поверх нее, но чувствуя ее молчаливое сосредоточенное внимание, и остановился у крыльца ктиторовой избы. Офицеры, обогнав его, взошли на крыльцо.

— Сюда, сюда, — сказал начальник эскадрона, указав ему место рядом. Метелица, разом перешагнув ступеньки, стал рядом с ним.

Теперь он был хорошо виден всем — тугой и стройный, черноволосый, в мягких оленьих улах, в расстегнутой рубахе, перетянутой шнурком с густыми зелеными кистями, выпущенными из-под фуфайки, с далеким хищным блеском своих летящих глаз, смотревших туда, где в сером утреннем дыму застыли величавые хребты.

— Кто знает этого человека? — спросил начальник, обводя всех острым сверлящим взглядом, задерживаясь на секунду то на одном, то на другом лице.

И каждый, на ком останавливался этот взгляд, суетясь и мигая, опускал голову, — только женщины, не имея сил отвести глаза, смотрели на него немо и тупо, с трусливым и жадным любопытством.

— *Никто* не знает? — переспросил начальник, насмешливо подчеркнув слово «никто», точно ему было из-

вестно, что все, наоборот, *знают* или *должны* знать «этого человека». — Это мы сейчас выясним... Нечитайло! — крикнул он, сделав движение рукой в ту сторону, где на кауром жеребце гарцевал высокий офицер в длинной казачьей шинели.

Толпа глухо заволновалась, стоящие впереди обернулись назад, — кто-то в черной жилетке решительно проталкивался сквозь толпу, наклонив голову так, что видна была только его теплая меховая шапка.

— Пропустите, пропустите! — говорил он скороговоркой, расчищая дорогу одной рукой, а другой ведя кого-то вслед.

Наконец он пробрался к самому крыльцу, и обнаружилось, что ведет он худенького черноголового парнишку в длинном пиджаке, боязливо упиравшегося и таращившего черные глаза то на Метелицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволновалась громче, послышались вздохи и сдержанный бабий говорок. Метелица посмотрел вниз и вдруг признал в черноголовом парнишке того самого пастушонка — с напуганными глазами, с тонкой, смешной и детской шеей, — которому он оставил вчера свою лошадь.

Мужик, державший его за руку, снял шапку, обнаружив приплюснутую русую голову с пятнистой проседью (точно его неровно посолили), и, поклонившись начальнику, начал было:

— Вот тут пастушок у меня...

Но, видимо, испугавшись, что не дослушают его, он наклонился к парнишке и, указав пальцем на Метелицу, спросил:

— Этот, что ли?

В течение нескольких секунд пастушонок и Метелица смотрели прямо в глаза друг другу: Метелица — с деланным равнодушием, пастушонок — со страхом, сочувствием и жалостью. Потом парнишка перевел взгляд на начальника эскадрона, задержался на нем, на мгновенье точно одеревенев, потом — на мужика, державшего его за руку и выжидательно наклонившегося к нему, — вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал головой... Толпа, притихшая настолько, что слышно было, как возится теленок в клети у церковного старосты, чуть колыхнулась и снова замерла...

— Да ты не бойся, дурачок, не бойся, — с ласковой дрожью убеждал мужик, сам оробев и засуетившись, быстро тыча пальцем в Метелицу. — Кто же тогда, как не он?.. Да ты признай, признай, не бо... а-а, гад!.. — со злобой оборвал он вдруг и изо всей силы дернул парнишку за руку. — Да он, ваше благородие, кому ж другому быть, — заговорил он громко, точно оправдываясь и униженно суча шапкой. — Только боится парень, а кому же другому, когда в седле конь-то и кобура в сумке... Наехал вечор на огонек. «Попаси, говорит, коня моего», — а сам в деревню; а парнишка-то не дождал — светло уж стало — не дождал, да и пригнал коня, а конь в седле, и кобура в сумке, — кому ж другому быть?..

— Кто наехал? Какая кобура? — спросил начальник, тщетно пытаясь понять, о чем идет речь. Мужик еще растерянней засучил шапкой и, вновь сбиваясь и путаясь, рассказал о том, как его пастух пригнал утром чужого коня — в седле и с револьверной кобурой в сумке.

— Вот оно что, — протянул начальник эскадрона. — Так ведь он не признает? — сказал он, кивнув на парнишку. — Впрочем, давай его сюда — мы его допросим по-своему...

Парнишка, подталкиваемый сзади, приблизился к крыльцу, не решаясь, однако, взойти на него. Офицер сбежал по ступенькам, схватил его за худые, вздрагивающие плечи и, притянув к себе, уставился в его круглые от ужаса глаза своими — пронзительными и страшными...

— А-а... а!.. — вдруг завопил парнишка, закатив белки.

— Да что ж это будет? — вздохнула, не выдержав, какая-то из баб.

В то же мгновенье чье-то стремительное и гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем, — начальник эскадрона упал, сбитый сильным толчком...

— Стреляйте в него!.. Да что же это такое? — закричал красивый офицер, беспомощно выставив ладонь, теряясь и глупея и забыв, как видно, что он сам умеет стрелять.

Несколько верховых ринулись в толпу, конями раскидывая людей. Метелица, навалившись на врага всем телом, старался схватить его за горло, но тот извивался, как нетопырь, раскинув бурку, похожую на черные

крылья, и судорожно цеплялся рукой за пояс, стараясь вытащить револьвер. Наконец ему удалось отстегнуть кобуру, и почти в то же мгновенье, как Метелица схватил его за горло, он выстрелил в него несколько раз подряд...

Когда подоспевшие казаки тащили Метелицу за ноги, он еще цеплялся за траву, скрипел зубами, стараясь поднять голову, но она бессильно падала и волочилась по земле.

— Нечитайло! — кричал красивый офицер. — Собрать эскадрон!.. Вы тоже поедете? — учтиво спросил он начальника, избегая, однако, смотреть на него.

— Да.

— Лошадь командиру!..

Через полчаса казачий эскадрон в полном боевом снаряжении выехал из села и помчался кверху, по той дороге, по которой прошлой ночью ехал Метелица.

Бакланов, вместе со всеми испытывавший сильное беспокойство, наконец не выдержал.

— Слушай, дай я вперед поеду, — сказал он Левинсону. — Ведь черт его знает на самом деле...

Он пришпорил коня и, скорее даже, чем ожидал, выехал на опушку, к заросшему омшанику. Ему не понадобилось, однако, влезать на крышу, — не дальше как в полуверсте спускалось с бугра человек пятьдесят конных. Он разглядел, что это были регулярники — по их одинаковому обмундированию в желтых пятнах. Умерив свое нетерпение — скорей вернуться и предупредить об опасности (Левинсон мог вот-вот нагрянуть), Бакланов задержался, спрятавшись в кусты, желая проверить, не покажутся ли из-за бугра новые отряды. Никто не появился больше; эскадрон ехал шагом, расстроив ряды; судя по сбитой посадке людей и по тому, как мотали головами разыгравшиеся лошади, эскадрон только что шел на рысях.

Бакланов повернулся обратно и чуть не налетел на Левинсона, выезжавшего на опушку. Он сделал знак остановиться.

— Много? — спросил Левинсон, выслушав его.

— Человек пятьдесят.

— Пехота?

— Нет, конные...

— Кубрак, Дубов, спешиться! — тихо скомандовал Левинсон. — Кубрак — на правый фланг, Дубов — на левый... Я тебе дам!.. — зашипел он вдруг, заметив, как какой-то партизан с подвязанной щекой повернул в сторону, заманивая и других. — На место! — И он погрозил ему плеткой.

Передав Бакланову командование взводом Метелицы и приказав ему остаться здесь, он спешился сам и пошел впереди цепи, чуть ковыляя и размахивая маузером.

Не выходя из кустов, он положил цепь, а сам в сопровождении одного партизана пробрался к омшанику. Эскадрон был совсем близко. По желтым околышам и лампасам Левинсон узнал, что это были казаки. Он разглядел и командира в черной бурке.

— Скажи, пусть сюда ползут, — шепнул он партизану, — только пусть не встают, а то... Ну, чего смотришь? Живо!.. — И он подтолкнул его, нахмурив брови.

Хотя казаков было мало, Левинсон почувствовал вдруг сильное волнение, как в первый, давнишний период его военной деятельности.

В своей боевой жизни он различал два периода, не разделенных резкой чертой, но отличных для него по тем ощущениям, которые он сам в них испытывал.

В первое время, когда он, не имея никакой военной подготовки, даже не умея стрелять, вынужден был командовать массами людей, он чувствовал, что он не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. Не потому, что он нечестно выполнял свой долг, — нет, он старался дать самое большее из того, что мог, — и не потому, что он думал, будто отдельному человеку не дано влиять на события, в которых участвуют *массы* людей, — нет, он считал такой взгляд худшим проявлением людского лицемерия, прикрывающим собственную слабость таких людей, то есть отсутствие в них воли к действию, — а потому, что в этот первый, недолгий период его военной деятельности почти все его душевные силы уходили на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей страх за себя, который он невольно испытывал в бою.

Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг такого положения, когда боязнь за собственную жизнь перестала мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот второй период он получил возможность *управ-*

лять событиями — тем полней и успешней, чем ясней и правильней он мог прощупать их действительный ход и соотношение сил и людей в них.

Но теперь он вновь испытывал сильное волнение, и он чувствовал, что это как-то связано с *новым* его состоянием, со всеми его мыслями о себе, о смерти Метелицы.

Пока подползала цепь, раскинувшаяся по кустам, он все же овладел собою, и его маленькая собранная фигурка, с уверенными и точными движениями, по-прежнему предстала перед людьми как олицетворение некоего безошибочного плана, в который люди верили по привычке и по внутренней необходимости.

Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский топот и сдержанный говор всадников, — можно было различить даже отдельные лица. Левинсон видел их выражения — особенно у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего вперед с трубкой в зубах и очень плохо державшегося в седле.

«Вот зверь, должно быть, — подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом и невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписываются врагу. — Но как бьется у меня сердце!.. Или стрелять уже? стрелять?.. Нет, возле той березы с ободранной корой... Но почему он так плохо держится?.. Ведь так же нело ...»

— Взво-о-од! — закричал он вдруг тонким протяжным голосом (как раз в это мгновение эскадрон поравнялся с березой с ободранной корой). — Пли!..

Красивый офицер, услыхав первые звуки его голоса, удивленно поднял голову. Но в ту же секунду фуражка слетела с его головы, и лицо его приняло невероятно испуганное и беспомощное выражение.

— Пли!.. — снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, стараясь попасть в красивого офицера.

Эскадрон смешался; многие попадали на землю, но красивый офицер остался в седле, лошадь, оскаля зубы, пятилась под ним. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Потом из этой сумятицы вырвался отдельный всадник, в черной папахе и в бурке, и заплясал перед эскадроном, сдерживая лошадь напряженным жестом, размахивая шашкой. Остальные, как видно, плохо повиновались

ему, — некоторые уже мчались прочь, нахлестывая лошадей; весь эскадрон ринулся за ними. Партизаны повскакали с мест, — наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу.

— Лошадей!.. — кричал Левинсон.—Бакланов, сюда!.. По коням!..

Бакланов со свирепым, перекошенным лицом пронесся мимо, вытянувшись всем телом, откинув понизу руку с шашкой, блестевшей, как слюда, — за ним с лязгом и гиком мчался взвод Метелицы, ощерившись оружием.

Вскоре весь отряд поскакал за ними.

Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял всегда присущее ему свойство отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны, — он только видел перед собою чью-то знакомую спину с чубатой головой, чувствовал, что Нивка не отстает от нее, что враг бежит от них, и вместе со всеми на совесть старался догнать врага и не отстать от знакомой спины.

Казачий эскадрон скрылся в березовой роще. Через некоторое время оттуда посыпались частые ружейные выстрелы, но отряд продолжал скакать, не только не замедляя хода, а еще больше горячась и возбуждаясь от выстрелов.

Вдруг мохнатый жеребец, мчавшийся впереди Мечика, ткнулся мордой в землю, и знакомая спина, с чубатой головой, полетела вперед, вытянув руки. Мечик вместе с другими обогнул что-то большое и черное, копошившееся на земле.

Не видя больше знакомой спины, он впился глазами в рощу, стремительно надвигавшуюся на него... Маленькая бородатая фигурка на вороном жеребце, что-то кричавшая и указывавшая шашкой, на одно мгновение мелькнула перед глазами... Несколько всадников, скакавших рядом, вдруг свернули влево, но Мечик, не сообразив, в чем дело, мчался в прежнем направлении, пока не влетел в рощу и чуть не разбился о стволы, расцарапав себе лицо о голые ветви. Он едва удержал Нивку, рвавшуюся, обезумев, через кусты.

Он был один — в мягкой березовой тиши, в золоте листьев и трав...

В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся

обратно, не обращая внимания, как острые колючие ветви хлещут его по лицу...

Когда он снова выехал на поле, отряда не было. Шагах в двухстах от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, подогнув ноги, безнадежно обхватив руками колени, прижатые к груди, не шевелясь, сидел человек. Это был Морозка.

Мечик, устыдясь своего страха, шагом подъехал к нему.

Мишка лежал на боку, оскалив зубы, выкатив большие остекленевшие глаза, согнув передние ноги с острыми копытами, точно он и мертвый собирался скакать. Морозка смотрел мимо него блестящими, сухими, невидящими глазами.

— Морозка... — тихо позвал Мечик, остановившись против него и переполняясь вдруг слезливой доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади.

Морозка не шевельнулся. Несколько минут они оставались так, не говоря ни слова, не меняя положений. Потом Морозка вздохнул, медленно разжал руки, встал на колени и, по-прежнему не глядя на Мечика, начал отстегивать седло. Мечик, не решаясь больше заговорить, молча наблюдал за ним.

Морозка распустил подпруги — одна из них была разорвана, — он внимательно осмотрел оторванный, выпачканный в крови ремешок, повертел в руке и выбросил его. Потом, кряхтя, взвалил на спину седло и пошел по направлению к роще, согнувшись и неловко ступая кривыми ногами.

— Давай я отвезу, или, хочешь, садись сам — я пешком пойду! — крикнул Мечик.

Морозка не оглянулся, только еще ниже склонился под тяжестью седла.

Мечик, стараясь почему-то больше не попасться ему на глаза, сделал большой крюк влево и, когда обогнул рощу, увидел неподалеку село, раскинувшееся поперек долины. В пространной низине, справа от него — до самого хребта, отвернувшего в сторону и затерявшегося в мутно-серой дали, — виднелся лес. Небо — такое чистое с утра — теперь висело низкое и невеселое, — солнце едва проступало.

Шагах в пятидесяти лежало несколько зарубленных казаков. Один был еще жив, — он с трудом приподнимался

на руках и снова падал и стонал. Мечик далеко объехал его, стараясь не слышать его стонов. Из деревни, навстречу ему, ехало несколько конных партизан.

— У Морозки коня убили... — сказал Мечик, когда они поравнялись с ним.

Никто не ответил ему. Один окинул его подозрительным взглядом, словно хотел спросить: «А ты где был, когда мы тут бились?» Мечик, осунувшись, поехал дальше. Он был полон самых недобрых предчувствий...

Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам, — остальные толпились возле большой пятистенной избы с высокими резными окнами. Левинсон, стоя на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавал приказания. Мечик спешился возле забора, где стояли лошади.

— Откуда бог принес? — насмешливо спросил отделенный. — По грибы ходил, что ли?

— Нет, я отбился, — сказал Мечик. Ему было все равно теперь, что о нем подумают, но по привычке он оправдывался. — Я в рощу попал, вы, кажется, там влево свернули?

— Влево, влево! — радостно подтвердил один белобрысый партизанчик, с наивными ямочками и петушиным задорным хохолком на макушке. — Я кричал тебе, да ты не слышал, видать... — И он восторженно посмотрел на Мечика, как видно, с удовольствием вспоминая все подробности дела. Мечик, привязав лошадь, сел рядом с ним.

Из переулка вышел Кубрак в сопровождении толпы мужиков, — они вели двоих со скрученными назад руками. Один был в черной жилетке и с несуразной, точно приплюснутой головой в неровной проседи, — он сильно трясся и просил. Другой — тщедушный попик в растерзанной ряске, сквозь которую виднелись его измятые штанишки с отвисшей мошонкой. Мечик заметил, что к поясу у Кубрака прицеплена серебряная цепочка — как видно, от креста.

— Этот, да? — бледнея, спросил Левинсон, указав пальцем на человека в жилетке, когда они подошли к крыльцу.

— Он... он самый! — загудели мужики.

— И ведь такая мразь, — сказал Левинсон, обращаясь к Сташинскому, сидевшему рядом на перилах, — а Метелицы уже не воскресишь... — Он вдруг часто замигал и

отвернулся и несколько секунд молча смотрел вдаль, стараясь отвлечься от воспоминаний о Метелице.

— Товарищи! милые!.. — плакал арестованный, глядя то на мужиков, то на Левинсона собачьими, преданными глазами. — Да неужто ж я по охоте?.. Господи... Товарищи, милые...

Никто не слушал его. Мужики отворачивались.

— Чего уж там: всем сходом видели, как ты пастушонка неволил, — сурово сказал один, окинув его безразличным взглядом.

— Сам виноват... — подтвердил другой и, смутившись, спрятал голову.

— Расстрелять его, — холодно сказал Левинсон. — Только отведите подальше.

— А с попом как? — спросил Кубрак. — Тоже — сука... Офицерей годувал.

— Отпустите его, — ну его к черту!

Толпа, к которой присоединились и многие партизаны, хлынула вслед за Кубраком, потащившим человека в жилетке. Тот упирался, сучил ногами и плакал, вздрагивая нижней челюстью.

Чиж, в фуражке, испачканной чем-то нехорошим, но с нескрываемым победоносным видом, подошел к Мечику.

— Вот ты где! — сказал обрадованно и гордо. — Эк тебя разукрасило! Пойдем пожрать куда-нибудь... Теперь они его разделают... — протянул он многозначительно и свистнул.

В избе, куда их пустили пообедать, было сорно и душно, пахло хлебом и шинкованной капустой. Весь угол у печки был завален грязными капустными кочнами. Чиж, давясь хлебом и щами, без умолку рассказывал о своих доблестях и то и дело поглядывал из-под бровей на тоненькую девушку с длинными косами, подававшую им. Она смущалась и радовалась. Мечик старался слушать Чижа, но все время настораживался и вздрагивал от каждого стука.

— ...Вдруг он как обернется — да на меня... — верещал Чиж, давясь и чавкая, — тут я его рраз!..

В это время звякнули стекла и послышался отдаленный залп. Мечик, вздрогнув, уронил ложку и побледнел.

— Да когда же все это кончится!.. — воскликнул он в отчаянии и, закрыв лицо руками, вышел из избы.

«...Они убили его, этого человека в жилетке, — думал он, уткнувшись лицом в воротник шинели, лежа где-то в кустах, — он даже не помнил, как забрался сюда. — Они убьют и меня рано или поздно... Но я и так не живу — я точно умер: я не увижу больше родных мне людей и этой милой девочки со светлыми кудрями, портрет которой я изорвал на мелкие клочки... А он, наверно, плакал, бедный человек в жилетке. Боже, зачем я изорвал ее? И неужели я никогда не вернусь к ней? Как я несчастен!..»

Уже вечерело, когда он вышел из кустов с сухими глазами, с выражением страдания на лице. Где-то совсем рядом разливались пьяные голоса, играла гармонь. Он встретил у ворот тоненькую девушку с длинными косами, — она несла воду на коромысле, изогнувшись, как лозинка.

— Ох, и гуляет ваш один с хлопцами с нашими, — сказала она, подняв темные ресницы, и улыбнулась. — Он як... чуете? — И в такт разухабистой музыке, летевшей из-за угла, она покачала своей милой головкой. Ведра тоже качнулись, сплеснув воду, — девушка застыдилась и юркнула в калитку.

А мы сами каторжане,
Того да-жидалися-а... —

разливался чей-то пьяный и очень знакомый Мечику голос. Мечик выглянул за угол и увидел Морозку с гармоньей и с растрепавшимся чубом, свисавшим ему на глаза, прилипавшим к его красному, потному лицу.

Морозка шел посреди улицы с циничным развальцем, выставив вперед и растягивая гармонь с таким — «от всей души» — выражением, точно он похабничал и тут же каялся; за ним шла орава таких же пьяных парней, без поясов и шапок. По бокам, крича и вздымая клубы пыли, бежали босоногие мальчишки, безжалостные и резвые, как чертенята.

— А-а... Друг мой любезный! — в пьяном лицемерном восторге закричал Морозка, увидев Мечика. — Куда же ты? Куда? Не бойся — бить не будем... Выпей с нами... Ах, душа с тебя вон — вместях пропадать будем!

Они всей толпой окружили Мечика, обнимая его, склоняли к нему свои добрые пьяные лица, обдавая его винным перегаром, кто-то совал ему в руку бутылку и надкушенный огурец.

— Нет, нет, я не пью, — говорил Мечик, вырываясь, — я не хочу пить...

— Пей, душа с тебя вон! — кричал Морозка, чуть не плача от веселого исступления.— Ах, панихида... в кровь... в три-господа!.. Вместях пропадать!

— Только немножко, пожалуйста, ведь я не пью, — сказал Мечик, сдаваясь.

Он сделал несколько глотков. Морозка, расплеснув гармонь, запел хриповатым голосом, парни подхватили.

— Пойдем с нами, — сказал один, взяв Мечика под руку. — «...А я жи-ву ту-ута...» — прогнусил он какую-то наугад выхваченную строчку и прижался к Мечику небритой щекой.

И они пошли вдоль по улице, шутя и спотыкаясь, распугивая собак, проклиная до самых небес, нависших над ними беззвездным темнеющим куполом, себя, своих родных, близких, эту неверную, трудную землю.

XVI. Трясина

Варя, не участвовавшая в атаке (она оставалась в тайге с хозяйственной частью), приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. Она заметила, что захват квартир произошел беспорядочно, сам собой: взводы перемешались, никто не знал, где кто находится, командиров не слушались, — отряд распался на отдельные, не зависящие одна от другой части.

Ей попался по дороге к селу труп убитого Морозкиного коня; но никто не мог ей сказать определенного, что случилось с Морозкой. Одни говорили, что он убит, — они видели это собственными глазами; другие — что он только ранен; третьи, ничего не зная о Морозке, с первых же слов начинали радоваться тому счастливому обстоятельству, что сами остались в живых. И все это, вместе взятое, только усиливало то состояние упадка и безнадежного уныния, в котором Варя находилась со времени ее неудачной попытки примириться с Мечиком.

Намучившись и натерпевшись от бесконечных приставаний, от голода, от собственных дум и терзаний, не имея больше сил держаться на седле, чуть не плача, она отыскала наконец Дубова — первого человека, действительно

обрадовавшегося и улыбнувшегося ей суровой сочувственной улыбкой.

И когда она увидела его постаревшее, нахмуренное лицо с грязными и черными, опущенными книзу усами и все остальные окружавшие ее знакомые, милые, грубые лица, тоже посеревшие, искрапленные навек угольной пылью, — сердце у нее дрогнуло от сладкой и горестной тоски, любви к ним, жалости к себе: они напомнили ей те молодые дни, когда она красивой и наивной девчонкой, с пышными косами, с большими и грустными глазами, катала вагонетки по темным слезящимся штрекам и танцевала на вечерках, и они так же окружали ее тогда, эти лица, такие смешные и хотящие.

С того времени, как она поссорилась с Морозкой, она как-то совсем оторвалась от них, а между тем это были единственные близкие ей люди, шахтеры-коренники, которые когда-то жили и работали рядом и ухаживали за ней. «Как давно я их не видала, я вовсе о них забыла... Ах, милые мои дружки!..» — подумала она с любовью и раскаянием, и у нее так сладко заломило в висках, что она едва удержалась от слез.

Только одному Дубову удалось на этот раз разместить взвод в порядке по соседним избам. Его люди несли караул за селом, помогали Левинсону запасать продовольствие. В этот день как-то сразу выяснилось то, что скрыто было раньше в общем подъеме, в равных для всех буднях, — что весь отряд держится главным образом на взводе Дубова.

Варя узнала от ребят, что Морозка жив и даже не ранен. Ей показали его нового коня, отбитого у белых. Это был гнедой высокий тонконогий жеребец с коротко подстриженной гривой и тонкой шеей, отчего у него был очень неверный, предательский вид, — его уже окрестили «Иудой».

«Значит, он жив... — думала Варя, рассеянно глядя на жеребца. — Что ж, я рада...»

После обеда, когда она, забравшись на сеновал, лежала одна в душистом сене, прислушиваясь сквозь сон, не лезет ли к ней кто-нибудь «по старой дружбе», — она вновь с мягким сонным и теплым чувством вспомнила, что Морозка жив, и уснула с этой же мыслью.

Проснулась она внезапно — в сильной тревоге, с оледеневшими руками. Ночь, сплошная, движущаяся во тьме,

глядела под крышу. Холодный ветер шевелил сено, стучал ветвями, шелестел листьями в саду...

«Боже мой, где же Морозка? где все остальные? — с трепетом подумала Варя. — Неужто я опять осталась одна, как былинка, — здесь, в этой черной яме?..» Она с лихорадочной быстротой и дрожью, не попадая в рукава, надела шинель и быстро спустилась с сеновала.

Около ворот маячил силуэт дневального.

— Это кто дневалит? — спросила она, подходя ближе. — Костя?.. Морозка вернулся, не знаешь?

— Выходит, ты на сеновале спала? — сказал Костя с досадой и разочарованием. — Вот не знал! Морозку не жди — загулял в дым: по коню поминки справляет... Холодно, да? Дай спичку...

Она отыскала коробок, — он закурил, прикрыв огонь большими ладонями, потом осветил ее:

— А ты сдала, молоденькая... — и улыбнулся.

— Возьми их себе... — Она подняла воротник и вышла за ворота.

— Куда ты?

— Пойду искать его!

— Морозку?.. Здорово!.. Может, я его заменю?

— Нет, навряд ли...

— Это с каких же таких пор?

Она не ответила. «Ну — свойская девка», — подумал дневальный.

Было так темно, что Варя с трудом различала дорогу. Начал накрапывать дождик. Сады шумели все тревожней и глуше. Где-то под забором жалобно скулил продрогший щенок. Варя ощупью отыскала его и сунула за пазуху, под шинель, — он сильно дрожал и тыкался мордой. У одной из хат ей попался дневальный Кубрака, — она спросила, не знает ли он, где гуляет Морозка. Дневальный направил ее к церкви. Она исходила полдеревни без всякого результата и, расстроившись вконец, повернула обратно.

Она так часто сворачивала из одного переулка в другой, что забыла дорогу, и теперь шла наугад, почти не думая о цели своих странствований; только крепче прижимала к груди потеплевшего щенка. Прошло, наверное, не меньше часа, пока она попала на улицу, ведущую к дому. Она свернула в нее, хватаясь свободной рукой за

плетень, чтобы не поскользнуться, и, сделав несколько шагов, чуть не наступила на Морозку.

Он лежал на животе, головой к плетню, подложив под голову руки, и чуть слышно стонал, — как видно, его только что рвало. Варя не столько узнала его, сколько почувствовала, что это он, — не в первый раз она заставала его в таком положении.

— Ваня! — позвала она, присев на корточки и положив ему на плечо свою мягкую и добрую ладонь. — Ты чего тут лежишь? Плохо тебе, да?

Он приподнял голову, и она увидела его измученное, опухшее, бледное лицо. Ей стало жаль его — он казался таким слабым и маленьким. Узнав ее, он криво улыбнулся и, тщательно следя за исправностью своих движений, сел, прислонился к плетню и вытянул ноги.

— А-а... это вы?.. М-мое вам почтение... — пролепетал он ослабевшим голосом, пытаясь, однако, перейти на тон развязного благополучия. — М-мое вам почтение, товарищ... Морозова...

— Пойдем со мной, Ваня, — она взяла его за руку. — Или ты, может, не в силах?.. Обожди — сейчас все устроим, я достучусь... — И она решительно вскочила, намереваясь попроситься в соседнюю избу. Она ни секунды не колебалась в том, удобно ли темной ночью стучаться к незнакомым людям и что могут подумать о ней самой, если она ввалится в избу с пьяным мужчиной, — она никогда не обращала внимания на такие вещи.

Но Морозка вдруг испуганно замотал головой и захрипел:

— Ни-ни-ни... Я тебе достучусь!.. Тише!.. — И он потряс сжатыми кулаками у своих висков. Ей показалось даже, что он потрезвел от испуга. — Тут Гончаренко стоит, разве н-неизвестно?.. Да как же м-можно...

— Ну и что ж, что Гончаренко? Подумаешь — барин...

— Н-нет, ты не знаешь, — он болезненно сморщился и схватился за голову, — ты же не знаешь — зачем же?.. Ведь он меня за человека, а я... ну, как же?.. Не-ет, разве можно...

— И что ты мелешь без толку, миленький ты мой, — сказала она, снова опустившись на корточки рядом с ним. — Смотри — дождик идет, сыро, завтра в поход идти, — пойдем, миленький...

— Нет, я пропал, —сказал он как-то уж совсем грустно и трезво.— Ну, что я теперь, кто я, зачем,— подумайте, люди?.. — И он вдруг жалобно повел вокруг своими опухшими, полными слез глазами.

Тогда она обняла его свободной рукой и, почти касаясь губами его ресниц, зашептала ему нежно и покровительственно, как ребенку:

— Ну, что ты горюешь? И чем тебе может быть плохо?.. Коня жалко, да? Так там уж другого припасли, — такой добрый коник... Ну, не горюй, милый, не плачь, — гляди, какую я собачку нашла, гляди, какой кутенок! — И она, отвернув ворот шинели, показала ему сонного вислоухого щенка. Она была так растрогана, что не только ее голос, но вся она точно журчала и ворковала от доброты.

— У-у, цуцик! — сказал Морозка с пьяной нежностью и облапил его за уши. — Где ты его?.. К-кусается, стерва...

— Ну, вот видишь!.. Пойдем, миленький...

Ей удалось поднять его на ноги, и так, увещевая его и отвлекая от дурных мыслей, она повела его к дому, и он уже не сопротивлялся, а верил ей.

За всю дорогу он ни разу не напомнил ей о Мечике, и она тоже не заикнулась о нем, как будто и не было между ними никакого Мечика. Потом Морозка нахохлился и вовсе замолчал: он заметно трезвел.

Так дошли они до той избы, где стоял Дубов.

Морозка, вцепившись в перекладинки лестницы, пытался влезть на сеновал, но ноги не слушались его.

— Может, подсобить? — спросила Варя.

— Нет, я сам, дура! — ответил он грубо и сконфуженно.

— Ну, прощай тогда...

Он отпустил лестницу и испуганно посмотрел на нее:

— Как «прощай»?

— Да уж как-нибудь. — Она засмеялась деланно и грустно.

Он вдруг шагнул к ней и, неловко обняв ее, прижался к ее лицу своей неумелой щекой. Она почувствовала, что ему хочется поцеловать ее, и ему действительно хотелось, но он постыдился, потому что парни на руднике редко ласкали девушек, а только сходились с ними; за всю совместную жизнь он поцеловал ее только один раз — в день их свадьбы, — когда был сильно пьян и соседи кричали «горько».

«...Вот и конец, и все обернулось по-старому, будто и не было ничего, — думала Варя с грустным, тоскливым чувством, когда насытившийся Морозка заснул, прикорнув возле ее плеча. — Снова по старой тропке, одну и ту же лямку — и все к одному месту... Но боже ж мой, как мало в том радости!»

Она повернулась спиной к Морозке, закрыв глаза и поджав по-сиротски ноги, но ей так и не удалось заснуть... Далеко за селом, с той стороны, где начинался Хаунихедзский волостной тракт и где стояли часовые, — раздались три сигнальных выстрела... Варя разбудила Морозку, — и только он поднял свою кудлатую голову, снова ухнули за селом караульные берданы, и тотчас же в ответ им, прорезая ночную темь и тишь, полилась, завыла, затакала волчья пулеметная дробь...

Морозка сумрачно махнул рукой и вслед за Варей полез с сеновала. Дождя уж не было, но ветер покрепчал; где-то хлопала ставня, и мокрый желтый лист вился во тьме. В хатах зажигали огни. Дневальный, крича, бегал по улице и стучал в окошки.

В течение нескольких минут, пока Морозка добрался до пуни и вывел своего Иуду, он вновь перечувствовал все, что произошло с ним вчера. Сердце у него сжалось, когда он представил себе убитого Мишку с остекленевшими глазами, и вспомнил вдруг, с омерзением и страхом, все свое вчерашнее недостойное поведение: он, пьяный, ходил по улицам, и все видели его, пьяного партизана, он орал на все село похабные песни. С ним был Мечик, его враг, — они гуляли запанибрата, и он, Морозка, клялся ему в любви и просил у него прощения — в чем? за что?.. Он чувствовал теперь всю нестерпимую фальшь этих своих поступков. Что скажет Левинсон? И разве можно, на самом деле, показаться на глаза Гончаренке после такого дебоша?

Большинство его товарищей уже седлали коней и выводили их за ворота, а у него все было неисправно: седло — без подпруги, винтовка осталась в избе Гончаренки.

— Тимофей, друг, выручи!.. — жалобным, чуть не плачущим голосом взмолился он, завидев Дубова, бежавшего по двору. — Дай мне запасную подпругу — у тебя есть, я видал...

— Что?! — заревел Дубов. — А где ты раньше был?! — Бешено ругаясь и расталкивая лошадей, так что они взня-

лись на дыбы, он полез к своему коню за подпругой. — На!..— гневно сказал он, через некоторое время подходя к Морозке, и вдруг изо всей силы вытянул его подпругой по спине.

«Конечно, теперь он может бить меня, я того заслужил», — подумал Морозка и даже не огрызнулся — он не почувствовал боли. Но мир стал для него еще мрачнее. И эти выстрелы, что трещали во тьме, эта темь, судьба, что поджидала его за околицей, — казались ему справедливой карой за все, что он совершил в жизни.

Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полукругом до самой реки, загудели бомбометы, и дребезжащие сверкающие рыбы взвились над селом. Бакланов, в перетянутой шинели, с револьвером в руке, подбежал к воротам, — кричал:

— Спешиться!.. Построиться в одну шеренгу!.. Человек двадцать оставишь при конях, — сказал он Дубову.

— За мной! Бегом!.. — крикнул он через несколько минут и ринулся куда-то во тьму; за ним, на ходу запахивая шинели, расстегивая патронташи, побежала цепь.

Дорогой им встретились убегающие часовые.

— Их там несметная сила! — кричали они, панически размахивая руками.

Грохнул орудийный залп; снаряды взорвались в центре села, осветив на миг кусочек неба, покривившуюся колокольню, поповский сад, блистающий в росе. Потом небо стало еще темнее. Снаряды рвались теперь один за другим, с короткими равными промежутками. Где-то на краю занялось полымя — загорелся стог или изба.

Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. Но Бакланову не удалось даже подвести взвод к поскотине: он увидал при вспышках бомб бегущие к нему навстречу неприятельские цепи. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга, от реки, и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца.

Взвод начал отстреливаться, отступая наискось в правый угол, перебегая звеньями, лавируя по переулкам, садам и огородам. Бакланов прислушивался к перепалке возле реки, — она передвигалась к центру, — как видно, тот край был теперь занят неприятелем. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская

конница, видно было, как стремительно лилась по улице темная, грохочущая многоголовая лава людей и лошадей.

Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек десять, побежал по незанятому клину по направлению к лесу. И почти у самого спуска в ложбину, где тянулся последний ряд изб, они натолкнулись на отряд во главе с Левинсоном, поджидавшим их. Отряд заметно поредел.

— Вот они, — облегченно сказал Левинсон. — Скорей по коням!

Они побрали лошадей и во весь опор помчались к лесу, черневшему в низине. Очевидно, их заметили — пулеметы затрещали вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели. Огненно дребезжащие рыбы вновь затрепетали в небе. Они ныряли с высоты, распустив блистательные хвосты, и с громким шипением вонзались в землю у лошадиных ног. Лошади шарахались, вздымая кровавые жаркие пасти и крича, как женщины, — отряд смыкался, оставив позади копошащиеся тела.

Оглядываясь назад, Левинсон видел громадное зарево, полыхавшее над селом, — горел целый квартал, — на фоне этого зарева метались одиночками и группами черные огненноликие фигурки людей.

Сташинский, скакавший рядом, вдруг опрокинулся с лошади и несколько секунд продолжал волочиться за ней, зацепившись ногой за стремя, потом он упал, а лошадь понеслась дальше, и весь отряд обогнул это место, не решаясь топтать мертвое тело.

— Левинсон, смотри! — возбужденно крикнул Бакланов и показал рукой вправо.

Отряд был уже в самой низине и быстро приближался к лесу, а сверху, пересекая линию черного поля и неба, мчалась ему наперерез неприятельская кавалерия. Лошади, вытянувшие черные головы, и всадники, согнувшиеся над ними, показывались на мгновение на более светлом фоне неба и тотчас же исчезали во тьме, перевалив сюда, в низину.

— Скорей!.. Скорей!.. — кричал Левинсон, беспрерывно оглядываясь и пришпоривая жеребца.

Наконец они достигли опушки и спешились. Бакланов со взводом Дубова опять остался прикрывать отступление, а остальные ринулись в глубь леса, ведя под уздцы лошадей.

В лесу было спокойней и глуше: стрекот пулеметов, ружейная трескотня, орудийные залпы остались позади и казались уже чем-то посторонним, они точно не задевали лесной тишины. Только слышно было иногда, как где-то в глубине, ломая деревья, с грохотом ложатся снаряды. В иных местах зарево, прорвавшись в чащу, бросало на землю и на древесные стволы сумрачные, медные, темнеющие по краям блики, и виден был окутывающий стволы сырой, точно окровавленный мох.

Левинсон передал свою лошадь Ефимке и пропустил вперед Кубрака, указав ему, в каком направлении идти (он выбрал это направление только потому, что обязан был дать отряду какое-то направление), а сам стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей.

Они проходили мимо него, эти люди, — придавленные, мокрые и злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту; под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо — почва была очень вязкая.

Особенно трудно приходилось поводырям из взвода Дубова, — они вели по три лошади, только Варя вела две — свою и Морозкину. А за всей этой вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, вонючий извивающийся след, точно тут проползло какое-то смрадное, нечистое пресмыкающееся.

Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился...

— Что там случилось? — спросил он.

— Не знаю, — ответил партизан, шедший перед ним. Это был Мечик.

— А ты узнай по цепи...

Через некоторое время вернулся ответ, повторенный десятками побелевших трепетных уст:

— Дальше идти некуда, трясина...

Левинсон, превозмогая внезапную дрожь в ногах, побежал к Кубраку. Едва он скрылся за деревьями, как вся масса людей отхлынула назад и заметалась во все стороны, но везде, преграждая дорогу, тянулось вязкое, темное, непроходимое болото. Только один путь вел отсюда — это был пройденный ими путь туда, где мужественно бился шахтерский взвод. Но стрельба, доносившаяся с опушки леса, уже не казалась чем-то посторонним, она имела

теперь самое непосредственное отношение к ним, теперь она как будто даже приближалась к ним, эта стрельба.

Людьми овладели отчаяние и гнев. Они искали виновника своего несчастья, — конечно же, это был Левинсон!.. Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха, — пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести!..

И вдруг он действительно появился среди них, в самом центре людского месива, подняв в руке зажженный факел, освещавший его мертвенно-бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими горящими круглыми глазами, которыми он быстро перебегал с одного лица на другое. И в наступившей тишине, в которую врывались только звуки смертельной игры, разыгравшейся *там*, на опушке леса, — его нервный, тонкий, резкий, охрипший голос прозвучал слышно для всех:

— Кто там расстраивает ряды?.. Назад!.. Только девчонкам можно впадать в панику... Молчать! — взвизгнул он вдруг, по-волчьи щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы мгновенно застыли на губах. — Слушать мою команду! Мы будем *гатить* болото — другого выхода нет у нас... Борисов (это был новый командир 3-го взвода), оставь поводырей и иди на подмогу Бакланову! Скажи ему, чтобы держался до тех пор, пока не дам приказа отступать... Кубрак! Выделить трех человек для связи с Баклановым... Слушайте все! Привяжите лошадей! Два отделения — за лозняком! Не жалеть шашек... Все остальные — в распоряжение Кубрака. Слушать его беспрекословно. Кубрак, за мной!.. — Он повернулся к людям спиной и, согнувшись, пошел к трясине, держа над головой дымящее смолье.

И притихшая, придавленная, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии вздымавшая руки, готовая убивать и плакать, вдруг пришла в нечеловечески быстрое, послушное яростное движение. В несколько мгновений лошади были привязаны, стукнули топоры, затрещал ольховник под ударами сабель, взвод Борисова побежал во тьму, гремя оружием и чавкая сапогами, навстречу ему уже тащили первые охапки мокрого лозняка... Слышался грохот падающего дерева, и громадная, ветвистая, свистящая махина шлепалась во что-то мягкое и гибельное, и видно было при свете зажженного смолья, как темно-

зеленая, поросшая ряской, поверхность вздувалась упругими волнами, подобно телу исполинского удава.

Там, цепляясь за сучья, — освещенные дымным пламенем, выхватывавшим из темноты искаженные лица, согнутые спины, чудовищные нагромождения ветвей, — в воде, в грязи, в гибели копошились люди. Они работали, сорвав с себя шинели, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, потные, исцарапанные в кровь тела. Они утратили всякое ощущение времени, пространства, собственного тела, стыда, боли, усталости. Они тут же черпали шапками болотную, пропахнувшую лягушечьей икрой воду и пили ее торопливо и жадно, как раненые звери...

А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалась все слышнее и жарче. Бакланов одного за другим слал людей и спрашивал: скоро ли?.. скоро?.. Он потерял до половины бойцов, потерял Дубова, истекшего кровью от бесчисленных ран, и медленно отступал, сдавая пядь за пядью. В конце концов он отошел к лозняку, который рубили для гати, — дальше отступать было некуда. Неприятельские пули теперь густо свистели над болотом. Несколько человек работающих было уже ранено, — Варя делала им перевязки. Лошади, напуганные выстрелами, неистово ржали и вздымались на дыбы; некоторые, оборвав повода, метались по тайге и, попав в трясину, жалобно взывали о помощи.

Потом партизаны, засевшие в лозняке, узнав, что гать окончена, бросились бежать. Бакланов, с ввалившимися щеками, воспаленными глазами, черный от порохового дыма, бежал за ними, угрожая опустошенным кольтом, и плакал от бешенства.

Крича и размахивая смольем и оружием, волоча за собой упирающихся лошадей, отряд чуть не разом хлынул на плотину. Возбужденные лошади не слушались поводырей и бились, как припадочные; задние, обезумев, лезли на передних; гать трещала, разлезалась. У выхода на противоположный берег сорвалась с гати лошадь Мечика, и ее вытаскивали веревками, с исступленной матерной бранью. Мечик судорожно вцепился в скользкий канат, дрожавший в его руках от лошадиного неистовства, и тянул, тянул, путаясь ногами в грязном вербняке. А когда лошадь вытащили наконец, он долго не мог распутать узел, стянувшийся вокруг ее передних ног,

и в яростном наслаждении вцепился в него зубами — в этот горчайший узел, пропитанный запахом болота и отвратительной слизью.

Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко.

Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух.

Через некоторое время люди очнулись и поняли, что наступило утро. Тайга лежала перед ними в сверкающем розовом инее. В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубого неба, — чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце. Люди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные, изуродованные руки, мокрых, измученных лошадей, дымившихся нежным, тающим паром, — и удивились тому, что они сделали в эту ночь.

XVII. Девятнадцать

В пяти верстах от того места, где происходила переправа, через трясину был перекинут мост — там пролегал государственный тракт на Тудо-Ваку. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, что Левинсон не останется ночевать в селе, казаки устроили засаду на самом тракте, верстах в восьми от моста.

Они просидели там всю ночь, дожидаясь отряда, и слышали отдаленные орудийные залпы. Утром примчался вестовой с приказом — остаться на месте, так как неприятель, прорвавшись через трясину, идет по направлению к ним. А через каких-нибудь десять минут после того, как проехал вестовой, отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде и о том, что мимо только что промчался неприятельский вестовой, тоже вышел на Тудо-Вакский тракт.

Солнце уже поднялось над лесом. Иней давно растаял. Небо раскрылось в вышине, прозрачно-льдистое и голубое. Деревья в мокром сияющем золоте склонялись над дорогой. День занялся теплый, непохожий на осенний.

Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и чистую, сияющую красоту и не почувствовал ее. Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал и как бессилен он теперь сделать что-

либо для этих людей, уныло плетущихся позади него. Они были еще единственно не безразличны, близки ему, эти измученные верные люди, ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что он ни на секунду не переставал чувствовать, что он чем-то обязан перед ними; но он, казалось, *не мог* уже ничего сделать для них, он уже не руководил ими, и только сами они еще не знали этого и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему вожаку. И это было как раз то самое страшное, чего он больше всего боялся, когда вчерашним утром думал о смерти Метелицы...

Он пытался взять себя в руки, сосредоточиться на чем-нибудь практически необходимом, но мысль его сбивалась и путалась, глаза слипались, и странные образы, обрывки воспоминаний, смутные ощущения окружающего, туманные и противоречивые, клубились в его сознании беспрерывно сменяющимся, беззвучным и бесплотным роем... «Зачем эта длинная, бесконечная дорога, и эта мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное мне теперь?.. Что я обязан теперь делать?.. Да, я обязан выйти в Тудо-Вакскую долину... вак... скую долину... как это странно — вак...скую долину... Но как я устал, как мне хочется спать! Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать?.. Он говорит — дозор... Да, да, и дозор... у него такая круглая и добрая голова, как у моего сына, и, конечно, нужно послать дозор, а уж потом спать... спать... и даже не такая, как у моего сына, а... что?..»

— Что ты сказал? — спросил он вдруг, подняв голову.

Рядом с ним ехал Бакланов.

— Я говорю, надо бы дозор послать.

— Да, да, надо послать; распорядись, пожалуйста...

Через минуту кто-то обогнал Левинсона усталой рысью, — Левинсон проводил глазами сгробленную спину и узнал Мечика. Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом. Потом еще кто-то поехал мимо.

— Морозка! — крикнул Бакланов вслед уезжавшему. — Вы все-таки не теряйте друг дружку из виду...

«Разве он остался в живых? — подумал Левинсон. — А Дубов погиб... Бедный Дубов... Но что же случилось

с Морозкой?.. Ах, да — это было с ним вчера вечером. Хорошо, что я не видел его тогда...»

Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся: Морозка ехал саженях в пятидесяти от него, отряд тоже был еще виден. Потом и отряд и Морозка скрылись за поворотом. Нивка не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее: он плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся.

Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросшим дубняком и кленом, еще хранившим багряную листву. Нивка пугливо вздрагивала и жалась к кустам. На подъеме она пошла шагом. Мечик, задремавший в седле, больше не трогал ее. Иногда он приходил в себя и с недоумением видел вокруг все ту же непроходимую чащу. Ей не было ни конца, ни начала, как не было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному с окружающим миром состоянию, в котором он сам находился.

Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, прижав Мечика к каким-то гибким прутьям... Он вскинул голову, и сонное состояние мгновенно покинуло его, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса: на дороге в нескольких шагах от него стояли казаки.

— Слезай!.. — сказал один придушенным свистящим шепотом.

Кто-то схватил Нивку под уздцы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился куда-то под откос. Он больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил, поскользнулся, — несколько секунд, онемев от ужаса, барахтался на четвереньках и, выправившись наконец, побежал вдоль по оврагу, не чувствуя своего тела, хватаясь руками за что попало и делая невероятные прыжки. За ним гнались: сзади трещали кусты и кто-то ругался с злобными придыханиями...

Морозка, зная, что впереди еще один дозорный, тоже плохо следил за тем, что творилось вокруг него. Он находился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли и остается одно непосредственное желание отдыха — отдыха во что бы то ни стало. Он не думал больше ни о своей жизни, ни о Варе, ни о том, как будет

относиться к нему Гончаренко, он даже не имел сил жалеть о смерти Дубова, хотя Дубов был одним из самых близких ему людей, — он думал только о том, когда же наконец откроется перед ним обетованная земля, где можно будет приклонить голову. Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и сеном. Он заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьется молока с куском пахучего ржаного хлеба, а потом заберется на сеновал и крепко заснет, подвернув голову, напнув на пятки теплую шинель...

И когда внезапно выросли перед ним желтые околыши казачьих фуражек и Иуда попятился назад, всадив его в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами, — это радостное видение большой, залитой солнцем деревни так и слилось с мгновенным ощущением неслыханного гнусного предательства, только что совершенного здесь...

— Сбежал, гад... — сказал Морозка, вдруг с необычайной ясностью представив себе противные и чистые глаза Мечика и испытывая в то же время чувство щемящей тоскливой жалости к себе и к людям, которые ехали позади него.

Ему жаль было не того, что он умрет сейчас, то есть перестанет чувствовать, страдать и двигаться, — он даже не мог представить себя в таком необычайном и странном положении, потому что в эту минуту он еще жил, страдал и двигался, — но он ясно понял, что *никогда* не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности... Он выхватил револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил три раза, как было условлено...

В то же мгновенье что-то звучно сверкнуло, ахнуло, мир точно раскололся надвое, и он вместе с Иудой упал в кусты, запрокинув голову.

Когда Левинсон услышал выстрелы, — они прозвучали так неожиданно и были так невозможны в теперешнем

его состоянии, что он даже не воспринял их. Он только тогда понял их значение, когда раздался залп по Морозке и лошади стали как вкопанные, вскинув головы, насторожив уши.

Он беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны, но в том едином, страшном немо-вопрошающем лице, в которое слились для него побледневшие и вытянувшиеся лица партизан, — он прочел то же единственное выражение беспомощности и страха... «Вот оно — то, чего я боялся», — подумал он и сделал такой жест рукой, точно искал и не нашел, за что бы ухватиться...

И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой простое, мальчишеское, немного даже наивное, но черное и погрубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова. Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в лошадиную холку, так что на ней явственно отпечатались его короткие мальчишеские пальцы, — напряженно смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда.

Левинсон вздрогнул и выпрямился, и что-то больно и сладко зазвенело в нем. Вдруг он выхватил шашку и тоже подался вперед с заблестевшими глазами.

— На прорыв, да? — хрипло спросил он у Бакланова, неожиданно подняв шашку над головой, так что она вся засияла на солнце. И каждый партизан, увидев ее, тоже вздрогнул и вытянулся на стременах.

Бакланов, свирепо покосившись на шашку, круто обернулся к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое, чего Левинсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение, подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставила его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним...

Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом, пригнувшись к седлам, выставив стремительные подбородки, и в глазах у них стояло то напряженное и страстное выражение, какое он видел у Бакланова.

Это было последнее связное впечатление, какое сохранилось у Левинсона, потому что в ту же секунду что-то

ослепительно-грохочущее обрушилось на него — ударило, завертело, смяло, — и он, уже не сознавая себя, но чувствуя, что еще живет, полетел над какой-то оранжевой, кипящей пропастью.

Мечик не оглядывался и не слышал погони, но он знал, что гонятся за ним, и когда один за другим прозвучали три выстрела и грянул залп, ему показалось, что это стреляют в него, и он припустил еще быстрее. Внезапно овраг раздался неширокой лесистой долиной. Мечик сворачивал то вправо, то влево, пока вдруг снова не покатился куда-то под откос. В это время грянул новый залп, гораздо большей густоты и силы, потом еще и еще без перерыва, — весь лес заговорил и ожил...

«Ай, боже мой, боже мой... Ай-ай... боже мой...» — то шептал, то вскрикивал Мечик, вздрагивая от каждого нового оглушительного залпа и нарочно так жалко кривя свое исцарапанное лицо, как это делают дети, когда им хочется вызвать слезы. Но глаза его были отвратительно, постыдно сухи. Он все время бежал, напрягая последние силы.

Стрельба стала затихать, она точно направилась в другую сторону. Потом она и вовсе смолкла.

Мечик несколько раз оглянулся: погони больше не было. Ничто не нарушало той отдаленно-гулкой тишины, что наступила вокруг. Он, задыхаясь, свалился за первым попавшимся кустом. Сердце его учащенно билось. Свернувшись калачиком, подложив под щеку кисти рук и напряженно глядя перед собой, он несколько минут лежал без движения. Шагах в десяти от него, на голой тоненькой березке, согнувшейся до самой земли и освещенной солнцем, сидел полосатый бурундучок и смотрел на него наивными желтоватыми глазками.

Вдруг Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко застонал. Бурундучок, испуганно пискнув, спрыгнул в траву. Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он крепко вцепился в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем покатился по земле... «Что я наделал... о-о-о... что я наделал, — повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней представляя себе истинное значение своего бегства, первых трех выстрелов и всей последую-

щей стрельбы. — Что я наделал, как мог я это сделать, — я, такой хороший и честный и никому не желавший зла, — о-о-о... как мог я это сделать!»

Чем отвратительней и подлее выглядел его поступок, тем лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершения этого поступка.

И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо-грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе.

Он машинально вытащил револьвер и долго с недоумением и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что никогда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на свете он любил все-таки самого себя — свою белую и грязную немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки — даже самые отвратительные из них. И он с вороватым тихоньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь делать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман.

Он уже не стонал и не плакал. Закрыв лицо руками, он тихо лежал на животе, и все, что он пережил за последние месяцы, когда ушел из города, вновь проходило перед ним усталой и грустной чередой: его наивные мечтания, которых он стыдился теперь, боль первых встреч и первых ран, Морозка, госпиталь, старый Пика с серебряными волосиками, покойный Фролов, Варя с большими, грустными, неповторимыми глазами и этот последний ужасный переход через трясину, перед которым тускнело все остальное.

«Я не хочу больше переносить это», — подумал Мечик с неожиданной прямотой и трезвостью, и ему стало очень жалко самого себя. «Я не в состоянии больше вынести это, я не могу больше жить такой низкой, нечеловеческой, ужасной жизнью», — подумал он снова, чтобы еще сильней разжалобиться и в свете этих жалких мыслей схоронить собственную наготу и подлость.

Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить в себе личных надежд и радостей, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он совершенно свободен и может идти туда, где нет

этой ужасной жизни и где никто не знает о его поступке. «Теперь я уйду в город, мне ничего не остается, как только уйти туда», — подумал он, стараясь придать этому оттенок грустной необходимости и с трудом подавляя чувство радости, стыда и страха за то, что это может не осуществиться.

Солнце перевалило на ту сторону согнувшейся тоненькой березки, — она была теперь вся в тени. Мечик вынул револьвер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал родничок, умылся и сел возле него. Он все еще не решался выйти на дорогу. «Вдруг там белые?..» — думал он тоскливо. Слышно было, как тихо-тихо журчал в траве малюсенький родничок...

«А не все ли равно?» — вдруг подумал Мечик с той прямотой и трезвостью, которую он теперь сам умел находить под ворохом всяких добрых и жалостливых мыслей и чувствований.

Он глубоко вздохнул, застегнул рубашку и медленно побрел в том направлении, где остался Тудо-Вакский тракт.

Левинсон не знал, сколько времени длилось его полусознательное состояние, — ему казалось, что очень долго, на самом деле оно длилось не больше минуты, — но, когда он очнулся, он, к удивлению своему, почувствовал, что по-прежнему сидит в седле, только в руке не было шашки. Перед ним неслась черногривая голова его коня с окровавленным ухом.

Тут он впервые услышал стрельбу и понял, что это стреляют по ним, — пули густо визжали над головой, — но он понял также, что это стреляют сзади и что самый страшный момент тоже остался позади. В это мгновение еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренку. У подрывника вся щека была в крови. Левинсон вспомнил об отряде и оглянулся, но никакого отряда не было: вся дорога была усеяна конскими и людскими трупами, несколько всадников, во главе с Кубраком, с трудом поспешали за Левинсоном, дальше виднелись еще небольшие группки, они быстро таяли. Кто-то, на хромающей лошади, далеко отстал, махал рукой и кричал. Его окружили люди в желтых околышах и стали бить прикладами, — он пошатнулся и упал. Левинсон сморщился и отвернулся.

В эту минуту он, вместе с Варей и Гончаренкой, достиг поворота, и стрельба немного утихла; пули больше не визжали над ухом. Левинсон машинально стал сдерживать жеребца. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Гончаренко насчитал девятнадцать человек — с собой и Левинсоном. Они долго мчались под уклон, без единого возгласа, упершись затаившими ужас, но уже радующимися глазами в то узкое, желтое молчаливое пространство, что стремительно бежало перед ними, как рыжий загнанный пес.

Постепенно лошади перешли на рысь, и стали различимы отдельные обгорелые пни, кусты, верстовые столбы, ясное небо вдали над лесом. Потом лошади пошли шагом.

Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Иногда он беспомощно оглядывался, будто хотел что-то спросить и не мог вспомнить, и странно, мучительно смотрел на всех долгим, невидящим взглядом. Вдруг он круто осадил лошадь, обернулся и впервые совершенно осмысленно посмотрел на людей своими большими, глубокими, синими глазами. Восемнадцать человек остановились, как один. Стало очень тихо.

— Где Бакланов? — спросил Левинсон.

Восемнадцать человек смотрели на него молча и растерянно.

— Убили Бакланова... — сказал наконец Гончаренко и строго посмотрел на свою большую, с узловатыми пальцами, руку, державшую повод.

Варя, ссутулившаяся рядом с ним, вдруг упала на шею лошади и громко, истерически заплакала, — ее длинные растрепавшиеся косы свесились чуть не до земли и вздрагивали. Лошадь устало повела ушами и подобрала отвисшую губу. Чиж, покосившись на Варю, тоже всхлипнул и отвернулся.

Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился, и все вдруг заметили, что он очень слаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал своей слабости; он сидел потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде... Люди стали смотреть в сторону, чтобы самим не расстроиться.

Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом.

— Не плачь, уж чего уж... — виновато сказал Гончаренко, подняв Варю за плечо.

Всякий раз, как Левинсону удавалось забыться, он начинал снова растерянно оглядываться и, вспомнив, что Бакланова нет, снова начинал плакать.

Так выехали они из леса — все девятнадцать.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно — простором высокого голубого неба и ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне, у вербняка, сквозь который синела полноводная речица, — красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя — веселая, звучная и хлопотливая — жизнь. Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина, из куржавого облака блесткой половы и пыли вырывались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена белорозовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко.

Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом, — и перестал плакать; нужно было жить и исполнять свои обязанности.

ПОВЕСТИ

И

РАССКАЗЫ

РАЗЛИВ

Глава первая

1

Эта земля взрастила полтора миллиона десятин гигантского строевого леса.

Мрачный, загадочный шум вечно плавал по темным таежным вершинам, а внизу, у корявых подножий, стояла первобытная тишина. Она скрывала и тяжелую поступь черного медведя, и зловещую повадку маньчжурского полосатого тигра, и крадущуюся походку старого гольда Тун-ло. Под его мягким улом сухой лист шебуршал чуть слышно и ласково.

Плодородные берега Улахэ родили буйные дикие травы и изнывали в тоске по более совершенному потомству. Племянники Тун-ло, перебравшись сюда из чужой для них Сунгарийской долины, впервые пробовали ковырять деревянной сохой жирный улахинский чернозем.

В те времена полуразрушенные валы и рвы древних крепостей Золотой империи обрастали крепкими дубами, а каменные ядра, разбросанные по пади сгнившими впоследствии катапультами, покрывались ярким бархатным мхом, и ими резвились в травяной сени веселые лисенята. Первый русский пришелец — Кирилл Неретин — поднял твердый коричневый дерн железным плугом, и

его свежевыстроенные амбары ломились от полнозерного хлеба.

Теперь Кириллу Неретину семьдесят пять лет, гольду Тун-ло — девяности три, а Жмыхову, леснику, — сорок семь. Но в те времена Тун-ло не имел еще ни одного седого волоса, Неретин был первый человек с русой бородой, который увидел гольда, а Жмыхов пришел неизвестно откуда через двадцать один год после Неретина, и то ему было всего восемнадцать лет от роду.

За Неретиным народ хлынул лавиной. Неумолчно визжали пилы, стучали топоры, в долине редели леса, и пыльный желтый тракт на двести верст прорезал угрюмые дебри от Спасск-Приморска до Сандагоу.

Пришельцы не знали здешних законов. Им чужда была дикая воля Сихотэ-Алиньских отрогов. Они несли с собой свой порядок и свои законы.

Так старое смешалось с новым...

Был Тун-ло коряв и мшист, как лес: дикая кровь предков мешалась в его жилах с янтарной смолой, что текла по кедровым венам в заповедных улахинских чащах. Жмыхов без промаха бил белок в охотничий сезон, легко гнул правой ладонью медные пятаки, а кровь его бурлила, кипела и пенилась, как березовый сок весною. Вместе они проникли и на далекий север к чукчам, и на серебро-свинцовые рудники в Тетюхинской бухте, и на золотые прииски Фудутун в верховьях Имана.

И когда, женившись, Жмыхов осел на хуторе в среднем течении Ноты, Тун-ло подумал, что кончилась последняя хорошая жизнь какого бы то ни было гольда на этом свете.

2

Наступила весна, а с весной пришла ежегодная пантовка[1]. Жмыхова схватила малярия, и он не мог идти в тайгу. Постоянным его спутником на охоте была дочь. Она справлялась с винтовкой лучше любого деревенского парня, готовая сравняться с отцом, у которого была самая верная пуля во всей волости. Однако отпускать Каню одну на большого зверя он еще не решался.

---

[1] Добыча молодых оленьих рогов — пантов, которые употребляются китайцами на лекарства. *(Прим. А. Фадеева.)*

— Что ж, паря, пойду я? — сказала жена Марья. Вернее, она задала вопрос, но Жмыхов знал, что ее теперь ничем не удержишь.

Была пантовка, какой не видали за последнее десятилетие, и Марья, тряхнув стариною, поддержала честь жмыховской фамилии. Обыкновенно самым последним спускался с сопок старый гольд Тун-ло, но в этом году он уже вернулся, а Марьи еще не было.

Поправившись, Жмыхов расставил по верховым ключам и притокам Ноты нерета, каждый день переполнявшиеся серебристыми хариусами и толстыми пятнистыми линями. Рыба едва сдерживала янтарную икру. Спустившись до Самарки, он занял у Стрюка в счет удачной пантовки сорок рублей и, закупив дроби и пороха, вместе с Каней постреливал по таежным озерам черноголовых селезней.

Марья пришла через пять дней после Тун-ло и принесла одними пантами больше гольда. Их купил марьяновский скупщик — хитрый китаец, за свой маленький рост и острые ушки прозванный «Зайцем». Он выпил у Жмыхова неимоверное количество чаю и, с уважением поглядывая на Марью, беспрерывно повторял одну и ту же фразу:

— Эх, хороша бабушка! [1]

При этом он громко всхлипывал в знак высшего удовольствия и одобрения.

Вместе со скупщиком по уссурийским долинам побежала гордая слава о женщине, взявшей весеннее первенство на всем пространстве от золотистых нив Сучана до холодных истоков Хаунихедзы.

Однако этой весной разговор о Марьиных подвигах продолжался недолго. Иные события волновали жителей Улахинской долины. Сердце этих событий билось за девять тысяч верст от Сандагоуской волости — в далеком незнаемом Питере, но отзвук этого биения чувствовался здесь — у южных отрогов Сихотэ-Алиньского хребта.

Произошли кой-какие перемены.

На смену угрюмому чернобородому волостному старшине пришел мельник Вавила и назвался председателем волостной земской управы. Веселого волостного писаря

---

[1] На русско-китайском жаргоне «бабушка» означает не старуха, а жена. *(Прим. А. Фадеева.)*

сменили лавочник Копай и его помощник — сельский учитель Барков.

И хотя Вавила был сифилитик, Копай — мошенник, а Барков — пьяница, хотя с фронта по-прежнему продолжали приходить вести о гибели то того, то другого деревенского парня, а река Улахэ по-прежнему текла в старом направлении — все же в этой смене чувствовалось новое.

3

Ранним весенним утром дед Нерета пошел в волостное правление.

После теплого ночного дождя нежный пар сочился из земляных пор. Был он легок и светел, как дедова борода. Пахло сыростью, теплом и хвоей, и на душе у деда было радостно и светло, как в праздник.

За постоялым двором солдатки Василисы, на ярко-зеленом лугу, лесовики раскидывали палатки. Таксатор Вахович работал в этих краях уже третью весну, прокладывая просеку с верховьев Улахэ на Вангоу.

«Зайти, чо ли?» — подумал Нерета, жмурясь от солнца. Лагерь раскидывал лесной кондуктор Антон Дегтярев. Он был без шапки и пояса и ласково смеялся весенними голубыми глазами.

— Скоро в тайгу, детки? — приветливо спросил дед. В разговоре он всех, даже стариков, называл детками. — У людей леворюция, а нам все одно — работа... Так, чо ли?

Он похлопал парня по плечу. Дегтярев засмеялся.

— Нашу квартиру под кленом ставь! — сказал десятнику. — Веселее, правда, дед? Под деревом-то, а? Эй, сильней натягивай!

Он подскочил к рабочему, укреплявшему большую палатку для кухни, и потянул сам за блестящий пеньковый канат. Дед любовался его спокойными упругими движениями, и ему тоже хотелось принять участие в работе.

— Работать хорошо, пока сила есть, — сказал Антон деду. — Революция — сама собой, работа — сама собой, а в тайге тоже хорошо, пока человек молод.

— Ишь ты — шустер! — улыбнулся дед. — У меня детки такие на фронте. Работяги. Только они насчет земли больше, потому я сам хозяин.

— Это кому что... — неопределенно поддакнул кондуктор.

Он думал о том, что будет хороший вечер и Вдовина Марина придет на вечерку, а завтра он тронется в тайгу и не скоро вернется в город, надоевший за зиму.

— В волость пойду: нет ли письмеца. — Нерета достал кисет и закурил. Синеватый дымок «маньчжурки» потянулся кверху прямо, как свеча, незаметно растворяясь в воздухе.

4

— Есть письмо, есть! — сказал в волостном правлении Копай-лавочник.

Он был полон секретарского достоинства и дышал тяжело и жирно, как сазан.

Почерк на конверте был незнакомый. Дед знал грамоту и удивился: «От кого бы?» — подумал растерянно. Выйдя из избы, уселся на лавочку и долго не распечатывал. Сердце смутно чуяло недоброе, и казалось странным, что что-нибудь недоброе может случиться в такое ясное и теплое утро.

Писал с фронта племянник Сидор. Вначале следовали многочисленные поклоны, а потом:

«...И еще извещаем вас, что любимые дети ваши, Федор и Карп, отдали богу душу. Кресты на них надели другие, а собственные их, нательные, посылаю вам по завещанию...»

Строчки химического карандаша запрыгали в глазах и побежали в разные стороны. Нерета уронил конверт, и два простых нательных крестика робко выпали на песок.

Хозяйство у деда Кирилла было крепкое: он жил всей семьей, не разделяясь. Когда старшие сыновья ушли на фронт (младший давно не жил дома), дед не сильно растерялся. Он мог еще работать сам, снохи — дебелые и крепкие бабы из-под Томска — пахали и косили, как мужики, а внуки-подростки тоже ели хлеб не попусту.

— Не унывай, детки! — говаривал дед на работе. — Вот уж мужики приедут — отдохнем все...

Теперь все это рушилось. Ни к чему оказался пятидесятилетний труд. Впереди маячили только смерть и разорение перед смертью.

5

Дни по-прежнему стояли теплые и ласковые. Дегтярев ушел в тайгу. Дедовы снохи, наплакавшись вдосталь, работали, как волы, и все, казалось, пошло по-старому. Но сам дед чувствовал, что петля затягивается на его старческой шее, и не видел выхода.

Тогда-то и вернулся с фронта домой Иван Кириллыч, младший сын деда Нереты.

Лет десять тому назад окончил Иван Кириллыч спасск-приморское трехклассное училище. Книга стала его неизменным другом, а с нею мир показался шире, жизнь богаче. Он побывал во многих городах и селах Дальнего Востока. Много повидал людей и немало понаделал дел. Вместе с забубенной головой, Харитоном Кислым, участвовал в прокладке тоннеля через Орлиное Гнездо к минному городку Владивостока. Стучал пудовым молотом в военном порту. Грузил ящики на Чуркином мысу. Месил цемент в Спасск-Приморске. Несколько раз, возмущая черноземную кровь своих предков, продирал штаны на потертом писарском стуле.

Одним словом, это был блудный сын, и пользы от него видели до сих пор, что от козла молока. Однако с его приездом дед воспрянул духом.

Иван был ранен в бок и приехал в отпуск только на два месяца. Но когда, пошатываясь от усталости после длинной дороги, он вошел в избу и возчик внес вслед за ним тяжелый солдатский сундучок, — то первой же фразой деда, после обычных приветствий, было:

— Ну, довольно, детка! Нагулялся, навоевался... К хренам! Назад не поедешь!

В эту фразу он вложил и свою крепкую отцовскую волю, и последнюю хозяйственную надежду.

И мнение его совпало с мнением сына. А так как приставом Улахинского стана уже давно питались в озере сомы, то вопрос оказался исчерпанным.

6

Через несколько дней вернулся с весенней охоты Харитон Кислый. Его крытая соломой избенка понуро стояла в пятидесяти шагах от волостного правления. Был он человек большой, но легкий, как всякий человек, которо-

му нечего и негде сеять. Первым делом Харитон пошел к Ивану Неретину. Он качал на ходу могучей спиной и широко разбрасывал руки — длинные, как грабли, с медвежьими кистями.

— Ага! — воскликнул Неретенок, увидев друга. — Тебя я жду давно, пойдем со мной!

Он потащил Харитона на сеновал, где находилась его штаб-квартира и, ни слова не говоря, раскрыл перед ним свой солдатский сундучок. Оттуда полезли книжонки и листовки всех мастей и калибров.

— Вот возьми-ка парочку, познакомься! Тут о войне, о земле и о чем хочешь...

Харитон был человек мастеровой, и то, что излагалось в книжонках, странно совпало с тем, что он думал уже давно. Он передал их Антону Горовому, который тоже имел крепкие руки, пустой желудок и много свободного времени для чтения.

Сундучок Ивана стал пустеть все больше и больше. Книжонки ходили по рукам, а их хозяин, залечивая бок в аптеке у фельдшерицы Минаевой, вертелся также в волостном правлении, в копаевской лавочке, на мельнице — да мало ли где еще. Был у него всегда спокойный, насмешливый, немного даже загадочный вид. Будто знал парень что-то, неизвестное другим.

Наконец он сел за письмо и долго строчил при тусклом свете ночника, изогнувшись над столом.

— Чо бумагу переводишь? — удивленно спросил дед. — Може, кралю где завел? Тащи ее сюда, больше будет!

«Товарищ Продай-Вода! — писал Иван. — Дела мои идут великолепно. Сшибить правление ничего не стоит. Проворовались, как черти. Наших — восемь человек, и все это — ребята, за которых можно поручиться головой...»

Он улыбался, работая пером, а старый Нерета думал, что фронт страшно изменил сына. На конверте Иван написал: «Тов. Продай-Воде в Приморский областной комитет РСДРП» и в скобках — «объединенный».

7

В волость приехал человек совершенно незнакомый. Он завалился прямо к молодому Неретенку, и между ними произошел довольно интересный разговор, после которого на сеновале собралось целое совещание.

— Самое главное, — говорил незнакомый человек, — не надо забывать, что вы, в большинстве, — народ безземельный и в деревне чужой. Сумеете ли провести своих людей в правление?

Среди собравшихся было два человека с хозяйством, а за Иваном имелся солидный авторитет деда. На другой же день почти вся компания обула лапти и разбрелась по волости, созывая на чрезвычайный съезд.

Съезд состоялся многолюдный. Старое правление изругали. Незнакомый человек сказал несколько речей. Был он в очках, лысый, немного кривой. Речи его мало кто понял. Согласились, что войну надо окончить, а также насчет помещиков. Только помещиков в Сандагоуской волости не водилось.

Вечером того дня избрали земскую управу и председателем ее — молодого Неретенка.

Глава вторая

1

Потом наступили жары, каких не помнили старики. Почти весь май палило огнем, а в начале июня, когда истощенную, жадную до воды землю засевали гречихой, начались лесные пожары. Они вспыхнули близко к верховьям — в районе Сандагоу, но в самый верх и книзу не шли, потому что кверху не пускали впадающие в Улахэ реки, а внизу вообще было сырее. Но в окрестностях волостного села древесный лист вял и желтел, как в бездождную осень, и засохшая таежная земля тоже горела. Ночью огненными языками бахромели сопки, а днем черные, сизые и серые дымы стлались по тайге, и солнце плавало в багровом зловещем тумане.

Неретин «провалился» на первом же предложении — передать мельницу в общественную собственность, а копаевскую лавочку — кооперативу.

Конечно, Вавила брал по шести фунтов с пуда за помол, а Копай драл неимоверно со всякого товара, но ведь мельница и лавка были их собственностью!

Тогда пошел слух, что новый председатель надумал отобрать земли, избы, домашний скот и прочее имущество и поделить поровну между всеми жителями Санда-

гоуской волости. Правда, это был слух, которому не всякий верил, но многие опасались.

К тому же от солнца выгорали хлеба, в безводной тоске чахли огороды, а гречиха так и не всходила.

У Копая-лавочника — большая бревенчатая изба с позолоченными флюгерками. Народу вмещала много. Сандагоуцы любили самогонку, и Копай поил у себя в избе бесплатно. Он не боялся убытков в хорошем деле. Мельник Вавила ходил на вечерки и задаривал парней деньгами.

Но у Неретина были цепкие зубы, лохматая голова и неослабная воля к действию.

— Неужели не будет по-нашему? — сказал он себе, потерпев неудачу, и стал носить под рубахой вороненый наган Тульского завода.

Шел он как-то вечером из земства домой, заглянул к Харитону. Посидели, поговорили. О городе, о революции, о пожаре. Насчет холостой жизни.

— Копай вот орудует, — сказал Неретин, прощаясь,— самогонку ведрами пустил. Как смотришь?

— Раздраконить всех и вся вдребезину! — вспылил Харитон.— Тогда пойдет!.. Мягкий ты, это—тоже вредно...

— Драконить надо осторожно, умеючи, — возразил Неретин, — а главное — строить...

— Построишь черта лысого с народом с этим!

Когда Харитон сердился, крепко сжимал челюсти. Было так и теперь. Ничего больше не сказал ему Неретин, — пожал руку, пошел.

Вот ведь в одной компании состояли, а мнения на иной предмет имели разные!

2

Окна председательской комнаты в волостном правлении выходили во двор. Сторож затянул их белыми занавесочками. Стало темней и прохладней, чем на улице.

День был воскресный, но Неретин занимался, как всегда. Перед ним лежал журнал, привезенный накануне с почтой.

Рыжая кошка ловила на занавеске паута. Паут только что напился и развозил по белому тонкие полоски лошадиной крови. Он разомлел от жары, не мог летать и жужжал нудно и густо, как протодьякон.

В журнале было несколько картинок про то, как ра-

ботает электрический трактор, и вид самого трактора в разрезе. Неретин рассматривал его долго и внимательно. Он думал о том, что хорошо бы было и в Улахинской долине завести пару электрических тракторов. И еще — мысль его перешла к засухе и к наводнениям, которые бывали раньше, — не мешало бы здесь устроить оросительные каналы и плотины. «Чудной край,—думал Неретин.— В Туркестане, скажем, нужны оросительные каналы, а в Голландии плотины, а нам и то и другое нужно!»

Какие-то голоса, видно с улицы, назойливо лезли ему в уши, но он увлекся своими мыслями и надоедливо отмахивался рукой, как будто прогонял муху.

«...Или, может, уже такие приспособления есть, что и на то и на это повернуть можно?..» Неретин был человек практический, но жара разморила его, и он размечтался. Голоса на улице возрастали, кто-то пел пьяным голосом срамную песню, и, кажется, называли его фамилию.

После электрических тракторов Иван прочел бумаги из разных деревень Сандагоуской волости. Корейцы из Коровенки писали, что ввиду ожидающегося раннего урожая мака стянулись к деревне китайские хунхузы и прислали ежегодную разверстку на опиум. Корейцы просили помощи. Неретин подумал, что, если бы были силы, следовало бы прогнать хунхузов, а мак покосить: опиум одурманивает мозги.

Другое извещение было с верховьев Фу-дзина. Там было двое своих ребят, и письмо прислал один из них. Он сообщал, что его товарища надо вычеркнуть из «списка».

«...Потому, как тебе известно, воевали мы из-за лесу, и кодась Никанор добился ближающево коло деревни, то поставил там пропарат и гонит самогонку...»

Это письмо Неретин спрятал в карман.

Третье письмо писал Стрюк из Самарки. Он извещал о том, что кошкаровские староверы убили в тайге несколько китайцев из-за корня «женьшень», и просил прислать следственную комиссию.

— Сволочи! — вслух подумал Неретин. — Солдат не давали, потому что религия не позволяет, а китайцев стрелять позволяет!

Он положил резолюцию: «В следственную комиссию».

На улице шумела толпа, но, углубившись в работу, Иван не обращал на нее внимания.

У него имелось еще одно послание, переданное сегодня

утром проходящим охотником. Оно было нацарапано на бересте каким-то грамотным гольдом, страшно коверкавшим русский язык. Гольд доводил до сведения власти, что волостной объездчик в последний объезд обобрал все панты соотечественников гольда, живших по Садучару. Стояло несколько подписей, нацарапанных той же рукой, и одна подпись — «Тун-ло» — рукой обладателя этого имени.

«Фамилию писать у Жмыхова научился», — подумал Неретин. Подпись Тун-ло говорила о правильности извещения, потому что старик не умел лгать. Неретин пожалел, что не сорганизовал до сих пор милиции. Он решил арестовать объездчика сам, сегодня же, и направить в уезд с солдатами, сопровождающими почту.

— Иван Кириллыч, ты сход скликал? — спросил его сторож.

— Нет, а что?

— На улице гудут...

Неретин встал, прислушался и только тогда понял, в чем дело.

У уличного крыльца гудел народ, и громче всех гнусавил мельник Вавила. Иван вспомнил его провалившийся нос, слезливые глаза и сразу ожесточился, как, бывало, на фронте перед боем.

— Што он, мать его за ногу, — тянул в нос Вавила, — зазнался, што ли, забыл, што народом избран!

— Ему бы только с хвершалихой путаться, — поддержал кто-то.

Неретин нащупал за поясом под рубахой ручку нагана и, приняв беспечный вид, вышел на крыльцо.

3

В воздухе пахло гарью. Вдали, за речным шумом, мощно дымились сопки, и дым оседал над ними неподвижным гигантским облаком.

Харитон тоже явился на шум. Он до сих пор не мог найти работы. Было у него на душе мрачно и пусто, как в желудке: никто его не поддерживал, а к Вдовиной Марине, за которой он ухаживал четвертый год, присватывался мельник Вавила. Неретин увидел друга угрюмо стоящим в стороне от кучки. Кроме него, были и еще кой-кто из сторонников.

— В чем дело? — спросил Неретин спокойно.

Толпа смолкла при его появлении, и долго никто не отвечал на вопрос. Собралось около четверти села. Медные от жары лица смотрели с любопытством и недоумением, как будто не они вызвали председателя наружу, а сами были вызваны им в необычный час по необычному делу.

Так стояли они молча несколько секунд, изучая друг друга, пока из-за длинного мельника не вытолкнулся вперед учитель Барков. Он был пьян более обыкновенного, и волосы его, зеленого цвета, мокрые и грязные, свисали на лоб клочьями, как истрепанные листья банного веника.

— Здорово... власть! — сказал он с пьяной улыбкой, протягивая руку.

Неретин подал свою. Сдержанный вздох и гомон прошли по толпе. Она сдвинулась ближе к крыльцу, заражая воздух чумным запахом водки и пота.

— В чем дело? — повторил вопрос Неретин.

— Ты — самозванец! — закричал вдруг Барков визгливо. — Ты — самозванец, — повторил он тем же визгливым голосом, нервно передергивая плечами и заражая толпу нелепой пьяной силой.

Подчиняясь ей, все заговорили сразу, гневно и страстно, протягивая вперед землистые руки.

— Твой отец богач — его хлеб забирай!

— Кем избран!

— Сво-олочь! — выкрикнул кто-то, покрывая всех надтреснутым злобным басом.

— Это кто выругался? — с угрозой спросил Неретин, сдерживая толпу суровым взглядом. — Кто выругался?

Он спустился на одну ступеньку ниже, заставляя всех отступить назад, и, отыскав глазами знакомого ему обладателя баса, погрозил ему пальцем уверенно и строго, как учитель ученику.

— Пусть один говорит! — сказал он не терпящим возражений голосом.

Во внезапно наступившей тишине заговорил сосед Харитона — Евстафий Верещак. Был он угрюм и решителен, как у себя в маслобойне, и упрямой мужицкой волей преодолевал винные пары, туманившие голову.

— Народ решил, что ты ему непотребен, — сказал он, смотря прямо на председателя. — Молод ты — первое, чужак в селе — второе, и... непотребен... Народ решил, пусть старое правление будет — вот!

— Народ ничего не решил,— возразил Неретин сухо.—

Вас мало здесь, а меня избрал волостной съезд. Через пять месяцев будет второй — тогда заявите.

— Не могем ждать! — злобно прогнусавил Вавила. — Зови съезд скорее. Как нас спихивал, дак ране созвать сумел!

— Сумей и ты! — так же сухо ответил Неретин.

Оттого, что был он строг и уверен в себе, а воздух ленив и зноен, никто не знал, что нужно делать, и все молчали, пригибая к земле упрямые крепкие лбы.

Опять очнулся первый Евстафий Верещак.

— Ванька... смотри-и, — предостерегающе процедил он сквозь зубы.

Тяжелые слова повисли в расплавленном воздухе, и толпа заколыхалась.

— Ты лучше не грози, — сказал Иван Кириллыч, — потому что...

— Больш-шевики пр-редатели р-родины! — завизжал вдруг Барков, захлебываясь пеной.

Он затрясся в пьяной истерике, и в его тусклых глазах где-то в темной глубине зрачков испуганно забилась жалость к себе и ненависть ко всему миру.

Толпа с ревом надвинулась на Неретина, опрокинув Баркова и спотыкаясь об него ногами. Иван отступил назад, не зная, пригрозить ли револьвером или еще испробовать силу своего голоса.

— Не уйду я! — сказал он твердо.

— Сами сбросим! — стонал Вавила, размахивая потным кулаком перед его лицом. — У, стерва!

Откуда-то сбоку, оттискивая народ от крыльца, выдвинулась неуязвимая жилистая фигура и, отгородив Неретина от мельника, вынесла над толпой жесткое лицо Харитона Кислого. Ярость клокотала в каждой частице его тела, челюсти были крепко сжаты последним напряжением воли, и глаза, серые и жестокие, буравили слезящиеся глаза Вавилы. Несколько секунд они смотрели друг на друга — один, сдерживая себя нечеловеческим усилием, другой, истекая желтыми слезами, пока громадный кулак не взвился над толпой, как цеп.

— Р-расшибу! — рявкнул Харитон, чувствуя, как кровь волною хлынула ему в голову.

Мочась от страха, мельник отпрянул в толпу, но удар по темени настиг его у нижней ступеньки и свалил под чьи-то кованые сапоги. Вавила запомнил, что от них сильно пахло дегтем.

Потом все смешалось. Мелькали, как молоты, кулаки, трещали скулы, рвались праздничные пиджаки, и яростный звериный рык окутал толпу вместе с едкой и жаркой дорожной пылью.

Несколько человек бросилось к Неретину. Он выхватил револьвер и, воспользовавшись их замешательством, соскочил с крыльца. Отдельные фигуры трусливо побежали прочь, ломая придорожные засыхающие кусты, втянув головы в плечи и даже не оглядываясь.

Из ближних и дальних изб бежал народ разнимать. Бежал откуда-то и старый Нерета, прихрамывая на тронутую ревматизмом ногу.

Иван охолаживал дерущихся ручкой нагана. Наган был вороненый, Тульского завода, и действовал преотлично. Прибегавший народ помогал.

Труднее всего оказалось с Харитоном. Он освирепел, и к нему нельзя было подступиться. Шапка упала с его головы, и голова качалась черной копной с прядью серебряных волос на темени. И когда народ отхлынул наконец, расчистив ему место, он бессмысленно остановился у распростертой фигуры Баркова. Кровь сочилась у учителя горлом, и он плакал тонко и жалобно, как ребенок, вздрагивая на песке.

— Стой, Харитон!.. — крикнул Неретин, вцепившись изо всей силы в занесенную руку.

Кислый обмяк, ослабляя мышцы.

— Пусти... не ударю... — сказал мрачно.

И пока Неретин и другие возились с Барковым, он уже шагал по дороге своей обычной развалистой походкой, высоко держа голову на кряжистой шее.

На другой день привезли с верховьев убитого упавшей лесиной дровосека, и Харитон, записавшись на его место, ушел на рубку к таксатору.

Глава третья

1

Дед Нерета строгал на верстаке у амбара доски на ульи. Было дымно и душно. Вспотевшие костлявые лопатки нудно терлись о холщовую рубаху. Ноги тонули в море медово-серебряных стружек.

Иван вернулся из поездки по волости.

— Как хлеба? — спросил Нерета.

— Плохо...

— Да уж хорошими быть не с чего... — дипломатично промычал дед.

Иван распряг лошадь и увел в сарай.

— Иди-ка сюда, — позвал его дед.

Он был недоволен сыном. Конечно, приятно иметь роднею председателя волостного земства, но ведь хозяйство тоже — не кедровая шишка. Вылузгал орехи и бросил.

— Все ездишь? — спросил он Ивана не без ехидства.

— Езжу... — угрюмо ответил тот.

— Служба твоя, что лануш, — сказал Нерета наставительно, — отцвел и нету. А земля дело прочное. Проездишь, детка, землю-то, а?

— Вот уж отцвету — тогда за землю...

— А не поздно ли будет?

Они долго молчали. Нерета бросил строгать и подошел к сыну.

— Ванюха! — сказал он, неожиданно меняя тон. В седых глазах забегала всегдашняя усмешка, и веселые искры побежали в строгие сыновние глаза. — Брось, а? Оженим по первой статье — найдем бабу, косить будем, а?..

— То есть как же «брось»? — удивился сын.

— А так... К хренам, скажи, мне ваше удовольствие! Я, мол, и сам человек — надоело мне с вами маяться.

— Бросить нельзя, — возразил Иван Кириллыч, улыбаясь. — Хитер ты больно... Раз начато — надо кончать. Скажем, посеял ты гречку, а убирать не станешь...

— Гречку я для себя сею, — перебил дед.

— Это я так, к примеру, — продолжал Неретин, — а только предо мной задача...

Он хотел объяснить, какая перед ним задача, но не стал, решив, что не пришло еще этому время.

— Зада-ча! — передразнил старик. — Вон люди говорят, поделить все хочешь, правда? Нет?

— Врут. Не в дележе дело. Скажем, у тебя хлеба много, но ты своими руками его нажил — никто и не возьмет. А раз Копай нетрудовым потом нажился — отдай!.. Поработай сам, а тогда свой хлеб и кушай!..

— Не шибко и ты в политике силен, — съязвил дед. — Баловство все это! Как был шалай-балай, так и остался.

Какой ты мне сын?.. Бузуй ты, детка, а не мужик! Вот уж свернут тебе шею...

Неретину стало жаль отца, но он боялся «распускать слюни» и ничего не ответил. Дед обиделся и взялся за рубанок. Это была первая размолвка в это лето. Потом они спорили часто и даже ругались.

2

В этот вечер Иван Кириллыч пошел к фельдшерице Минаевой. Она болела воспалением почек. В больницу ехать было далеко — пятьдесят верст по таежному тракту. Приходилось ждать, пока пройдут первые приступы болезни.

Поправившийся учитель Барков со всей семьей пил чай на школьном крыльце.

— К шлюхе своей пошел, — сказала жена учителя, повышая голос, чтобы Неретин мог ее слышать. — Нашел приятельницу, большевичку.

— Как Анна Григорьевна? — спросил Неретин у аптечной служительницы.

— Все болеют...

Он зашел на квартиру. Минаева по-прежнему лежала в постели — желтая, с припухшим лицом, разметав нечесаные волосы по подушке. Завидев Неретина, она так и просияла на него своими большими темно-карими глазами.

— Здравствуй, — сказал он просто, наклоняясь и целуя ее в лоб.

Лоб был горячий и влажный.

— В волость, слыхала, ездил?

— Был...

— Ну и как?

— Ничего, — ответил он неохотно. — Настроение лучше здешнего. Особливо внизу. Там и хлеба лучше. А с тобой как?

— Не хуже, не лучше... Арбуза мне хочется...

Она хотела шутливо улыбнуться, но улыбка вышла по-детски жалкой.

— Арбузов еще нет, да тебе и нельзя.

— Я знаю, я шучу...

— Слушай, — сказал Неретин, наклоняясь. — Я, знаешь, зачем пришел?

— Зачем?.. — спросила она растерянно.

Он тихо засмеялся и взял ее за руку. Рука с нежной ямочкой на сгибе была пухлая и желтая, как лицо. Но все же она была мила ему, эта рука.

— Ни зачем... Поняла?.. Ни зачем — просто пришел. Пришел потому, что болит о тебе душа, и потому, что приходить приходится редко, и нет времени на любовь, и мало помощников в деле, и потому, что хочется и можется жить и работать, и сила есть, а ты больна...

Он быстро-быстро целовал ее руку, а каштановые волосы метались на его голове, и ласковые глаза с синью лучились прямым спокойным светом.

Она молча и нервно гладила его волосы, не зная, что сказать, не решаясь почему-то назвать его уменьшительными именами.

— Будет, что ли? — спросил он шутливо, отпуская руку.

Она притянула его близко-близко и, касаясь горячими губами уха, сказала совсем неожиданно:

— Какой ты хороший и... странный...

— Странный? — удивился Неретин.

— Да. Я живу здесь семь лет, а таких еще не видала.

«Чудит», — подумал Неретин, сразу принимая добродушно-насмешливый тон.

— А где я жил, там, надо полагать, здешние странными кажутся. Понятно?..

— Нет, все-таки... не то.

— И тебе, стало быть, без «таких» скучно тут было?

— Скучно...

— Чего ж ты не уехала?

Она хотела сослаться на какие-то тяжелые условия, но что-то взмыло к горлу изнутри, и, удивляясь себе, что может вымолвить это так спокойно, она сказала:

— У меня ведь ребенок был...

Сказала и запнулась.

— Ну, так что ж? — допытывался он. — У меня двое были. То есть не сам я рожал, надо думать, а были мои...— И так как она молчала, он добавил:

— Но если понадобится, я куда угодно поеду. Очень просто.

Она заволновалась и попыталась приподняться на подушке.

— Лежи, лежи... — удержал он ее за плечо.

Она нервно передернула руками, соображая что-то, и наконец сказала:

— Тут целые дела... Когда-нибудь расскажу, не могу сейчас... Ошиблась я как-то, ну и... — Голос ее оборвался, и неожиданно для себя и для него она заплакала.

— Вот это уж зря, — сказал Неретин укоризненно, — на-ка полотенце.

Чувствуя прилив необычайной нежности, он стал сам обтирать ей слезы, впервые замечая, что руки у него грубые и жесткие, а пальцы немного кривые. Но от его уверенных и ласковых движений она успокоилась и даже улыбнулась.

— Видишь, какая я кислая, не то, что ты...

— Ничего, будешь со мной, пройдет. Я ведь простой. А рассказывать вообще не стоит — ерунда.

3

Неретин сидел еще долго. Служительница зажгла лампу и принесла ему чаю. Он выпил стаканов семь, удивляясь, куда они умещаются, и шутил по этому поводу. Минаева слушала его, и ей страстно хотелось выздороветь.

Только когда в церкви пробило двенадцать, он ушел. Ночь стояла сухая и вместе с тем странно тягучая и липкая не по-летнему. На западе огневел злато-сизый пояс горящего леса, а за ним плавилось заревом небо, как вогнутый лист раскаленного железа.

В лохматой голове Ивана — в этом луженом и крепком солдатском котелке — уже варились и кипели простые, обыденные мысли о работе.

Глава четвертая

1

В промежуток между гречишным севом и сенокосом Жмыхов ходил на охоту. Но этим летом жара давала себя чувствовать даже в Садучарской тайге, и он знал, что мяса теперь никто не купит: в погребе портилась даже солонина, а ледники имелись только у не нуждавшихся в мясе кошкаровских староверов.

Тогда он решил плыть в Сандагоу, чтобы летнее время не пропало даром. Надо было забрать у Нереты двадцать пудов муки, оставшиеся с прошлой зимы за беличьи шкурки, купленные дедом на шубу в приданое дочери. Кроме того, следовало получить у волостного объездчика свое лесничье жалованье и захватить в правлении газеты, которых он не читал уже около двух месяцев.

Он подправил лодку и спустил ее к реке. Плоскодонка была большая, но не тяжелая, почти не пропускала воды. Дома он подстриг бороду, одел патронташи, сумку и большую алюминиевую флягу в суконном чехле, наполненную медовухой. Марья оправила сзади ему рубаху: Жмыхов был костист и высок, и рубаха некрасиво морщилась на спине.

— Ну что ж, пора... — сказал жене. — Где Каня?

— В лодке ждет.

Она в последний раз осмотрела его с ног до головы.

— Хорош! — сказала насмешливо.

— Знамо, хорош, — улыбнулся Жмыхов, заглядывая ей в монгольские глаза. Черные, немного суженные, с большими ресницами и отчетливыми бровями — то были смелые глаза ее предков со средней Аргуни, откуда он вывез ее восемнадцать лет назад.

Они пошли на берег вместе.

Дочь Жмыхова уже сидела на корме и, лениво болтая веслом в воде, смотрела, как бежали вниз маленькие крутящиеся воронки.

— Скоро ты? — крикнула нетерпеливо отцу.

— Поспеешь, козуля...

Жмыхов передал ей топор и винчестер.

— Прощай, старуха! — сказал жене подбадривающим тоном.

Марья не обиделась на обращение «старуха», хотя на загорелом лице ее не было старческих морщин, а черных волос не потревожила седина.

— Езжай, — ответила она просто.

Он столкнул нос лодки с берега и с неожиданной легкостью перенес на него двести двадцать фунтов своих костей и жил, когда лодка была уже подхвачена быстрым течением. Бурый пес бросился вплавь вслед за лодкой, но Марья отозвала его назад, и он долго недовольно ворчал, поблескивая вымокшей шерстью.

2

От хутора до Самарки верст тридцать пять. Надеясь на быстроту течения, Жмыхов редко брался за весла. Каня сидела у руля, а он дремал, лежа на носу, под журавлиную песню Ноты, и солнце высекало золотистые искры из его русых волос с рыжеватым отливом. Волос у Жмыхова — мягкий. Недаром сандагоуцы зовут лесника «Королем», а гольды «Золотой головой».

У Кани руки крепкие, а глаз острый. Нота тоже хитрая река — мечется то вправо, то влево. Лижет скалистые обрывы, водовороты делает. Белопенные водовороты злобно рычат. Кедр тянет с берега корявые мшистые лапы. За кедром непролазная темь да карчи.

В других местах веселее — березняк белеет серебряной корой. Вьется небо вверху меж ветвей иссеченной лентой, и зверь молчит под кустом, от жары разомлев, и пихта стоит прямо и тихо, как сон. Курится тайга медовыми смолистыми запахами...

— Комар прилетел, — сказал Жмыхов под вечер, — давно комара не было.

— Стало быть, дождь будет, — пояснила Каня.

— Ясное дело, будет. К тому и говорю.

Он выпрямился во весь рост и посмотрел вдаль. Нота вырвалась из кедрового плена и бежала по широкой безлесной долине. С боков долины — сопки. Ближе — черные, дальше — синие, а совсем далеко — голубые. На сопках — опять тайга.

Большая река Нота, а Улахэ еще больше. Нота идет в Улахэ на полтораста верст ниже Сандагоу, и в этом месте — Самарка. Есть еще ключ Садучар. Он пришел из голубых Сихотэ-Алиньских отрогов и вынес в самое сердце хлебных полей хвойный пихтовый клин. Растрепал Нотовы берега, взбаламутил спокойную воду, натащил тяжелых таежных карчей. Садучар — холодный и суровый красавец.

— Будем воевать, — сказал Жмыхов, заслышав его пенокипящий гул.

Он переменился с дочерью местами, снял снаряжение и засучил рукава. Были у него волосатые и жилистые руки.

Палило огнем вечернее солнце, дымилось небо тонкой пеленой, и воздух, полный невидимого речного пара, стоял неподвижен и густ. Волос Жмыхова горел на солнце зо-

лотой чешуей, а у дочери волос черный не мог спрятаться под кожаной шапкой. Кофта у нее совсем расстегнулась, и груди виднелись — румяные загорелые яблоки.

Темный пихтовый клин в пожелтевшей долине бежал на лодку. Садучар ревел тайфуном, пенился белыми сихотэ-алиньскими облаками. Лодка дрожала и металась на волнах, как испуганный конь, и резала кипучую пену. Каня опустилась задом на пятки и влипла коленями в днище. Был у нее монгольский пронизывающий глаз. Жмыхов впивался в реку веслом и кричал:

— Загребай нос!

Каня крепче врастала коленями в лодку, а руки ее действовали верно и точно, как железные рычаги машины. И когда, под самым обрывом, кренясь и поскрипывая бортами, судно пролетело наконец Садучарово устье, она откинулась на спину и засмеялась громко и весело.

— Ловкачи мы! — крикнула отцу сквозь смех из-за белых зубов и потянулась, свежая и гибкая, как улахинский кишмиш. — Нас голыми руками не возьмешь, — добавила горделиво.

— Ясное дело, — согласился Жмыхов привычной фразой.

Вспотевшее лицо его бронзовело под золотистой шапкой волос, и широкая грудь, курчавясь мхом в прорези воротника, вздувалась, как кузнечный мех.

3

Нота разрезала Самарку на две части. Человек на берегу мочил дубовые бочки в речном затоне.

— Эй, здорово! — крикнул ему Жмыхов.

Человек приподнялся и, прикрыв глаза от солнца мокрой рукой, долго рассматривал сидящих в лодке.

— Кажись, Король? — сказал он наконец. — Ну-ну, доброго здоровья тебе, — и тотчас же добавил: — И дочке твоей.

— Стрюк дома?..

— Со съезда приехал — все дома. Слышишь, в кузне гукает.

— С какого съезда? — удивился Жмыхов.

Но бондарь уже нагнулся и не слышал его.

Бабы стирали на плотах белье. Загорелые маль-

чишки барахтались в воде. В знойном мареве плавали позолоченные купола деревенской церкви. Жмыхов обогнул причал и пристал прямо у стрюковской кузницы.

— Кузнец!.. — позвала Каня Стрюка. После победы над Садучаром она чувствовала во всем теле избыток молодой и задорной силы.

Стрюк вышел из кузницы. Был он низкого роста, но коренастый, с чрезмерно длинными руками и мощными ладонями.

— Те-те-те... — защелкал он языком, стараясь изобразить на лице удивление. — Приехал Король и козу свою привел?.. Ладно. Куды, в Сундугу собрались?

Русские улахинцы звали волостное село не Сандагоу, а Сундуга.

— Есть такое дело, — в тон ему ответила Каня.

— Ну, тогда сбирай манатки, ночью дождь будет.

— Ясное дело, — подтвердил Жмыхов.

— Не ясное, а хмарное, — пошутил Стрюк, втаскивая лодку на берег. — Айда-те!..

4

Дома Стрюк рассказал Жмыхову все новости. А новостей было много. Прежде всего, у Стрюка оказалось несколько майских газет, в которых только и толковали о выборах во Всероссийское учредительное собрание. Сами выборы предполагались осенью. И так как газеты у Стрюка были самые разнообразные, то Жмыхов имел возможность познакомиться с тем, как смотрят на это дело разные люди.

Правда, разобраться в тонкостях он не мог: различных оттенков было множество. Так, например, на одних газетах сразу под заголовком большими черными буквами красовались лозунги: «Война до победного конца! Вся власть Временному правительству!» А на других: «Война до конца за мир без захватов и контрибуций!», но зато — «Да здравствует демократическая республика!» На третьих стояло: «Долой кровавую бойню! Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!» Впрочем, много встречалось и иных. Когда месяца два тому назад Жмыхов читал мартовские газеты, такой неразберихой как будто бы и не пахло. Но уже и тогда начинали поругивать неизвестных большевиков.

— А ты как смотришь на это дело? — спросил Жмыхов у Стрюка.

— А как смотрю! — сказал кузнец. — У меня два сына на фронте. Хозяйство, знаешь, невелико, а прыгаю, как белка на сосне... Войну кончать пора — вот как смотрю!.. Нам с ней одно горе.

Стрюк говорил строго, а глаза под колючими ершами вместо бровей мигали весело.

— Учредительное собрание... — рассуждал Жмыхов.— Откудова этакое выскочило?.. Живем, как азияты — ясное дело...

— Н-да... В волость съездишь, узнаешь. Там, поди, известно.

Хитрый мужик Стрюк. Улыбку спрятал в бороду, а борода у него что трава на кочке.

— На съезд волостной я ездил... Вот где дела — так да-а...

Он рассказал Жмыхову о последних событиях в волости.

— Копая жирного знаешь? Этому за всех попало. Заседали в воскресенье, а в селе станковые со Свиягинской лесопилки гуляли. Рабочий народ, известно... До девок больше. Отмутили лавочника по первое число, как же. Взятошник...

— Их вражда старая, — пояснил Жмыхов. — Копай на лесопилку муку поставлял. Мало что подмоченную, а говорят, ржаную промеж пшеничных кулей подсовывал. Жулик известный.

— А ты слушай, — продолжал Стрюк. — Большевик, говорят, Неретенок-то?..

Он лукаво прищурился и выжидательно посмотрел на Жмыхова. «Хитрый мужик, все знает», — подумал Жмыхов, а вслух сказал:

— Дела...

5

Кузнецовы бабы вернулись с поля. Темнело. Мальчишки на улице с трудом доигрывали в городки. В растворенные окна хаты вместе с необычайной духотой вечера врывались их звонкие голоса и удары палок по рюхам.

К Стрюку пришел самарский священник, отец Тимофей.

— Здоровеньки булы! — рявкнул он тяжелым медвежьим басом, снимая в сенях дырявую соломенную шляпу. — Завтра дождь будет — солнце садилось в тучу.

Кузнецова мать, рассыпчатая старуха, подошла к нему под благословение.

— Брось, стара, излышний машкерад, ну его к бису! — сказал он насмешливо. И добавил по-русски: — Тебе, может, забава, а мне-то уж надоело. Дура...

— Ах ты, безбожник! — обиделась старуха. — А еще поп! Вон с тем чертом два сапога пара, — указала она на сына.

— Не любят нас с тобой старухи, — сказал отец Тимофей Стрюку. — А по всему, должны бы старухи попа уважать. В других местах так водится. Впрочем, каков приход, таков и поп... Я к тебе, лесная твоя душа, — обратился отец Тимофей к Жмыхову.

Он сел рядом на лавку и, вытащив из рваного подрясника кисет, стал вертеть грубыми и желтыми, как ореховое лыко, пальцами толстую цигарку.

— Ты что? Уже?.. — спросил Стрюк, подмигивая.

— Ни синь пороха... Я в поле был. — Он заклеил цигарку и задымил. — Гречка моя не всходила, а пшеница на низу лучше других. Огурцы пропали, попадья плачет. Дура...

Были у попа игривые черные брови, полтавские глаза и нос большой и мясистый, цвета пареной луковицы. Он косился на Каню и часто сморкался в изнанку подрясника.

— Так вот, к тебе, — снова обратился он к Жмыхову. — Возьми меня в Сундугу. Едешь, говорят?

— Вещей много?

— Вещей?! Чу-дак!..

Отец Тимофей расхохотался и долго кашлял, поперхнувшись дымом. Кашель его был откровенен и весел, как смех. Пахло от попа землей, самогонкой и Библией, и был он так же жизнелюбив, пьян и мудр.

— Вещей... Чудак!.. Что я, невеста с приданым, што ли? Мне за жалованьем съездить.

— А платят?

— Платят. Дурни...

— Эт-та поумнеют, — сказал Стрюк резонно.

— А мне хоть бы хны, — усмехнулся поп. — Подрясник сбросил, волосы подстриг, а пашня у меня своя. Гуляй — не хочу.

Стрюк взял со стола первую попавшуюся газету и сунул ее священнику.

— Ну их к бису, — отмахнулся отец Тимофей, — я их и раньше не читал... Так возьмешь? Нет? — насел он на Жмыхова.

— Ясное дело, возьму. Приходи завтра со светом.

— Ладно... Дочка-то у тебя, а? Выросла...

— Выросла, да не для тебя, — съязвила Каня.

— Я и не говорю, что для меня. Дура...

Он расправил плечи, потянулся и зевнул.

— Людская глупость навевает скуку, — сказал безобидно. — Пойду...

И когда сенная дверь захлопнулась за ним, кузнец сказал:

— Чудак поп, а на работе лучше мужика.

6

С полночи зацедил дождь, упорный и однообразный. Несмотря на уговоры Стрюка, Жмыхов выехал на рассвете мокрого и скользкого утра. Отец Тимофей прибежал еще затемно со сверточком под мышкой.

— Где остановишься в Сундуге-то? — спросил Жмыхов. — У отца Ивана, што ли?

— Ну, нет... — забасил отец Тимофей. — Я, знаешь, со всеми сангоускими попами в «дружбе».

Он захохотал откровенно и весело, как всегда, разбрызгивая бородой дождевые капли.

— Не любят они меня, гусятники святые.

Подыматься по Улахэ было труднее. Течение постоянно сбивало лодку. Требовалось полное разделение труда. Каня сидела у рулевого весла, а Жмыхов с попом менялись. Работали то шестами, то веслами, но в некоторых местах приходилось брать и то и другое. Река обмелела, и лодка садилась на перекатах. Они слезали в воду и тащили ее на канате.

Разница между речной и дождевой водой терялась, и казалось, что воздух улетучился, а люди движутся с головой в воде и дышат ею.

Отец Тимофей скинул подрясник и неприлично ругался.

— Чего рыбу глушишь? — смеялась Каня. — Это тебе не в церкви, чертово кадило!

Отец Тимофей шлепал ее по спине тяжелой ладонью.

— Буйные у тебя телеса, девка. Кому в жены достанешься?..

— Медведю!

— То-то порадуешь старика.

Но к вечеру желание шутить пропало. Лица синели, коченели руки, с трудом сгибались и разгибались пальцы.

7

Третью ночь они провели в фанзе старшего племянника Тун-ло. Сам старик отдыхал там же и посоветовал Жмыхову не ехать дальше.

— Ты видишь, Улахэ вздулась. Живи здесь. Тун-ло все знает. Река клохчет, как наседка. Вверху затор. Если хочешь знать где, Тун-ло скажет: в Боголюбовской перемычке. Тун-ло все знает. Так было много лет назад, когда друг еще не родился. Половина долины поплывет, но фанза Тун-ло останется, потому что она на холме.

Старый гольд хорошо говорил по-русски, и слова его звучали уверенно. Но Жмыхов знал, что промедление грозит лишними неделями, и жалел время.

— Успеем, — ответил он гольду. — Помнишь, как мы плавали с тобой? Тогда мы ни черта не боялись. Амур страшнее Улахи, и Улаха меньше Аргуни.

— Да, Аргунь... — сказал Тун-ло задумчиво. — Оттуда ты привез бабушку, и она осрамила этой весной охотника Тун-ло. Но Тун-ло уже стар...

Утром гольд слез с теплого кана, насыпал в мешок чумизы и принялся за чистку ружья.

— Куда ты? — спросила Каня.

— Теплая циновка портит охотничьи кости, — сказал старик. — Тун-ло поедет с другом. У него есть в волости дела.

И он действительно поплыл вместе с Жмыховым, загадочный и спокойный, как каменный божок у фанзы племянника.

Река почти сравнялась с берегами и рвалась из невидимых оков стремительней и бурливей, чем когда бы то ни было. В последний день пути им пришлось особенно тяжело. Сказывалась близость верховьев, а лодка пропиталась водой и стала громоздкой. Сбиваемая спереди реч-

ным течением и подгоняемая сзади широкими веслами, она дрожала на мутных волнах тяжелой лихорадочной дрожью, продвигаясь не более одной версты в час.

Таким образом, в последний день они сильно запоздали. Мускулы их слабели с каждым напряжением, невыносимо ныли ключицы, и тела — обессиленные человеческие тела — жадно просили отдыха. Но у таежного человека воля крепка и сурова. Она преодолевает и физическую слабость, и ярость скованной в верховьях реки, и ядовитый скользкий мрак дождливой ночи. Она проводит человека через голубые заоблачные хребты, заставляет его бодрствовать многие сутки, выслеживая зверя, и толкает его в бой так же легко, как в теплую женину постель.

И глаз у таежного человека остер, и пуля из его ружья верна, и взгляд его горд и спокоен, потому что воля его густа, как кровь, а кровь ярка и червонна, как тетюхинская руда.

— Наляжь! — кричал Жмыхов властно. — Р-раз... р-раз... Право руля, девка!.. Р-раз...

Впереди, у невидимого речного колена, в холодной дождливой мгле приветливо мигали желтые огни Сандагоу.

Глава пятая

1

Когда начались дожди, таксатор Вахович смотал походные палатки и вернулся в Сандагоу. Харитону дома делать было нечего. Смоляной запах и старые звериные следы тянули его глубже в чащи. Таксатор предложил ему отыскать забытую охотничью тропу южнее вершины Лейбрадзы.

Попутчиком вызвался Антон Дегтярев. Они сошлись быстро. Оба были рослые, широкоплечие и мускулистые парни, с быстрыми глазами; от обоих веяло сочной ядреной крепостью молодых ясеней.

— Чем баб щупать, лучше медведя затаежим, — предложил Харитон. И Дегтярев согласился.

Оба они знали наперечет охотничьи зимовья, шалаши, фанзы, людские и звериные тропы, ключи, овраги и таежные болота, и в угрюмой глуши беспрерывный холодный дождь показался им неопасным. Они переплыли бурные

воды Сыдагоу на двух связанных лимонником бревнах, пристрелили застрявшую с испугу в корявом буреломе козулю и в балке у заброшенного китайского шалаша развели свой первый костер. Шалаш был сделан из кедровой коры, крепко сшит ореховым лыком, а широкая берестина, выдавшаяся вперед в виде навеса, прикрывала огонь от дождя.

— Сушись, братва, завтра снова мокнуть, — пошутил Антон, стаскивая с себя всю одежду. — Радуйся, отче Харитоне, комаров нетути, — дождем побило.

Обучался раньше Антон в лесной школе, а под народный язык подделывался.

Он устроил у огня деревянные вилки и развесил белье сушиться. Харитон последовал его примеру. Костер обдавал шалаш банным жаром. Были парни широкогруды и мохнаты, как изюбры.

Дегтярев сбегал голый за водой и прибежал весь мокрый, рыча и фыркая. Он стал сушиться у огня, опалил колено и выругался по-матерному. Тонкие ломти мяса в лопушином листе отправил в золу. Привычному человеку в тайге сытнее, чем дома.

И когда наелись и надели просохшие манатки, Харитон сказал:

— Хорошо женатому человеку!

И не объяснил почему.

— Это ерунда, — возразил Дегтярев, — какой, по-твоему, человек женат?

— А ты не знаешь, какой? — усмехнулся Кислый.

— Нет, все-таки?

— Ну, известно, у кого жена и вообще... детишки там разные и все такое...

— Посуда, хата, постель одна и вши одной породы?.. — допытывался Дегтярев.

— Нет, — отрезал Харитон строго. — Жена вообще — помощница. Жена!.. Пойми, дурак!

— Выходит, что ты сам пень. А человек хороший. Люблю.

Сказал Антон чудно, но слова были теплые. И тогда Харитон объяснил:

— Тридцать годов мне, понимаешь? Имею только вот это... — Он вытянул вперед руки, черные, как сковороды, и потряс ими в воздухе. — Четвертый год хожу возле Вдовиной Марины. Батька не дает. Говорит: «Я гол, а ты

голее». И Марина не идет, говорит: «У тебя чуб седой». — Он сорвал с головы фуражку и, блеснув на огне седозвездной прядью, добавил: — А мне страдай...

Антон вспомнил весеннее девичье дыхание, полный податливый стан Марины под рукой, терпкий запах прошлогоднего сена.

— Выходит, что не везет, — промолвил. Свистнул и опять промолвил: — А мне и без жены хорошо. Сытый голодного не разумеет. Это еще, наверно, в Священном писании сказано.

Харитон не знал, чем сыт его спутник, и говорил много. Слова — тяжелые камни — падали на кедровый подстил, не производя впечатления. И под их нудное гуканье Антон заснул. Были у него буйные русые волосы, вымазавшиеся за ночь в кедровой смоле подстила.

2

На другой день по непролазным кедровым стланцам они перевалили Лейборадзу.

Забытую охотничью тропу нашли быстро. Она заросла более светлым пырником и папоротью и выделялась резко. Они наделали зарубок и пошли назад. На этот раз не перевалили отрог, а обогнули его западней. На востоке, красуясь поснежевшей вершиной Лейборадзы, темнел становик Сихотэ-Алиня. На всем обратном пути засекали насечки и ставили вехи. Идти стало труднее. Ноги скользили в траве, не давая шагнуть широко. Ключи вздулись и мутно ревели, волоча громадные слизкие камни да черные валежины. Более крупные ручьи плавили вниз целые плоты сухостоя и вырванного с корнем ельника. Болота заозерели, а дождь не прекращался.

Антон и Кислый перебирались по кедрачу, как белки. «Как-то там Неретин?» — думал Харитон. Он снова набрался сил и чувствовал позыв к работе и людям. Хотелось поговорить еще об одном заветном, и он пощупал Дегтярева.

— Политикой интересуешься? — спросил у него.

— Нет, — ответил Антон добродушно.

Он пел всю дорогу какие-то необычные песни и часто кричал без видимых причин. Любил человек звук своего голоса.

— Чем же интересуешься?

— Собой... зверем... тайгой...

— А людьми?..

— Мало. Разве вот бабами. — И он захохотал бескручинно-широким, разливистым хохотом.

— Зря, — солидно заметил Харитон, — политика не мешает бабе.

— А баба политике мешает. Только я не потому, а так... Если драться будете, буду там, где ты.

— Молодец, — похвалил Харитон отечески. — Я уж дрался, жаль, тебя не было.

Они с трудом переправились через Сыдагоу и вышли в долину верст на тридцать ниже прежней стоянки таксатора. В Боголюбовской перемычке образовался гигантский затор, и вся верхняя падь превратилась в бушующее озеро, по которому плавали корейские фанзы и чьи-то белые шаровары на черных обломках, казавшиеся издали парой лебедей.

У берега в густых карчах запуталась выдолбленная душегубка.

— Это нашему козырю в масть, — обрадовался Антон.

Они вытащили лодку на берег и, смастерив кинжалами весла, в один день спустились по мятежной Улахэ в Сандагоу.

Вечер был праздничный. Переодевшись и закусив, оба ввалились к девчатам у солдатки Василисы, наполнив избу здоровым молодым хохотом.

3

На вечерке танцевали парни с девчатами польку. Дробно отстукивали большими сапогами чечетку, а у девчат юбки, длинные и широкие, так и плавали по избе.

У солдатки Василисы на постоялом дворе — три отделения. Одно — кухня для стряпни, другое — для постояльцев отдельные комнатки, а третье — для вечерок. С дождями таксатор перебрался во второе. Рабочие остались в палатках. Таксатор был молодой, но до девок труслив. Примостился на вечерке в углу, даже рот раскрыл, и текли по рыжей бородке слюни.

У Дегтярева глаз голубой, как далекие сопки, а у Кислого — серый и напористый, как вода. «Который? — поду-

мала Марина, и где-то екнуло: — Дегтярев...» Стрельнула глазом влево и вправо, а Дегтярев уж рядом. Щека давно не брита — колется, и от волос кедровой смолой пахнет.

— Мотри, Харитон-то побьет, — шепнула.

— Не побьет, мы с ним приятели.

— Мельника побил...

— Мельника — не за тебя, за политику.

— И за меня тоже...

Сказала немного с гордостью, и Антон удивился.

Кислый драться был неохоч. Смотрел на них мельком, в танце, уголками глаз, и было ему обидно. Обидно было потому, что рус у Марины волос и румяны щеки, и потому еще, что сам он здоров и в летах, и три года из-за нее к девкам не ходил, хоть и тянуло. И только сейчас стало обидно еще за то, что Дегтярев в тайге сказал: «Сытый голодного не разумеет».

А Митька Косой, присяжный запевала, взял Харитона под руку и на заросшее волосом ухо сказал:

— Не стоит глядеть, птичка-то не для тебя.

— А для кого же?..

Митька отвел глаза в сторону и хитро ответил:

— Как Вавилу побил — на вечерки ходить боится...

— Ну и что же?.. За Вавилу она все одно не пойдет — дурная хворь у мельника.

— А кошелек толстый.

— Ерунда...

— Дело твое, а только, думаю, зря в монахи записался. Иль, окромя Марины, баб нету? Вон Василиса давно млеет.

Бровь у Митьки рыжая, а лицо в веснушках. Мигнул Харитону и пугнул его в непотребное место:

— У-у... душа с тебя вон... Симферополь!..

Веселый парень был.

4

На улице исходило холодным дождем небо. Когда открывали дверь, звук дождя был — точно стучала молотилка на осеннем току. Разве только хлюпало немного, а на току звук бывает сухой и четкий. Таксатор вспомнил, как прошлый год осенью, просекая пихняк, вышли через ключ к току. Молотилок в Сандагоуской волости мало.

Ток был сельца Утесного — молотила вся деревня. Снопы в машину направлял хозяин Кривуля. Кричал:

— Гони, гони... э-эй!..

Мальчишка, голый по пояс, стегал коней волосяным кнутом, и кони ходили в мыле.

— Помогай бог, — сказал таксатор.

— Бог помогает, помоги ты, — засмеялся Кривуля. И, сдувая с лица полову и пыль: — Ну-ка, барин... городской... в пуговицах... растрясай снопы... Нут-ка-а!.. Эй, гони-и... Штоб вас язвило!..

Бабы и девки подавали развязанные снопы, а мужики с парнями оттаскивали солому. Было тогда таксатору стыдно и немножко завидно.

И потому, когда дверь открылась и снова застучала молотилка, а голос на крыльце сказал (был голос так же весел, как у Кривули): «Пойдем сюда, отец Тимофей», — и другой на дворе ответил: «Пойду к Харитону», — таксатор вздрогнул и смутился.

Но был это не Кривуля, а кто-то другой — большой человек широкой кости, без шапки, и за ним девка с ружьем, в короткой юбке не сандагоуского фасона. Гармонь оборвалась, и вся вечерка сказала:

— Жмыхов...

Пошли с одежды по полу темные струи дождевой воды, подмывая подсолнушную шелуху, а Жмыхов брякнул:

— Делу время, а потехе час! — вместо приветствия.

— И несло ж тебя в такую пору!

— Кой шут несло! Супротив воды перли, ясное дело. Запрягай лошадь, лодку привезть. Неравно снесет — другой не сделаете. Знаю.

— Беги, Гаврюшка, жива-а, — ткнула солдатка сына.

— Отца Тимофея привез. Пошел к Харитону. Харитон здесь, што ли?..

— Здесь...

— Айда вдвоем, лошадь заложить поможешь. Экий дождь сыплет...

Они вышли вслед за Гаврюшкой, а Каня осталась. Под рукой у Дегтярева неровно и тепло дышала Марина. Сопели, как кабаны, лесовики, и девки со сладким хрустом щелкали подсолнухи.

— Отожми воду, девка, — сказала Василиса, — я комнату приготовлю.

Она ушла, широко разбрасывая ноги, покачивая тяжелыми мясистыми бедрами, а Каня, приставив свой винчестер к отцовскому, закрутила подол. Высоко поднять стыдилась и крутила согнувшись. Были у нее упругие икры, уверенный крепкий стан и плечи широкие — в отца. Вода растекалась по полу у порога, густая, как лампадное масло, и косы свесились в него тугими фитилями. Волос в косах вороной и жесткий, как у лошади.

«Хороша девка из тайги», — подумал Антон.

А Кане под чужими глазами было неловко. Все же оправилась быстро. Людей, как и зверя, не боялась. Выпрямилась, сорвала с головы шапку и давай об косяк оббивать. Била сильно, отчего весь корпус ходил, а под мокрой рубахой дрожали сосочки.

— Глаза с косиной, — шептались девки.

— Видно, ороченка...

— Юбочка-то коротка, и улы на босу ногу...

— Здоровая...

— Иди сюда, девка! — крикнула солдатка из комнаты.

— Куда идти-то?..

— Никуда не ходи,— ввязался Митька, — гуляй здесь! А ружье брось. Девке с ружом не полагатся...

— Ишь шустрый какой, — отрезала Каня. — Не тебе ж ружья дать? С тебя и бабьего веретена хватит.

— Ай, девка!.. Сладка да горяча, как пирог,— жжется. Дай хоть буфера поглядеть, какого заводу.

— Иди, иди! Я те ребра-то поломаю!..

У девок да баб круговая порука. Напали на Митьку девчата. Мало рыжего чуба не выдрали, а парням хоть бы что.

Только когда Каня ушла, почувствовал Дегтярев, что под рукой у него тело чужое. Что сноп, что девка — разницы никакой. И второй раз за вечер удивился. Потом лезли в голову разные мысли. Неясные, как махорочный дым. Вспомнил, что у Марины рубахи потные, и подумал, что, может, сноп-то под рукой держать веселей. И еще: «Хоть из тайги, а такая же баба... ерунда». Хотел всякие мысли прогнать и два раза танцевал, а все же шевелилось где-то желание, чтоб Жмыхов задержался. Таксатора Антон не любил, а как ушел таксатор на свою половину, почему-то заныло. У Василисы спросил:

— Где у тебя воды испить?

— Ступай на кухню!

Но до кухни не дошел. Нудно скрипели половицы. В дощатых комнатах щели большие. Из одной комнаты валило тепло, и кто-то сонный дышал. Посмотрел в щелку. Топилась железная печка, а над ней на веревке — бабья одежда. Капала на печку с одежи вода, и с каждой каплей... ш... шип... ш... шип... Спит девка на спине, одеяло по шею — ничего не увидишь. Только где грудь — манящий колышется бугорок да падает с лампы свет на лицо. На лице резко обозначены скулы и длинные ресницы, что черный бархат.

— Эх, девка таежная, ядрена-зелена!..

А в соседней комнате что-то зашуршало. Повел глазами и в щели слева увидел знакомые таксаторовы зенки. Трусливые и бесстыжие, с мутью.

— Смотрит, кисель... Тьфу!.. А ну вас всех к черту, дьяволы!.. — громко сказал Антон.

Назад пошел веселый.

Глава шестая

1

Когда утром проснулся в палатке, Дегтярев почувствовал — что-то переменилось. Был брезент вверху не грязен, а желт, и на желтом тихо играли кленовые листья. Выскочил — вверх уплывало небо, и солнце резвилось зайцами по мокрому листу. Солдаткин луг оделся травой по колено, и за лугом, что кончался в ста саженях обрывом, дымилась утренним паром глина. Сладко шумела кривоствольная забока [1], и, перебивая ее, сердито урчала невидная за забокой Улахэ. Чудились за рекой поля со вспрыгнувшей кверху пшеницей, а за полями качались в дрожащем воздухе сопки, чернея чужими заплатами прибитого к земле пепла.

Он быстро скинул рубаху и побежал к колодцу. Долго с приятной дрожью полоскался в корыте для лошадей, покрываясь пупырчиками, как гусь, и, ничего не поев, накинул пиджак, пошел к парому.

---

[1] Долинный лиственный лес. *(Прим. А. Фадеева.)*

Тун-ло переночевал в фанзе паромщика, встретился на дороге. Постояли в коричневой дорожной грязи, поговорили — так, ни о чем. С людьми встречаться не хотелось. Антон свернул с дороги и, пропитав росою штаны, вышел ниже речного колена. Оглянулся. Где кончалась забока, дымила черной трубой паромщикова фанза. На холмах паслись коровами сандагоуские избы, и церковный крест блестел на солнце, как игла. Из деревни по дороге к парому гусеницами ползли телеги. Глянул вниз — расстилалась меж раздавшихся сопок с помутневшей и вздувшейся пеной рекой васильковая, пахучая, хлебная, зеленоросая падь. Зуд пошел от сердца к голове и вниз через колени к пяткам. Сбежал на припек, развалился и, чувствуя, как млеет от сырости спина, долго лежал, ни о чем не думая. Только раза два вспомнил почему-то Каню и тогда улыбался.

Тун-ло встретил по дороге не одну подводу.

2

Тянулись мужики на поля с палатками на ночь, с сапками, с косами. Хоть не пришел Петров день, да буйная выросла за дожди трава. Тянулись с мужиками и бабы. У баб в телегах зыбки, а в зыбках ребята. Ребята кричали, и вместо сосок давали им бабы черный хлебный мякиш, смоченный слюной.

Тун-ло останавливался у каждой подводы и говорил:

— Не нужно ехать. Сегодня днем или ночью придет большая вода. Тун-ло знает. Никто не вернется домой. Много будет сирот в долине.

С гольдом приветливо здоровались, но назад никто не возвращался. Большая вода приходит постепенно, а баштаны оправились и заросли бурьяном. Не затем бог дал дождя, чтобы все труды пропали из-за травы. Тун-ло не любил повторять одну вещь одним людям два раза. Но следующей подводе говорил то же самое. Однако и следующие подводы ехали дальше.

Всякий гольд думает мало, больше созерцает. Но Тун-ло думал. Он думал, что среди русских людей много глупых и что, может быть, будет лучше, если их убавится.

В волостном правлении у Неретина застал старик Жмыхова.

— Посиди, — сказал ему Неретин.

Тун-ло снял шапочку, достал из синих шаровар трубку, длинную и тонкую, как соломина, с блестящим чубуком. Закурил, сочно причмокивая губами. Губы у гольда тонкие, обветренные, в красной шелухе, и голова белая, как дым.

Жмыхов говорил.

— И еще, Иван Кириллыч, зря пущаешь в волость разные газеты. Ни черта не поймешь — ясное дело. Присылал бы уж которую одну. Получше. Тебе, поди, известно. А то — и контрибуции, и «Голос» какой-то, и Учредительное собрание — черт-и поймешь...

— Насчет газет верно, — сказал Неретин. — Это наша ошибка. Исправим. Один ведь работаю, пойми, а делов много.

— А Кислый?..

— От Кислого по способностям. Так и со всякого другого. Тут поумней нашего люди нужны, только не идут. Сволочи.

Жмыхов посмотрел на ноготь большого пальца и, снимая отросшую черную каемку, спросил:

— И к чему придем?

Неретин вспомнил почему-то приходившего утром отца Тимофея. Лукавые его полтавские глаза особенно. Сказал, тихо посмеиваясь:

— Попа ты привез. Был он сегодня. Чудной. «Кончились вам денежки», — говорю, а он: «Знаю, мне, мол, Жмыхов со Стрюком еще в Самаре сказывали». — «Зачем же ехали?» — говорю. «Прополоскаться, говорит, на одном месте надоедает...»

И вдруг схватив на столе газету, крикнул Неретин, брызнув упоенно слюною:

— Вот к чему придем! Понимаешь?.. — И подчеркнул ногтем: «Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». — Это сначала, а потом дальше...

Называлась газета — «Красное знамя».

Жмыхов долго молчал и думал. Мигая седыми корявыми веками, бесстрастно сопел трубкой Тун-ло. Гольд мало думает, больше созерцает. Жмыхов снял черную каемку с другого ногтя. Медленно вытаскивая из головы слова, сказал:

— Понимаю снаружи... суть не понятна... Скажи...

— Суть бо-ольшая. Рассказывать все долго, а немного — можно. Если староверов-стодесятинников за землицу пощупаем, плохо?..

— Н-не знаю...

— А когда мельницу и лавку отобрать хотел, тоже плохо?

— Мельницу и лавку?.. — повел Жмыхов бровью и гаркнул прямо от сердца: — Хорошо!.. Ясное дело! Потому хозяева — жулики.

— Нет, не потому. Все, друже, хозяева — жулики. Ты не подумай, что мужики не жулики. А ихнего не возьмем.

— Тут без полбутылки не разберешься, — пошутил Жмыхов.

— А ты подумай... Или, лучше, почитай — ведь грамотный?

— Ясное дело, грамотный, других учил.

Выдвинул Иван Кириллыч из стола скрипучий ящик и сунул леснику потрепанную книжонку.

— На, почитай.

Жмыхов взял книжонку и листнул раза два волосатыми пальцами. Заинтересовался. «Прочесть, — подумал, — дома».

— А тебе, старик, что? — спросил Неретин гольда.

3

Тун-ло вынул трубку. Было ему девяносто три года, а зубы еще сохранились, только черные.

— Приехал я к тебе по большому делу, — сказал Тун-ло. — Ты прогнал объездчика, и это хорошо. Только это — половина дела.

— Говори.

— Земля, на которой живешь, была наша. Мой брат Су-и теперь помер. Семьдесят лет назад ушел он на Сунгари. Детей Су-и прогнали китайцы. Дети Су-и пахали потом землю на Улахэ... Говорить буду много. Слушать будешь?

— Говори, говори — я слушаю...

— На Улахэ гольдов много. Таких, как я, — в тайге, и таких, как Су-и и его дети, — на земле. Земля была наша. Потом пришли русские. Русские взяли всю землю.

Русские были сильнее, потому что их было больше. Когда твой отец был один, мы его не трогали. Но русские взяли всю землю, потому что стали сильнее. Так всегда бывает. Тун-ло знает. Говорить еще?..

— Говори до конца.

— Нехороший порядок. Теперь гольд платит за землю. Гольд платит за фанзу, хотя делает ее сам из своего леса и своей глины. Нехороший порядок. Когда платит гольд за фанзу, платит за кан, за окна, за двери, за трубу — везде по-разному. Как русский хозяин хочет. Умирают гольды. Тун-ло думает, это нехорошо. Тун-ло слыхал, теперь порядок будет другой. Что думает сделать Неретин для гольдов?

Иван Кириллыч долго молчал.

— Жмыхов! Ты, говорят, человек не болтливый,— сказал он наконец. — Что расскажу, никому ни-ни...

— Ну-у... Ясное дело... — обиделся Жмыхов.

Неретин прихлопнул дверь в канцелярию, откуда слышались чужие голоса.

— Слушай, Тун-ло. — Он подошел к гольду вплотную и положил ему руку на плечо. — Земли у нас много, правда? Земли всем должно хватить. Ты спрашиваешь, что думает сделать Неретин для гольдов?.. Неретин думает сделать для гольдов, русских, корейцев, китайцев, орочен и всех, кто там еще есть, одинаковый закон. Понял?

От неожиданности Тун-ло встал. Седые веки поднялись выше обычного, и прямо в неретинские (с синью) глаза глянули зеленоватые сухие и пыльные глаза гольда: «Обманывает или правда?» И потому, что был Иван Кириллыч весел, без лукавства, и глаз своих не опустил, подумал Тун-ло: «Может быть, правда».

— Только сразу не выйдет, — сказал Иван Кириллыч. — Я раньше все сразу думал, — теперь научился. Постепенно надо. Сначала арендную плату уменьшим, потом еще что-нибудь... Здорово?..

Смотрел Жмыхов на председателя и думал, что задолго до тех дней, как уменьшится арендная плата, свернут ему сандагоуцы каштановую голову. И было Жмыхову жалко и каштановой председательской головы, и того, что долго еще без этой головы не уменьшится для гольда арендная плата. Но Тун-ло остался доволен.

— Торопиться не надо, — сказал он Неретину.— Когда за зверем ходишь, никогда не торопишься. Один закон

для всех сделать труднее, чем ходить за зверем. Тун-ло знает.

Неретин говорил еще много и радовался тому, что слова идут самые нужные, хорошие и крепкие. Тун-ло молчал, потому что не любил об одном деле одним людям напоминать два раза, а других дел у него сегодня не было.

— Пойдем, старик, — сказал ему Жмыхов, когда Неретин кончил, — порадуй племяшей. Скажи, штоб председателю помогали... Эх, и вода на днях придет, Иван Кириллыч, — многим хлебам капут! Прощевай...

Когда шагали по улице по теплым слюдяным лужам, лопались на кустах заново разбухшие почки.

— Большие дела в волости будут, — вслух размышлял Жмыхов, — все перевернулось, ясное дело.

Шуршали, как мыши, широкие гольдские шаровары. На голове у гольда черная шапочка с нитяной пуговицей на макушке, а что в голове — неизвестно. Ведь гольд мало думает, больше созерцает.

Глава седьмая

1

Вечером того дня била старшего сынишку учительница Баркова.

— Говорила тебе, сукин сын, приходи к обеду... приходи к обеду, выкидыш засохший!..

Учительница Баркова, толстая сибирская баба, так и плывет. Живот у нее большой, отвис, как торба с хлебом, — через неделю четвертым отпрыском разрешится.

Другой сынишка — толстопузый и низколобый, в мать — тоже прутик взял. Весело лупил табуретку:

— Плиходи к обеду, плиходи к обеду...

Ручонки у него короткие и пухлые, никак матери в такт не попадает.

— Не бу...уду!!! — вопил старший.

— Черт бы их взял! — сказал в соседней комнате учитель Барков. Сморщился от внутренней боли и собственного бессилия. Нервно сорвал с гвоздя фуражку, пошел к Копаю на квартиру.

Опасаясь разлива, с копаевских рыбалок свозили под навес лодки. Большие смоленые плоскодонки, как гробы. Под другим навесом блестящие новые бочки для рыбной засолки. Рабочих на копаевских рыбалках восемнадцать человек.

Копай-лавочник на дворе кричал:

— Укладывай ровней!.. Голоштанники!.. Не вместятся под навес лодки-то, половины нет!..

Были у Копая сильные кабаньи челюсти и такой же жирный хозяйственный голос.

«Опять идет, — подумал он с неудовольствием, увидев Баркова, — задолжал уж, и не считай: все равно не заплатит». Однако Барков мог еще понадобиться.

— Здорово, Сергей Исаич, — бросил ему с оттенком приветствия, — проходи в избу.

Было Баркову, как всегда, стыдно идти на чужую водку и хлеб, и, как всегда, подумав с жалобной злобой: «Черт с ним... вместе крали...» — он все-таки пошел.

— Лодки свезти успеем? — спросил Копай у артельщика.

— На чаишко бы надо, — подмигнул тот.

«Я бы вам дал чаишко», — подумал Копай. Грузно вздохнул.

— Скажи, четвертную поставлю,— уронил со сдержанным неудовольствием. И снова подумал: «Теперь с человеком добрым нужно быть». Насупил брови, пошел в избу.

Учитель Сергей Барков пьянствовал у Копая-лавочника всю ночь.

Ложась спать, учительница долго крестилась. «Опять нет», — думала про мужа. Хотелось драться и плакать. Засыпая, решила с завтрашнего дня приглашать на ночь повитуху. Конечно, через неделю должно, а не ровен час... кто ж его знает.

2

Снился ночью Барковой сон. Даже не сон, а так — что-то непонятное. Будто бежала от чего-то страшного и не могла убежать. Ноги путались в густой засохшей осоке, а младший сынишка свободно ползал по траве и убеждал ее приходить к обеду. Она сама сознавала, что приходить надо, потому что через неделю должна родить.

Но осока не пускала, а страшное неумолимо надвигалось. Она начинала сильнее перебирать ногами, но они вязли в ил, и был он странно сухой, как песок. «Ведь это песок, ведь это песок...» — уверяла она сына. Сын заплакал. «Почему он плачет? Ведь я побила старшего», — подумала Баркова... И тогда страшное налетело. Баркова закричала, или, быть может, ей так показалось, потому что крика не было слышно, а был переполнявший душу грохот, рев и треск чего-то другого — большого и неудержимого. Она проснулась с сильным сердцебиением, но сон не прекратился. Где-то за школой с громовым гулом и скрежетом перемалывали воду гигантские жернова. Школьное здание тряслось, как на телеге, и оконные стекла жалобно дребезжали. За окнами в белесой утренней мути надрывно лаяли сандагоуские собаки. Не по-обычному кричали третьи петухи, и где-то далеко истошно, как на убое, мычали коровы.

Восьмилетняя дочь Барковой тоже проснулась. Она не понимала, что происходит, и растерянно мигала белыми ресничками. Обоих сыновей уже не было в комнате.

«Вода пришла», — сообразила Баркова, окончательно просыпаясь. Сразу испугалась за детей и почему-то больше всего за дочь, хотя дочь была в комнате. Торопливо перекрестилась.

— Сонька... Соня, — позвала ласковым шепотом. — Проснись, детка, родная...

— Я не сплю... Чевой-то это?.. Я боюсь...

— Не бойся, это Улахэ разлилась. Беги скорей на речку, тащи ребят — неравно утонут...

И, приходя в обычное свое настроение, она закричала, раздражаясь от собственного голоса:

— Ну-у! Беги, когда говорят!.. Вот сукины дети, сколько раз говорила, и тот кобель, никогда дома не ночует... Живей, живей, копу-уша!..

3

Накинув капот, Баркова убрала постели. Позолоченный образок хмуро и как будто укоризненно смотрел из темноты на ее нечесаные волосы, выпятившийся живот и продранные зеленые шлепанцы на ногах, вывезенные еще из Сибири. Она с опаской влезла на табуретку и,

прислушиваясь по привычке к неуверенным ласковым толчкам внутри, зажгла лампадку. Дрожащее пламя было желтее лица на образке.

«Батюшки! — спохватилась Баркова, — капусту-то в погребе как есть всю затопит!» С неожиданной для ее положения легкостью она соскочила с табуретки и зачастила отекшими ногами по некрашеному полу, а потом по заросшему загаженным одуванчиком дворику.

Из погреба пахнуло кислой и сырой плесенью и отдающей гнилым деревом водой. Вода выступила из земли с началом дождей и прибывала с каждым днем. Баркова спустилась немного по склизким ступенькам и, нащупав в полутьме торчащую из воды кадушку, попыталась ее поднять. Кадушка казалась не тяжелой. Баркова потянула сильнее и, поскользнувшись, въехала ногами в воду, больно ударившись о ступеньки поясницей. В то же мгновение она почувствовала, как острая режущая боль пронизала тело и по ногам с теплым щекотом побежала кровь.

Баркова не помнила, как добралась до спальни, но через несколько минут очнулась уже на постели. Были, как всегда, невыносимы боли, сокращалось в страшных потугах распустившееся в жиру тело, и, как всегда, казалось это совсем иным, не похожим на прошлые роды, полным новых, неиспытанно мучительных ощущений.

Баркова всегда проклинала жизнь. Но, как и все люди этого рода, она боялась смерти. Теперь ей показалось, что она умирает, и ее жалобные стоны слились в один вопль дикого, животного ужаса...

В таком положении застала ее прибежавшая с реки и не нашедшая там ребят Сонька.

4

Непонятный грохот разбудил фельдшерицу Минаеву. Был он слишком тревожен и гулок, фельдшерица заволновалась.

— Власовна... — позвала слабым голосом аптечную служительницу.

Никто не отозвался. Она чувствовала во всем теле большую слабость. Нервы тонко воспринимали всякую мелочь, и мелочь эта с болезненной четкостью отпечатыва-

лась в мозгу. Мысли тянулись с такой же болезненной ясностью. Но вместе с тем Минаева чувствовала, как где-то глубоко под ними тихо и скрытно шевелится глухая и одинокая, ушедшая в себя тоска.

Тоска Минаевой имела свои причины. Первая — была болезнь. К опухолям и болям в боку и пояснице присоединился сухой и колкий кашель, не дававший спать по ночам. Это было уже не воспаление почек, а что-то другое. Сердце то колотилось, как пойманный в силок снегирь, то, казалось, совсем останавливалось и после жуткой паузы начинало медленно перебирать заржавелыми клапанами. Температура поднималась временами до того, что фельдшерица теряла сознание и начинала бредить, то падала настолько, что с трудом прощупывался пульс, и тело, теряя свой вес и размеры, испытывало необычную, похожую на смерть слабость.

И оттого, что слабость все увеличивалась, болезнь развивалась и неоткуда было ожидать помощи, Минаева пришла к убеждению, что она больше никогда не встанет. Это была вторая причина ее тоски.

И третья причина была любовь. Минаевой казалось, что искренне и горячо она любит впервые. Этот человек не походил на тех, кем она интересовалась раньше. Его любовь была странно неотделима от всего, чем он занимался с утра до вечера — каждый день. И, может быть, потому Минаева чувствовала себя с ним неуверенно, а без него одиноко. Последнее время Неретин заходил реже, а несколько дней уже и совсем не заглядывал. Она не могла забыть, как ее бросили одну с ребенком на руках и она принуждена была укрыться от алчных и от укоризненных взоров в далекую Улахинскую долину. Это тоже была одна из причин ее тоски. Все это было очень просто и обыкновенно.

5

Минаева услыхала детский плач и шарканье босых ног по полу.

— Кто там?.. — спросила она как могла громко.

В комнату, всхлипывая, вбежала в нижней рубашке растрепанная дочь Барковой. Ее мелкие глаза от ужаса разлезались в стороны, из них по давно не мытому лицу бежали одна за другой грязные слезинки.

— Мамка умирает... родить не может... Тетя, милая, помоги-и!..

Из каждой трещинки сломавшегося детского голоса звучала мольба страдающего взрослого человека. Минаева никогда еще не видела таких испуганных глаз и не слыхала такой отчаянной мольбы из детских уст.

— Давно родит? — спросила ласково.

— Не зна-аю, я ничего не знаю... Тетенька, милая, помоги-и...

Сонька упала на колени и, уткнувшись носом в одеяло в ногах у фельдшерицы, забилась в истерике.

Минаева попыталась встать. Острое колотье в боку бросило ее обратно в подушку. Она сжала губы, чтобы не закричать, и, держась за спинки стула и кровати, все-таки встала. Пол уходил куда-то из-под ног, и комната в красных кругах плыла перед глазами.

— Беги, позови к маме бабку Наумовну, — сказала она Соньке.

С трудом нащупала туфли и сунула в них трясущиеся ноги. Не заботясь о том, что может встретить людей, натянула прямо на нижнюю рубашку тонкий больничный халат. Вынула из сундука щипцы и марлю и, хватаясь свободной рукой за встречные предметы, пошла.

На улице она совсем не чувствовала своего тела. Ей казалось, что она плывет по воздуху. Она знала только, что ей нельзя падать, потому что больше не хватит сил встать. В сыром тумане было холодно голым ногам. Она подумала, что простудится, но тотчас же решила, что теперь все равно. Почему «все равно», она не знала, но эта мысль всецело овладела ею...

— Теперь... все равно... — несколько раз повторила она и радостно улыбнулась чему-то хорошему внутри себя.

Жена учителя лежала в том же положении, в каком ее увидела Сонька. Она уже не могла кричать и тяжело хрипела, корчась на одеяле.

Неизвестно, где взяла сил изнуренная болезнью фельдшерица, но, когда все кончилось, она исчерпала последнее, что имела. Мутная пелена заволокла ей мозг, надвинулась на глаза. Она почувствовала, что падает, и схватилась за что-то руками. Но это был окровавленный край барковского капота. Он потянулся вместе с ней, и, потеряв последние остатки сознания, Минаева медленно опустилась на пол.

В полутемной комнате раздался крик только что народившегося человека. Новый человек пришел из другого мира. Ему не было никакого дела ни до разлива, ни до измученной матери, ни до свалившейся с ног Минаевой, и крик его был беспомощен, но требователен.

Глава восьмая

1

Затор в верховьях Улахэ прорвался. Вода пришла в сандагоуские поля полуторасаженным мутно-оранжевым валом. Разнесла в щепки прибрежные фанзушки, проредила волостные забоки, разметала по полешку дровяные заготовки. Она наполнила долину желтопенным водостремом от выгоревших на западе сопок до верхнего обрыва, что тянулся за Солдаткиным лугом. Сандагоуская забока гнулась по течению, как трава, и столетние ясени, впившись мозолистыми корнями в землю, злобно тряслись и ревели под водяным напором.

Над взбаламученным селом стоял редкий предутренний туман. Лесовики с руганью поспешно сматывали палатки. Вода грозила затопить луг. Разбуженный народ бежал к берегу. Лошади, выломав двери сараев, с неистовым ржанием метались по улицам. Где-то беспомощно и дико плакали ребята, и в общем разноголосом реве плач их был странно тонок и жалобен.

Пока разошелся туман, весь Улахинский берег, отступивший к самому селу, запестрел людьми. Больше всего собралось у того места, где дорога в забоку, миновав последнюю избу, изчезла под водой. В колышащейся толпе, как всегда, нарочито громко голосили бабы. Немного в стороне отдельной кучкой стояли лавочник Копай, мельник Вавила, Барков и таксатор Вахович. Они еще не совсем протрезвились. Таксатор принес зачем-то подзорную трубу, хотя перед самым носом был лес, не дававший смотреть далеко.

Жмыхов поставил у воды вешки — узнать, прибывает ли вода или нет. Вода прибывала. Он подошел к группе стариков. Лица их были покорны и бледны.

— Хлеба, считай, подчистую, — растерянно говорил сельский председатель.

— Шут с ними, с хлебами! — рассердился Жмыхов. — Стоишь тут и болтаешь. Индюк — ясное дело. Полдеревни в поле — вот в чем задача...

— А ты что за указ?.. — обиделся председатель.— Полдеревни в по-оле!.. Сами знаем. Утопли все давно, во как. Нам в петлю лезти, что ли? У меня, может, у самого баба тамо-ка...

Жмыхов насупился.

— Глядите!.. Кабан!.. Дикой!.. — закричал кто-то.

Из леса по направлению к берегу, играя на солнце мокрой щетиной, плыл похожий на громадного ежа дикий кабан. Его сильно сносило, но он уверенно рассекал воду мощной грудью, и со своей клыкастой, вытянувшейся вперед головой, прижатыми ушами и горбатой щетинистой спиной казался людям странным, неведомо кем пущенным снарядом.

— Эй, эй!.. Чух!.. Чух!..

В кабана полетели камни и палки, но ему уже не было выбора. Кто-то побежал за ружьем. Кабан выскочил на берег. Мутноглазый парень без шапки хотел ударить его палкой. Кабан фыркнул и, свалив парня с ног, ринулся в толпу.

— У... у... ух!.. Ай-яй!..

Толпа раздалась, и разъяренный зверь с хрюканьем промчался мимо. Несколько человек с визгом понеслись вдогонку.

Жмыхов размышлял: «Фанзу Кима вода не достанет, фанзу у Тигровой пади — тоже, Неретину заимку — тоже... Холмов в пади много, на холмах лепятся люди, как мыши. Часов через пять многие холмы зальет... Надо перевозить людей с холмов к обеим фанзам и на Неретину заимку... В деревню возить далеко...»

— Стой-ка, сынок! — ухватил он под руку бежавшего мимо Гаврюшку. — Найди Каню, заложите кобылу, везите сюда лодку. Мою лодку. Знаешь?.. «Часа два помедлить — опоздаем. Многие потонут, ясное дело... Слякоть народ — тьфу!..»

2

Раздвинув толпу, черствой деловитой походкой прошел на берег Неретин.

— Слушай, Иван Кириллыч, — сказал Жмыхов, — в поле живого народа на холмах, как мышей в гнездах. Придумать бы што, а?

— Товарищи!.. — закричал Неретин во весь голос.

Людские головы вопросительно посмотрели в его сторону. Он вскочил на пень и, чувствуя какую-то необычную легкость во всем теле, раздельно и резко бросил два слова:

— Лодки давайте!..

Ответные голоса прозвучали растерянно.

— Каки наши лодки?.. Долбянки, душегубки...

— Нельзя по такой воде — верная гибель...

И все заволновались, виновато замахали руками.

— Нельзя... конечно... и рады бы...

— Где уж...

— Душегубки ведь...

Из толпы выскочил, даже не выскочил, а вышматнулся, как кусок звериного мяса из-под тигровой лапы, горбатый крепкорукий Антон Горовой. Шрам на его дрожащей щеке казался багровым ремнем, рычавший голос его был не человечьим, а звериным.

— Лодок нет?! У Копая двадцать шесть лодок! На-кось выкуси, — вон он смеется!..

Как по команде, все головы повернулись туда, куда указал трясущийся морщинистый палец Горового. На горке, криво улыбаясь, стоял лавочник Копай, а возле него побледневшие Барков, таксатор и мельник.

— Вот верно, — сказал чей-то удивительно спокойный голос. Стоящей в толпе Марине показалось, что это был голос Дегтярева.

Головы снова повернулись к Неретину. Было в разноцветных мужичьих глазах странное любопытство и еще что-то другое. В это мгновение все происходящее в последние недели представилось Неретину в виде тяжелой неповоротливой цепи. Было в ней одно звено, которое нужно было нащупать и крепко за него ухватиться, и кто сумел бы это сделать, потащил бы за собой всю цепь. Это звено играло сейчас своим чистым железным цветом перед синими неретинскими глазами. Он соскочил с пня. Как бы угадывая его мысли, толпа разделилась на две части, прочистив к копаевской группе прямую, обсаженную людьми дорогу. По ней, вычеканивая каждый шаг, Неретин подошел к лавочнику.

— Гражданин Копай, — сказал спокойно, немного даже весело, — ваши лодки мобилизуются на сегодняшний день...

— То ись как мобилизуются? — глухо проворчал лавочник. — Людей спасти нужно — верно, но ведь лодки-то мои. Можно бы было и попросить. А если, как с чужим добром... вообще мобилизуются, то я могу и не дать...

— Что? — переспросил почему-то Неретин, хотя слышал все до единого слова.

— Никанор Иванович! Может, как для спасения человеческих жизней... — робко высунулся Барков.

Но Копаю в вопросе Неретина почудилась нерешительность. Впиваясь в лицо председателя заплывшими невидящими глазами, он произнес:

— Пусть народ лодки просит... Тебе я их не дам... понял?..

Неретин выхватил из-под рубахи наган и, приставив его чуть ли не к самому лбу лавочника, сказал, отсекая кремнями зубов каждое слово:

— Гражданин Копай! За неподчинение революционной власти я вас арестую.

От неожиданности таксатор уронил подзорную трубу. Лицо Копая стало матово-бледным:

— Я...

Барков не выдержал и пустился бежать, цепляясь выцветшей рубахой за ореховые кусты.

— Тю-у... Тю-у... — закричали ему вслед как-то совсем беззлобно. Кто-то бросил вдогонку палкой.

Неретин вызвал десятских.

— Отведите в карцер.

— Руки связать али нет? — робко спросил один из них. Копай приходился ему кумом, и десятский не знал, что теперь делать.

— Натурально, связать, — вывернулся откуда-то Харитон Кислый. — Мы ихнего брата очень даже прекрасно знаем.

И, забыв про спадающие без поддержки штаны, он собственным ремешком из оленьей кожи скрутил лавочнику руки назад. Копая увели.

3

Неретин отрядил людей за лодками и стал вызывать охотников-гребцов. При такой воде в каждую лодку нужно было не менее четырех человек. Большие рыбачьи плоско-

лодки могли, помимо гребцов, принимать по восемь человек пассажиров.

Первую — жмыховскую — лодку привезла Каня. Был у Кани сегодня какой-то особенно недевичий, мужественный вид. И, должно быть, глядя на нее, решил спасать глупых русских людей старый Тун-ло.

«Кого бы взять четвертого?» — подумал Жмыхов.

Когда спускали лодку к воде, подошел Антон Дегтярев. Он видел сердито пенящуюся у берега воду и почувствовал незнакомую до сих пор боязнь за женщину.

— Ты бы дочку оставил, — сказал Жмыхову, — давай я вместо нее!

— Садись и ты, а дочка не помешает.

Антон разулся, на случай если придется плавать, и помог стащить лодку. Вода понесла корму, но они удержали суденышко за нос. Народ сдвинулся ближе посмотреть на первую четверку. Каня прошла к рулю. Жмыхов с Дегтяревым сели на весла. Тун-ло встал на носу и легким ударом шеста оттолкнулся от берега. На берегу сняли шапки и истово закрестились. В первый момент лодка завертелась и понеслась книзу. Бабы жалобно запричитали. Но гребцы тотчас же выправились и несколькими ударами весел подвинулись выше. Держась носом накось течению, под мерными взмахами бесперых крыльев плоскодонка поплыла к забоке.

— Не плачь, старуха! — сказал какой-то бабе отец Тимофей. — Кабы природа сильней людей была, здесь на берегу не мы бы стояли, а бурьян рос, дура!

Стали подвозить постепенно и копаевские лодки. Добровольцы делились на четверки и спускали плоскодонки к воде. Однако ни одно суденышко больше не отплывало. Гребцы выжидательно толкались на берегу. Неретин видел, как первая лодка обогнула торчащее из воды сломанное дерево и через несколько секунд скрылась в лесу.

«Чего ж эти не едут?» — подумал с неудовольствием.

— Чего ждете?

На берегу неловко замялись.

«Думают: мы-то поедем, а ты как?» — сообразил Неретин.

— Ну, друже, — сказал он сельскому председателю, — ты тут распорядишься... Эй, кто со мной?

Он оглянулся, стараясь увидеть отца. Они уже с неделю не разговаривали, и Неретину хотелось на всякий случай проститься. Подошли Харитон и Горовой.

— Едем, что ли?

Кислый был мрачен. Он только что отыскивал Марину и не нашел, а Марина плакала в кустах по Дегтяреве.

— Обождите меня! — закричал отец Тимофей. Он скинул рваный подрясник, и вместе с подрясником ушел от него весь его библейский запах. Был отец Тимофей обыкновенный чернобородый и быстроглазый мужик Полтавской губернии — шутник, философ и баштанник.

Прихрамывая на ногу, подбежал старый Нерета. Взглянул на сына и не сообразил, что сказать.

— Сапоги-то... сбуй!.. — промолвил неожиданно. Губы его кривились, и странно дрожала легкая и светлая борода. «Подумает, сапог жалко...» — промелькнуло в седой голове. Но сын понял, как нужно, и разулся.

— Прощай! — сказал отцу.

Нерета не решился его перекрестить.

Когда садились на гладко вытесанные ильмовые сиденья, прибежала из села баба, крича что-то неслышное в лодке из-за речного шума. На берегу заволновались.

— Учителя ищут...

— Кого? Учителя? Убег...

— Родила? Да ну-у?

— ...Вот поди ж ты...

— Хвершалиха без памяти у койки, все руки в крове!

Неретин вздрогнул.

— Стой! — удержал он Харитона, собиравшегося оттолкнуть лодку. — В чем дело? — спросил у баб изменившимся голосом.

Они затараторили наперерыв:

— Учительша родила ране срока... Примала Анна Григорьевна ребенка-то... Сама, вишь, больная... Лежит без памяти...

Серый напористый взгляд Харитона удивленно уперся в побледневшее неретинское лицо. Мужики в лодках смотрели на председателя испытующе, как змеи...

— Отчаливай! — крикнул Неретин резко.

Лодка рванулась, а за ней, раскачиваясь, как утки, поползли другие.

— Спаси вас бог! — закричали на берегу.

— Сами спасемся, — проворчал под нос Горовой.

Неретин быстро заработал веслом. Почему-то так же растерянно и просто, как у всех, трепыхалась на ветру его серая солдатская рубаха.

4

Под июньским солнцем жаркими расплавленными рудами горит полая вода. Горит и играет.

В тайге у горных ключей лес бывает выше и гуще. Смотреть издалека — темнеют ключи на сопочной сини густыми зеленоватыми жилами. В их верховьях прячется утром туман — клочковатый и редкий, как вербовый пух.

Кровавыми струпьями вздувались шеи у людей в лодках. Мокли от пота рубахи, с тяжелым хрипящим свистом вырывались дыхания из напряженных грудей. Протискиваясь меж деревьев, темно-зелеными гребнями вздымалась в забоке вода. В гребнях, неуловимо для глаза, вертелись пожелтевшие листья, сучья, пестрые растрепанные мхи. Хватаясь руками за ветки, Тун-ло и Жмыхов медленно проталкивали лодку между стволами. Перед глазами Кани качалась широкая спина Дегтярева. Под его тонкой рубахой уверенно и сильно ходили мускулистые, как у лошади, лопатки.

На одной из полян, уцепившись канатом за дерево, они отдохнули. Тун-ло закурил.

— Устала? — спросил Дегтярев у Кани.

— А ты, поди, нет?.. — ответила она насмешливо.

Он схватил ее за ул и легонько потащил к себе.

— Смотри сброшу.

— Не балуй! — обрезала она сурово, вырывая ногу.

— Дочка у тебя с уросом, — сказал Антон Жмыхову.

Каня сердито метнула на него глазом.

— Ну и девка, ей-богу!.. — восхитился он искренне.

Были у этих людей на ладонях твердые, как железные заклепки, мозоли. Когда хватались руками за чертово дерево, не лезли в кожу шипы.

Спустя полчаса перебрались через гребнистую Улахинскую матеру. Раздвинув ивняк, высунулись на водную гладь долины. Здесь вода шла много тише и шест доставал до дна. Торчали из воды разбросанные по пади рощицы, перелески, холмы, и на холмах густо, как вши, копошились люди.

На ближайшем холме замахали руками. Закричали о чем-то радостно и бестолково. Народ схлынул на одну сторону к лодке. Задние, обезумев, полезли на передних. Сухую и растрепанную бабу столкнули ненароком в воду. Грязная юбка вздулась пузырем, и баба зашлепала руками по воде, как кутенок. Ей подали сапку и, сочно ругаясь, вытащили обратно.

Сажени полторы не доезжая берега, Жмыхов задержался.

— Эй!.. Осади назад! — крикнул в толпу. — Много лодок идет — всех успеем!.. Эй! Вам говорят, што ли!

Никто не слушался.

— Кому-нибудь слезти придется — порядок навести.

— Давай я! — вызвался Дегтярев.

Плоскодонку подвинули ближе. Оттолкнувшись ногами от днища, Антон прыгнул прямо в людскую кучу. Суденышко рванулось в сторону и закачалось.

— Осади назад!.. Раздайся!.. — закричал Антон, радуясь случаю расправить глотку. И, упираясь в грудь толстой бабе, совсем весело: — Задницей нажимай, тетка! Эх, вы-ы!

Ему удалось оттиснуть толпу немного назад. Лодка причалила. Бестолково, по-овечьи копошились на маленьком островке люди. И потому, когда отсчитывал Дегтярев восемь человек в лодку, казалось Кане, что отбирает он из собственного стада испуганно блеющих овец. Потный волосатый мужик старался из середины протиснуться к лодке. Он грозил Дегтяреву кулаком и кричал, обливая слюной сивую бороду:

— Куда баб отбираешь?.. Мужиков в перву очередь бери!.. Хлеба пропали, ежели мужики перетонут! С баб какà корысть?

— Вот мы тебя последним, — мальчишески злорадствовал Дегтярев, — а то и совсем бросим. Поорешь петухом — глотка здоровая.

Из ивняка одна за другой выскакивали в долину остальные лодки. На передней в солдатской форме Неретин.

— Поехали! — командовал Антон, перебравшись на свое место. — Ну-ка, девка таежная, приналяжь! — Веселыми полевыми вьюнами голубели у парня глаза, и от глаз тех, должно быть, играло голубем Канино сердце.

И снова вздувались у людей шеи, мокли рубахи, трещали в руках суставы, и снова горела вокруг лодок, переливалась жаркими расплавленными руками полая вода. Был весь день беспрерывной сменой людей и воды. От той смены рябило в глазах. От весел саднили плечи.

Когда поздно ночью причалили на отдых к фанзе у Тигровой пади, сказал Жмыхов:

— Уснем, ядрена вошь! Потому заслужили. Ясное дело.

И старый Тун-ло, вытряхнув в трубку остатки табаку, тоже сказал два слова — два слова за весь день! — раздельно и веско:

— Большая... работа...

Фанза набита людьми, как гольянами отмель. Спали и на воле, около костров. Огни виляли на темных водяных струях языками расплавленной меди. Заливала их синеперая рябь волн — не могла залить.

Под черетяной крышей, в шуршащей загадочной теми крепко обхватил Антон Каню. И, чувствуя, как взыграло под рукой густыми таежными соками тело, о длинные Канины ресницы ожег два раза губы... А когда рванулась, был он уже далеко и из темноты кричал лукавым молодым баском:

— Не бойсь, девка! Не малая уж! Замуж выдади-им!

Весел и легок был смех. Бежал по струям, не тонул, обгонял воду.

5

Более суток, заглушая боль, метался Неретин по разгульным улахинским водам.

Более суток резал распаренный воздух его четкий солдатский голос, и все это время обливались потом, не щадили сил остальные гребцы. Звездным вечером Петрова дня свезли на незатопленную заимку деда Нереты последнюю партию. Мертвецами упали в колючее прошлогоднее сено, законопатив ржавые щели омшаника богатырским храпом.

В полночь Неретин вскочил. Усталой сонной походкой пошел к навесу. Вытащил старую дедову долбянку и, превозмогая ломоту в костях, спустил ее на воду. Выбрал самое легкое и крепкое весло. Сильно стиснул зубы, толкнул веслом от берега и, тихо качаясь на волнах, поплыл книзу.

Загадочно шипели под лодкой лиловые воды. Широкими плавными струями бежали за кормой. В их темной глубине веселыми зрачками огней мигали звезды. И с каждым взмахом быстрели у Неретина руки, сгонялась с мышц усталая ржавчина, и мысль — перелетная птица — бежала далеко вперед, через разъедаемые водою поля.

Не помнил, как обогнул забоку у речного колена и вылетел на бурливую стрежу. Не помнил, как все ниже и ниже сносило челнок, все дальше и дальше от цели — в черный пролом улахинских сопок. Очнулся, когда заскрипела под днищем земля и злобный собачий лай понесся с берега. Быстро сообразил: «Хутор Нагибы». Проковылял несколько сажен по воде.

— Пошла вон! — прогнал собаку суровым окриком.

Долго и настойчиво барабанил в дверь.

— Кой леший ломится? — глухо прошипело за дверью.

— Открой, свои!

— Хто свои?

— Неретин.

Сыро закашляла дверь, и из темноты сеней вывалился на порог черный мохнатый ком получеловечьего, полузвериного мяса.

— Какой водой али ветром? — хрипнуло из беззубой ямы. В густой медвежьей поросли дико вращались желтоватые белки.

— Водой, мил дед, водой... Дай, друже, лошадь. Завтра с племянником пришлю.

— Куда без дороги на ночь глядя?.. Ночуй. Чаю согрею. С медом, елова шишка, с медом...

— Не могу, ей-богу...

— А то ночуй?

— Нет, нет. Не могу.

— Твое дело. Кому бы другому, а тебе дам. Дам, дам...

Седлая лошадь, Нагиба долго возился в сарае.

— Прощай, елова шишка, — сказал напутственно. И хотя Неретин уже не мог его слышать, долго хрипел вослед: — Держись, мил друг, осинником. Осинником держись, осинником...

6

Таяли над сопками звезды. Хлестал по ногам свежий росистый осинник. Все вперед и вперед, неумело прижавшись к луке седла, рвался синеглазый Неретин. Ходили

под ногами крутые лошадиные бока. На них мешалась с росой липкая, мыльная пена. И ядреный лошадиный фырк, оставаясь позади, долго бродил по кустам — не гас.

Когда забрезжил рассвет, заиграли пастухи, бабы погнали на пастьбу к сопкам коров, ворвался Неретин в село. Серым комком на исхлестанном лошадином крупе промельтешил по улицам и у крашеного аптечного крыльца, вспугнув полусонных кур, круто осадил лошадь.

Аптечная служительница в калитке протяжно звала теленка:

— Тялу-ушка, тялу-ушка!.. Сех... се-ох... се-ох!.. Иди сюда, про-орва!..

Увидела Неретина, метнулась к нему и зачастила быстро певучим бабьим бисером:

— Иван Кириллыч, батюшка, родно-ой... Скончалась Григорьевна-то, скончалась... ночью вчерась, роди-имый...

В охотку побежали из глаз дешевые старушечьи слезы. Потекли не нужные никому по желтой морщинистой мякоти.

Глава девятая

1

В те дни и ночи непривычно быстро сменяли друг друга дела. А сами дни и ночи бежали, может быть, быстрее дел.

Одной такой ночью народился на многоглазом небе сладкоросый, травяной и ячменный месяц июль. Был он узкий, светло-желтый и сочный, как тоненький ломтик китайской дыни. И, должно быть, к его крестинам вошла в берега Улахэ.

Жарким июльским днем, спустившись ниже речного колена, вытаскивали мужики из-под гальки толстый стальной трос от парома. А вечером прискакала из Спасск-Приморска первая почта и привезла Неретину писульку. Были у почтаря черные от спелой черемухи губы. После воды черемуха зрела буйная и густая.

В правлении заседало волостное земство.

Твердый и угловатый почерк письма разобрал Неретин в перерыве.

«...События в Питере, как видишь, развиваются. Наш комитет раскололся. Меньшевики теперь отдельно, мы

отдельно... В Спасск-Приморске создалась наша группа. Съезди, познакомься...»

Подписано было четко и просто, без закорючек: «Продай-Вода».

2

Дома старый Нерета починял снохам лапти. Руки привычно вдевали лыко, а голова думала совсем о другом: об убытках от разлива, о том, что плохо роятся пчелы, о больном старшем внуке, об единственном оставшемся в живых сыне. Когда думал о сыне, впервые рождалось в душе любовное, горделивое чувство. И потому ухватил Нерета бежавшего мимо трехлетнего внука за пузо и нарочито важно сказал ему:

— Иван-то, дядя твой, заседает... — Тона, однако, не выдержал и, щелкнув парнишку в пуп, весело крикнул: — Эх, ты-ы, пузырь!..

Иван вернулся поздно. Был он сухой и строгий в последние дни и, разговаривая с людьми, уже не бросался веселыми: «Понял?.. понятно?..» Хрустел у Ивана в кармане свежий, только что написанный секретарем земской управы черновик протокола.

Слушали	Постановили
1. О мероприятиях по борбе с будущими голодающими.	У ково остался хлеб сбору 14 году и ранее свести в обчественные амбары употребить в засев будущево года. Мельницу и хлеб гражданина Шипова Вавилы канхисковать. Лавочку Капая, а также денежные суммы канхисковать. На слободные коперативные и кредитнава таварищества деньги, а также сумы Капая снарядить абоз за хлебом в Спасское.
2. Ково послать старшим абоза.	Направить приседателя Неретенку Ивана по личному желанию онова самово.

Дед Нерета бросил лапти.

— Каки, детка, новости будут? — спросил, ухмыляясь.

Иван в упор посмотрел на отца. Сурово сказал:

— Хлеб ваш четырнадцатого года и ранее — в общественный амбар... Земство постановило.

— То ись как? — переспросил дед. — Мой самообстоятельно, лиже-ча всех?

— Всех, у кого есть. Завтра сход будет. Утверждать постановление для нашего села.

Стоял над дедом не сын, а председатель земской управы. Сандагоуская власть. Когда чувствует власть силу, вид у нее бывает совсем особенный. «А раньше говорил, моего не заберут», — подумал Нерета с легкой горечью.

Ложась спать, он долго думал: ждать ему сходки или свезти хлеб утром. Так и уснул, не решив.

3

Ночью на душистом сеновале темно и пусто.

Давил Неретина прогнивший тес крыши, не давал уснуть. И звонкое июльское небо в щелях не утешало, не грело. Вместо неба смотрели на председателя с тоской и любовью большие карие глаза фельдшерицы.

И от глаз тех, от собственной тоски и любви — без сна и без слез метался на сеновале Неретин, одинокий сизоперый голубь...

4

Мысли деда Нереты пришли в полную ясность, когда, выглянув утром в окно, увидел играющих во дворе вихрастых белоголовых внучат. Двое, извиваясь на земле, изображали утопающих. Остальные, забравшись на грязные свиные корыта, вытаскивали первых шестами.

— Играют, — сказал Нерета любовно. — А мне чо, более других надо, чо ли?.. Лишь бы им хватило...

Нахлобучил по-хозяйски шапку и вышел во двор.

— Степка! Тащи ключи от амбаров!.. А вы телегу снарядите. Живо-о! Будя рубахи мазать.

В амбаре сухо и душно. В просторных закромах золотится пшеница. Хлеб у Нереты с тринадцатого года.

Копнул ржавой рукой самое старое зерно. Чуть слышно потянуло прелью.

— Вот оно чо делается, а?.. — И решительным гребком наполнил полнозерной крупой первый совок.

— Ровней держи мешок, детка! Батька тебя твой так учил, чо ли?..

Из потревоженного хлеба тянулась под крышу легкая ароматная пыль.

А через час, вздуваясь туго набитыми мешками, поползла к общественному амбару первая подвода с хлебом.

Золотистый играл в проулках июль-суховей. Резвился по крышам — душистый и жаркий. Тем золотистым июлем зрела за Иваном Неретиным неуемная мужицкая сила. Зрела потому, что кончиком земляной души — может быть, совсем по-особенному, по-своему, по-мужичьи, — но понял старый Нерета, какая задача стоит перед его сыном.

5

На сходке длиннобородый сельский председатель говорил:

— Придется обсудить спервоначалу нащет выгону. Потому, Никита Гудок жалился...

— Чево там Никита Гудок! — кричали мужики. — Все знаем!.. Корова с пастьбы, а у ней вымя пустое. Не выгон, а горе!..

— Пасту-ух, мать его за ногу! Не насчет выгону, а пастуха к хренам!.. Так судим.

Шевелил длинную председателеву бороду жаркий июльский ветер. Председатель жмурил от солнца глаза и говорил, смеясь:

— Цыц, ну-у!.. Эта спервоначалу. Потом имеется постановление волостного земства насчет того, какà, к примеру, помочь будет в смысле голода. — Он покосился на сидящего рядом Неретина. — На этот предмет пояснит Иван Кириллыч, а также в смысле лавки и мельницы...

На сходке, в сторонке у орехового куста, стоял Жмыхов.

— Много тут разговоров,— сказал Кане, зевая,— большое село, ясное дело.

Посмотрела Каня в желтозубый отцовский рот и тоже зевнула.

— Домой нам, дочка, пора — вот што...

Рядом с Каней — Дегтярев. У Дегтярева голубой глаз, цвета дальних сопок. Такой глаз не палит, не жжет, а тянет, как омут. И потому сказала Каня отцу:

— Вода еще велика. Коли омута большие, не больно уедешь.

Жмыхов увидел в толпе дырявую поповскую шляпу и, раздвигая мужиков большим костистым локтем, полез к отцу Тимофею.

— Ладно, — говорил председатель, — ежели Микиту уволим, кто скот будет пасти?

— Назначить Горового Антошку, — решительно настаивал Евстафий Верещак.

— Ох, быстрый какой! — рассердился Горовой. — Чай, я косец, а не пастух... Вот ежели у тебя маслобойню отнять, дак ты, окромя в пастухи, никуды не способен!..

— Хо-хо-хо... Хе-хе... — дробно и стукотливо, как телеги на деревянном ходу, затарахтели мужики. — Што верно, то верно... Поддел...

6

Было Кане на сходке скучно. Вспомнилась ей далекая красавица Нота. Резвятся там на песчаных отмелях серебряные гольяны. В ключевых устьях у карчей настороженно спят пятнистожабрые лини. Медленно помахивают густоперыми хвостами.

Ее потянуло домой. Она сильно выгнулась, расправляя члены, и снова зевнула.

— Пойдем... куда-либо... — тихо сказал Дегтярев.

— Пойдем, — промолвила она, почти не думая.

Они пошли рядом. Рука Дегтярева выше локтя касалась ее плеча, но Каня не отстранялась.

— Болтают, болтают... Ну их к лешему, — говорил Антон добродушно. — А ты, наоборот, молчишь. Скажи, отчего глаза косые?

— В мать, — ответила она коротко.

— В какую такую мать? Матери разные бывают. Твоя, как видно, корейка?..

— Нет, русская. Это така порода — забайкальская.

— Вон оно што-о!.. — обрадовался Антон неизвестно чему. — А я полагал, што корейка...

Остывали на Каниных веках вторую неделю и не могли остыть два жарких дегтяревских поцелуя. Вспоминая их, вздымалась на дыбы наливная девичья грудь и в монгольских глазах бродило, разбрасывая искры, молодое вино — черного таежного винограда. Пил вино Дегтярев правым голубым глазом, пьянел от каждого глотка, и не утолялась, а росла жажда.

— Пойдем реку смотреть, — сказал Кане чужим голосом.

Она чуть вздрогнула и остановилась. Непонятно заострились и сузились глаза. И верный друг — инстинкт, что ходит по тайге со всяким человеком и зверем, сказал ей слово, как уколол иглой: «Опасно...»

Когда чует таежный человек опасность, — не бежит. Опасность сзади страшнее, чем спереди.

— Пойдем! — сказала Каня.

Они свернули в забоку и молча зашагали по твердой высохшей после разлива дороге. С боков медленно выправлялась, вылезала из-под песчаных и галечных наносов июльская густосочная трава. Трещали неумолчно под листом желтобрюхие циркачи. Был их стрекот гульлив и зноен, как июль.

— Увиваются за тобой в Самарке парни-то, не иначе, — сказал Антон с сожалением.

— За мной, не за тобой! — усмехнулась Каня. — Плакать тут нечего... — Ей захотелось уверенно и твердо, по-отцовски, добавить: «Ясное дело!»

Поди, уж не одного курильщика извела, а?..

— И то дело наше.

Гулял по дегтяревским жилам мужской нетерпеливый задор, а у Кани с каждым ответом голос — осторожней и суше.

В лесу сквозь черемушный лист устилало солнце дорогу золотым кружевом.

— Кого любишь? Скажи! — спросил Дегтярев прямо.

У Кани под кофтой настороженно застукало сердце. Еще острей и у́же стали глаза, и захотелось сильно, как на охоте, стиснуть ружье. Но ружья не было, и пальцы мягко скользнули по ладоням.

— Глянь, какà черемуха! — сказала она неожиданно. — Бежим нарвем, ну-ка!..

Круто рванулась в сторону, как спуганная олениха, и, с треском ломая кусты, побежала в чащу. Дегтярев ринулся вдогонку. Вздымалась с кустов нанесенная водой мелкая песочная пыль. Серой мукой засевала лицо, скрипела на зубах.

— Возьму! — кричал Антон. — Не уйдешь!..

Каня молча рвалась через кусты, цепляясь за ветки вырвавшимися из-под шапки косами. Короткая юбка взбрасывалась на бегу, и Антон видел мельком точеные загорелые ноги выше икр.

— Возьму-у!.. — летел по кустам, наполняя забоку, сильный басовитый рев.

Так выбежали они на поляну, где находились когда-то дровяные заготовки, а теперь торчали только обомшелые пни да редкие нетронутые кусты черемухи. Перебегая от одного к другому, Каня споткнулась и упала. Знакомые руки придавили ее к земле, не давая подняться, и к раскрасневшемуся лицу склонилось возбужденное и потное лицо Дегтярева. Песочная пыль осела в складках грязными полосами, но по-прежнему лукав был и смел мучитель-глаз, цвета дальних сопок.

— Возьму, — уверенно прошептал глаз, голубой мучитель.

Обидным, тяжелым и ненужным показалось с непривычки мужское тело, а верный друг, что ходит по тайге со всяким зверем и человеком, закричал о какой-то непонятной, небывалой опасности. Каня схватила Антона за воротник и с силой дернула в сторону. Воротник оборвался с куском прелой рубахи, обнажив левое плечо до локтя. Столкнулась с целомудренной девичьей боязнью мужская упрямая и бесстыдная сила. Каня почувствовала, как жесткие руки насильно, не спросясь, полезли в заповедные места, и в то же мгновение крепко вцепилась зубами в обнаженное плечо Дегтярева...

Это длилось несколько секунд, не более, но она явственно ощутила на зубах ржавый и солоноватый вкус крови. Мужское тело обмякло, и над ухом послышался глухой задержанный стон. Тогда она разжала зубы и, вскочив на ноги, стремительно помчалась в кусты.

Морщась от боли, Антон приложил к укушенному месту оторванный клок рубахи и сел. «Все-таки не закри-

чал, — подумал не без гордости, — да и она пощады не просила...» Где-то совсем необычно шевельнулась злоба и тотчас же угасла. Он встал и, пошатываясь, вышел на опушку. Долго и тщательно присматривался и прислушивался по сторонам. Не видно, не слышно.

— Эй! — крикнул, превозмогая боль.

Ответа не последовало.

— Ну, и катись... — сказал он с любовью и восхищением.

Глава десятая

1

На сходке по кочковатым головам мужиков прыгали короткие рубленые слова Неретина. Раздвигали они плотно сшитые черепа и согласно укладывались внутри, как мелкие, хорошо колотые дрова.

А когда Неретин кончил и сельский председатель, расчесывая рукой льняную кудель бороды, сказал:

— Подымай правую руку, которые согласны! — выросла над сходкой густая, мозолистая и корявая забока.

Митька Косой, присяжный запевала, с трудом протискался к Харитону.

— Слышь, голован, — сказал вполголоса, дернув его за рубаху.

— Ну? — обернулся Кислый.

— Моя ведь правда...

— В чем?

— Да Марину-то... Пропили седни Вдовины мельнику, ей-богу...

Жидкие Митькины плечи судорожно сжались острыми клещами длинных Харитоновых рук.

— Откуда ты знаешь? — спросил Харитон глухо.

— Только што сестра сказала. Она у ей была. Лежит девка в амбаре и ревет. — Митька поковырял в носу указательным пальцем и, не найдя ничего утешительного, добавил строго: — В воскресенье свадьба, во как!

Были у Харитона всегда прямые, грубые, топором тесанные мысли. И первая мысль, которая пришла ему в

голову, была — пойти и убить мельника. «Чего ей за гнилым пропадать»,— подумалось жестко. Однако эта мысль быстро отпала. Он знал, что его или арестуют, или расстреляют самосудом, а на поддержку Неретина в таких делах нельзя было и рассчитывать.

Тогда он бросил сходку и быстрым развалистым шагом пошел к Марине.

2

На неогороженном дворе Вдовиных стояли только две постройки: изба, похожая на голубятню, и маленький, на тоненьких ножках, амбарчик. Харитон тяжело перешагнул полусгнившие ступеньки амбара и решительным толчком отворил дверь.

В душной полутьме, на грязном тряпье, уткнувшись лицом в подушку, лежала Марина. Она не обернулась и вряд ли слыхала, как он вошел. Он остановился у порога и долго молча наблюдал за ней.

Марина уже не плакала или, вернее, не могла уже плакать и лежала тихо, без движения, почти не дыша. Источились горькие думы о собственной судьбе, о Дегтяреве, о мельнике, осталось только переполнявшее душу и тело безмерное, дошедшее до последней черты отчаяние.

Харитон на цыпочках подошел к ней и, опустившись на корточки, положил ей на голову большую черную руку. Она вздрогнула и, посмотрев на него, ничего не сказала. Похоже было, что нисколько и не удивилась его появлению.

— Слышь... Марина!.. — сказал Харитон, насильно вытягивая застревающие в горле слова. — Гнилой он, и сволочь... мельник-то...

Она ничего не ответила, но он не продолжал, ожидая, что она догадается, о чем он хочет говорить. Марина не догадалась. Тогда он взял ее за руку и более твердым голосом сказал:

— Уж лучше тебе за меня пойти... Конечно, белого хлеба у меня нет, черный тоже не всегда бывает... Зато здоров.

Марина не понимала как следует, о чем он говорит, но звук его голоса напоминал ей Дегтярева. Она снова

упала головой в подушку и заплакала, по-детски, неглубоко и часто всхлипывая.

— Не нужно плакать, ну! — крикнул Харитон сурово. — Не время!..

И только от его крика она осознала наконец, в чем дело. Тычась носом в подушку, заплакала еще горше и жалобней.

— ...Сговорена... уже... с попом... сва-адьба... — проступили сквозь плач и всхлип дрожащие и мокрые, лишенные всякой надежды слова. — Свез уже... отцу Ивану... муку... Вавила...

— Черт с им, с попом! — вспылил Кислый. — Дура ты, вот што! На кой ляд нам поп?.. Сама гнилая будешь, дети — пойми!.. Не до попа тут!..

Не привыкшая думать, в куски разбитая горем, Марина только на одну секунду попыталась представить, как отнесется к ней, невенчанной, село. Ей вспомнилась брошенная прошлый год землемером высокогрудая Палага, затравленная пьяными бабами на пыльных перекрестках и утопившаяся в омуте у речного колена. И оттого, что невыносимо противным и страшным было распухшее, изъеденное сомами и раками тело Палаги, не нашлось в простой Марининой голове сил, чтобы переступить неумолимый, веками признанный закон.

— Нельзя... — сказала она тихо.

— Подумай!

Харитон сидел на полу и ждал. Сидел долго: час, может быть, два. Желтый солнечный платок у растворенной двери передвинулся к противоположному закрому, а он все ждал.

Марина перестала плакать и молча лежала на тряпье. Из-под грубого холщового платья торчали неживыми обрубками ее босые грязные ноги.

— Слушай, — хрипло сказал Харитон, — а если я найду такого попа, что повенчает... со мной?..

— Не найдешь, — ответила она безнадежно.

— А если найду?

— Сам знаешь, чего спрашиваешь!.. — крикнула она истерически.

Он резко вскочил и вышел на улицу. Несколько секунд Марина слышала, как хрустели под тяжелыми ступнями разбросанные по двору щепки.

3

В этот день казались Кане люди опаснее зверей. И на пришедших только что со сходки отца Тимофея и Жмыхова она тоже взглянула с недоверием. Но было у лесника все такое же впалое лицо, с отросшей за поездку рыжеватой бородой, и по-прежнему шутил лукаво и смеялся священник. Разве только от жары больше обычного налился кровью поповский мясистый нос и сиял и лоснился от пота.

— Ну, так как порешим? — грузно отдуваясь, спросил поп Жмыхова.

— Так уж порешили. До вечера мы, ясное дело, управимся. Десять пудов муки своей свезу в обчество. Постановление!.. Хоть и не нас касается, а все-таки везти домой всю неудобно.

— По холодку и грянем, — согласился отец Тимофей. — Ночи теперь месячные. Гляди, к утру до Кошкаровки доплывем.

Он ушел, звучно сморкаясь в подрясник.

4

Когда прибежал Харитон домой, сидел отец Тимофей на толстом обрубке дерева и, подвывая под нос что-то веселое, чинил свои уже не менее ста раз чиненные сапоги. Разбирался поп в дратве чище Евангелия.

Выслушав сбивчивые пояснения и просьбы Харитона, он удивленно развел руками.

— Вот так де-ело! — протянул басисто. — Видна, как говорится, птица по полету, а добрый молодец по соплям. И охота тебе венчальную комедь отламывать, а?

— Так не идет без венца, пойми! — горячился Харитон.

— А мельника думаешь с носом оставить? Отняли, мол, мил человек, у тебя мельницу, дак на тебе вот эдакий нос?..

Отец Тимофей приставил к своей луковице желтую руку и, выпустив из межколенья сапог, залился безудержным басовитым хохотом.

— Брось ты! — сказал Харитон грубо. — Мне не до смеху...

— Ну и дурень! В твои годы я тоже большой чудак был. Бывало, Маруся, псаломщикова дочка: «Пойдемте, Тимоша, впроходку!..» Я так и таял. А кончилось впролежку. Теперь моя жинка — вона!..

Харитон схватил попа за плечи и, притянув к себе, сказал сдержанно:

— Ты... со мной теперь не шути... понял?

Был отец Тимофей по-прежнему спокоен и весел, только в черемушных глазах появилась маленькая серьезность.

— За эдакие делишки, нападение то ись на священную особу, при старой власти напороли бы тебе, парязараза, кой-какое место. Теперь, конешно, ты можешь меня и убить... — И, переходя внезапно на совершенно деловитый тон, забубнил отец Тимофей: — Доставай двух свидетелей, кралю под мышку — и в часовню, что в орешнике на отлете. Я там буду.

— Ночью надо, — сказал Кислый, — а то ежели увидят...

— До вечера надо, — обрезал поп, — потому уеду с сумерками...

Харитон бросился к выходу.

— Стой!.. Раздобудь пару колец да захвати бумагу и чернила. Я хоть уеду, а бумага останется. Церковной печати у меня не имеется, так потом в волости заверишь...

Оставшись один, отец Тимофей взялся за сапог. Работа, однако, не клеилась. Потертая подошва стояла с куском гнилого верха и, ощерившись гвоздями, смотрела на попа ехидно и злобно, по-щучьи.

— Жизнь тоже! — сказал он неизвестно по какому поводу.

5

Отягченная росой, жалась к земле новая июльская трава. Звездным вечером шли от земли густые и пряные соки. Одинаково дышали ими влезшие под небо кедры и пресмыкающиеся у их подножий мхи. В темных берлогах вбирало их всеми порами шерстистых тел угрюмое зверье.

В насыщенном парами воздухе далеко разносился ленивый стук тележных колес. Гаврюшка правил лошадью, а Жмыхов с отцом Тимофеем и Каней шагали рядом с телегой.

...Исаия, ликуй,
Кого любишь — поцелуй... —

игриво напевал отец Тимофей.

Ползли за людьми и подводой большие несуразные тени.

— Чего больно весел? — спросила Каня.

— Так... — усмехнулся поп. — Штуку мы тут одну отмочили... Человеку, скажем, счастье на всю жизнь, а мне — выпивка.

Тянуло от попа едким табаком и спиртом.

— Тебе завсегда выпивка, — сказала Каня немного даже с грустью.

На коротком канате тянулась за телегой лодка. Скребла и царапала песок черствым и крепким днищем... По бокам дороги под свежими обильными росами падали темноликие кусты.

— Да... — в раздумье протянул Жмыхов, — ворочает Неретин делами. Большой человек, ясное дело. Много людных мест прошел и в книгах разбирается. А мы тут... — Он махнул рукой и с неожиданной суровостью докончил: — живем, как звери...

— Это ты, может быть, и зря, — сказал отец Тимофей. Неодобрительно тряхнул большой и гулкой, как котел, головой и, пережевывая губами, добавил низко: — Не звериным сильны мы тут, а человеческим. Так полагаю.

«Мудрит поп, — подумал Жмыхов, — пьян вовсе...»

Притулившись к берегу, тихо спал на реке паром. Они спустили на воду лодку и сгрузили в нее муку.

— Но-о! — крикнул Гаврюшка, весело тряхнув вожжами. — Прощевайте.

Долго тарахтели по лесу удалявшиеся колеса.

— Ну, садись, дочка, — сказал Жмыхов встрепенувшимся голосом. — Марька-то на хуторе, поди, заждалась.

Лодка скользнула по воде и, распуская по бокам играющую месяцем зыбь, поплыла книзу...

Из прибрежных кустов вышел на берег человек. Остановившись у самой воды, долго смотрел вслед уплывавшим. Смотрел до тех пор, пока долетали до него бубнящий голос отца Тимофея и раскаты звонкого девичьего хохота.

А когда замерли вдали людские голоса, человек на берегу задумчиво ткнул ногой блестящую гальку и, понурив голову, слушал привычным лесным ухом тихий шелест воды о камень.

Приемка хлеба и остальные дела задержали Неретина на неделю.

Теми днями шел по инородцам послух, что, уходя из Сандагоу, взял Тун-ло у Неретина чудодейственную бумагу к русскому Старшому в Хай-шинвее[1]. На самом же деле Тун-ло ушел в тайгу на охоту.

Свежим росистым утром выехал в Спасское обоз за хлебом. Пересекая падь, дружелюбно катились по дороге телеги. Высевалась из-под колес мягкая золотистая пыль.

Натиснув — от солнца — к самым глазам солдатскую фуражку, ехал на передней подводе Неретин. Даже в дороге не умела отдыхать его луженая голова и варила одну за другой деловитые мысли.

О порыжевшие сапоги терлись истрепанные придорожные кусты.

В большой компании спокойно, не урося, бежали лошади, и возчики, позатыкав в пазы вожжи, сгруппировались на нескольких телегах. Старые — к старым, молодые — к молодым. Глядя на изуродованную падь, уныло качали головами старики, молча попыхивали обгорелыми трубками. На задней подводе играл на гармошке Митька Косой. Не попадая в тон, орали несогласным хором парни:

Друга девка красивей —
На полтину дешаве-ей...

У перевальной Дубовой сопки разнуздали и напоили лошадей. Со стороны, обращенной к долине, сопка была совсем лысая, почти бестравная. Торчала на красном скалистом выступе одинокая ель. А из-за гребня смотрели в падь зеленые короны дубняка.

У опушки на вершине Неретин пропустил все подводы. На востоке, обвившись сырыми туманами, сгорбил мощную спину Сихотэ-Алиньский хребет. Крался там по иглистым тропам маньчжурский полосатый тигр, утопал во мху когтистой бархатной лапой. И, может быть, еще тише и скрытней пробирался за ним — шебуршал отполированным в траве улом — седой и молчаливый таежный сын, Тун-ло.

---

[1] Китайское название Владивостока. *(Прим. А. Фадеева.)*

На Сихотэ-Алиньском хребте золотыми осенями бьются не на живот, а на смерть седогривые пантачи-изюбры из-за гибкого стана оленихи.

А внизу, под неретинскими ногами, расстилалась размытая и голая Улахинская падь. Казались с высоты сандагоуские хаты не более спичечных коробок. На угрюмых церковных задах притаилось темное и скучное кладбище. Но туда Неретин не посмотрел. Белела там новеньким, никому не нужным крестиком свежая могилка Минаевой, — а к чему бередить уже зарастающие раны?

Неретин видел, как начинали бахрометь в пади новой свежей травой принесенные сверху пески и гальки. Пугливые утки слетались на старые места к озерам. В болоте под сопкой уже оправились от разлива синеглазые и красноперые ирисы.

И думал Неретин о том, как неумолимые стальные рельсы перережут когда-нибудь Улахинскую долину, а через непробитные сихотэ-алиньские толщи, прямой и упорный, как человеческая воля, проляжет тоннель. Раскроет тогда хребет заповедные свои недра, заиграет на солнце обнаженными рудами, что ярки и червонны, как кровь таежного человека. По хвойным вершинам впервые застелется горький доменный дым, и новые жирные целики глубоко взроет электрический трактор.

И оттого, что воспоминание о тракторе было связано с нехитрой жалобой гольда на обрывке березовой коры, захотелось Неретину, чтобы одним из таких тракторов управлял седой и молчаливый таежный сын — Тун-ло.

Грохот спускавшихся в тайгу телег становился все глуше, а Неретин стоял и думал. Из первобытной таежной тишины выскочил на проложенную людьми дорогу резвоногий заяц. Потыкался мордой, попрядал мохнатыми ушками и, увидев человека, испуганно нырнул в кусты.

Вызванивая подковками о камень никому не понятную песню, побежал с горы Неретин — многоликий и живучий, синеглазый и красноперый ирис на Улахинских болотах.

РОЖДЕНИЕ АМГУНЬСКОГО ПОЛКА

Памяти Игоря Сибирцева

1

Настоящее название полка было 22-й Амгуньский стрелковый, а его рядовые бойцы во всех официальных приказах именовались народоармейцами[1]. Но человек, около года не вылезавший из сопок, вскормивший несчетное количество вшей, исходивший все таежные тропы от зейских истоков до устья Амура, привык к безвластью и безнаказанности и боялся порядка и дисциплины. В новых наименованиях и, главное, в цифрах ему чудилось кощунственное посягательство на его свободу. И бойцы 22-го Амгуньского полка продолжали называть себя партизанами, а полк свой по имени старого командира — просто Семенчуковским отрядом.

Это была упорная и жестокая борьба между старым названием и новым. За старое боролся весь полк во главе с командиром Семенчуком, за новое — комиссар полка Челноков.

Силы противостояли неравные. Не только потому, что Челноков был одинок, но и потому, что это происходило в местности, где так короток день, а ночь длинна, где густ и

[1] На Дальнем Востоке наша армия называлась в 1920 году не Красной, а Народно-революционной. *(Прим. А. Фадеева.)*

мрачен лес, где воздух сыр и ядовит от болотных испарений, где зверь в лесах силен и непуглив, и человек — как зверь.

Семенчуковский отряд оказался сильнее Агмуньского полка. Это произошло после разгрома под Кедровой речкой, хмарным и слизким утром, на левом фланге красного фронта.

Сгрудившись у гнилого, поросшего мхом и плесенью охотничьего зимовья, Семенчуковский отряд митинговал.

— Куда нас завели? — кричал, взгромоздившись на пень, лохматый детина.

Весь — костлявая злость, от головы до пят обвешанный грязными шматками полгода не сменявшейся одежды, он походил на загнанного таежного волка.

— Нас завели на верную гибель... Нас продали... Владивосток занят, Спасск-Приморск занят, Хабаровск занят, не сегодня-завтра займут Иман, — куда мы пойдем? Мы — партизаны, амурцы. Мы мерзли в сопках за наши хлеба и семьи. Пора уж и домой! Довольно покормили вшей, пойдем за Амур! Там тоже Советская власть — мы ее поставили. Пущай приморцы сами свои края защищают... Пущай Челноков сам повоюет... с рыбой со своей, с тухлой...

И из человеческого месива, где озлобленные лица, обдрипанные шинели, штыки, патронташи, подсумки и мокрые ветви загаженного людьми ельника сливались в одно оскаленное щетинистое лицо, неслось:

— За Амур! За Амур!

— Довольно!

— Ну, как вы попадете за Амур? — стараясь быть спокойным, говорил Челноков. — Через фронт нам не пройти — раз. Через Хорские болота и подавно не пройти. Остается Уссури. Как вы через нее переправитесь? Пароходов ведь нет...

— Вре-ошь! — кричали из толпы. — Омманываешь... Есть пароходы... А грузы на чем эвакулируют? Сволочь!

— Этот пароход вас не возьмет...

— Мы сами его возьмем...

— Он всегда и так перегружен...

— Разгру-узим... Вот невидаль, подумаешь!

— Так ведь не в этом суть, — не сдавался Челноков. — Ведь мы оголяем фронт. Из-за нашего ухода вся область пропадает...

— А что мы — сторожа? — надсаживался лохматый детина. — Чего вы приморцев не держали? Небось в тылу сидят, одеты и обуты... Одних штабов, как собак, расплодилось...

— Верно, Кирюха... В тылу... галифеи шириной в Амур распустили.

Масса не слушалась комиссара. Вчера, ругаясь с ним из-за продуктов, она еще чувствовала в нем силу и нехотя подчинялась ей. Это не было, как в прежние дни, сознательное уважение к старшему товарищу, а просто последние остатки робости перед начальством. Они проявлялись тем сильней, чем независимей, храбрей и строже держался начальник. Но сегодня это уже не помогало. Сегодня масса не боялась и ненавидела комиссара. Он являлся единственным препятствием на ее пути. Вопрос ясен. К чему этот разговор?

— Дово-ольно! — кричала толпа.

— Долой комиссара! Отзвонил свое. Даешь в отставку!

На заросшей завалинке зимовья сидел Семенчук и ждал. В волнующейся толпе странно было видеть его притаившуюся, безучастную фигуру. И несколько раз, ловя на себе его хитрый, выжидающий взгляд, Челноков думал, что это единственный человек, который мог бы еще удержать полк. Но Семенчук молчал. Он сам был амурец, ему надоело воевать, а симпатии толпы так изменчивы, что не стоит рисковать своим авторитетом за чужое дело.

— За Амур! — рвался через тайгу в золотистые амурские пади стихийный тысячеголосый рев.

— Слушай, Семенчук, — сказал Челноков, наклонясь к командиру, — если они уйдут — ты будешь отвечать.

Семенчук насмешливо улыбнулся:

— При чем тут я? Мое дело маленькое.

— Врешь! — не выдержал Челноков. — Ты продаешь весь фронт за свой командирский значок...

— Что-о?!

Семенчук вскочил, как ужаленный. В его напряженной позе скользнуло что-то кошачье. Даже желтая шерсть его тигровой тужурки, казалось, вздыбилась, как живая.

— Товарищи!.. Вы слышали, что сказал комиссар? Вы слышали, что он сказал? — Голос Семенчука дрожал от деланного гнева. — Мы, что целый год страдали в сопках, падали под пулями, топли в болотах, кормили мошкару, мы, оказывается, предатели революции! А они, что при-

шли на готовенькое, надели френчи и сели на наши шеи, они — спасители... Убирайся вон! — рявкнул он злобно.

Его толстая шея вздулась багровыми жилами, и широкое скуластое лицо налилось кровью.

Челноков схватился за револьвер и шагнул к командиру.

— Если ты думаешь на этом сыграть... — сказал он со зловещей сдержанностью, но грозный рев заставил его повернуться к массе. Отовсюду, где только виднелись люди, смотрела на комиссара стальная щетина неумолимых ружейных дул.

— Уйди-и!

Челноков принял руку с кобуры и несколько мгновений изучал толпу. Из-за каждого дула впивались в него горящие угрозой и ненавистью глаза.

Челноков опустил голову и медленно сошел с завалинки.

— Красные! — крикнул Семенчук. — Я всегда был с вами, а вы со мной... Слушай мою команду! Построиться!

Винтовки опустились одна за другой. В толпе зашныряли ротные командиры.

— Первая рота, собира-айсь!

— Вторая рота!

Резкие выкрики команд казались неуместными под мохнатыми елями в распущенной массе голодных людей и тотчас же глохли где-то в заржавленном мхе карчей. Роты строились наспех, как-нибудь, и уползали в чащу по грязной дороге. Оседланная лошадь комиссара неистово ржала и металась на привязи. Под сотнями ног трещал низкорослый ельник.

— Винтовки хоть бы на плечо взяли... — неуверенно предложил кто-то.

— Во-от еще, на плечо! — гудели недовольные голоса. — Мы и на ремне донесем. Старый режим, што ли?

— Покомандовали ужо над нами, будя!

Оставшийся у зимовья комиссар слышал в удаляющихся голосах нотки радостного возбуждения и наивной, почти детской уверенности в окончании всех бед и страданий на этом свете.

Его лошадь запуталась в поводу и, вспенив губы, жалобно фыркала.

— Тише ты-ы! — сердито закричал Челноков.

Он несколько раз ударил ее хлыстом по крутому заду и выругался самыми скверными словами, какие только знал. Неизбежный вопрос — что делать? — сверлил уставшую голову. Он сел на завалинку и стал размышлять. Это было не очень приятное и не легкое занятие. Комиссар не спал уже около двух суток! В висках стучало. Он сжимал голову большими шершавыми ладонями, и его сухие и ломкие, как старая оленья шерсть, волосы топорщились на голове. Фуражка защитного цвета лежала у ног, и в ней хозяйничали рыжие болотные муравьи. Шум шагов и людские голоса давно уже замолкли вдали. Только в ольховнике у ключа робко посвистывали мелкоглазые рябчики. На левом фланге красного фронта комиссар Амгуньского полка был совершенно одинок.

Он медленно расстегнул кобуру и вытащил наган. Долго с интересом наблюдал, как ленточкой отливает смазанная вороненая сталь, и так же серьезно и вдумчиво взвел холодный курок. Однако он не выстрелил сразу, а решил еще подождать и подумать. Он привык отрезать только один раз, но зато после семикратной примерки.

И действительно, мысли его приняли другой оборот.

— Так нельзя, — сказал он, строго глядя на лошадь. Слова эти относились, однако, не к ней, а к самому комиссару. — Так нельзя, — снова повторил он вслух. — Тебя все равно расстреляют, но предупредить о случившемся ты обязан.

Придерживая курок нагана большим пальцем, Челноков опустил его на место и спрятал револьвер в кобуру. В его движениях не чувствовалось волнения или страха. Он поднял с земли фуражку и стал чистить ее мокрой еловой веткой. Ему не хотелось, чтобы даже в его одежде был намек на панику. Правда, он не сумел удержать полк, хотя и должен был сделать это. Но это еще не означает, что все остальное может идти спустя рукава.

Челноков отвязал лошадь и, вскочив в седло, выехал на дорогу. Лошадь рвалась в ту сторону, куда ушел полк, а он заставлял ее идти в другую. Несколько секунд они вертелись на одном месте, пока ей не стало ясно, что обстоятельства переменились.

Тогда она повиновалась человеку и, закусив удила, понеслась к штабу фронта, на станцию Бейцухе.

2

В очередной оперативной сводке иманская «Рабоче-крестьянская газета» писала:

«2 мая наши части, под давлением превосходных сил противника, оставив разъезд Кедровая речка, отошли на линию ст. Бейцухе. Дальнейшее продвижение противника приостановлено».

Прочитав сводку, командующий Северным фронтом невольно улыбнулся. Это была горькая, спрятанная в усы улыбка. Он лучше всяких газет знал, что поражение под Кедровой речкой являлось на самом деле разгромом красного фронта. «Превосходные силы противника» заключались в одном батальоне, разогнавшем десятитысячную армию. «Движение противника» отнюдь не было приостановлено, но он сам не пошел дальше, боясь распылить немногочисленные силы по мелким станциям и разъездам.

Перед мысленным взором командующего все время лежал громадный кусок Амурской долины, по которому уверенно перестраивались цепочки, квадратики, линии маленьких косоглазых людей, внушавших ужас защитникам кедровореченских позиций. И потом... эта неудержимая звериная паника, с оставлением орудий, винтовок и амуниции, с беспощадными драками между своими из-за каждого паровоза, вагона или двуколки, с бессмысленными, полными дикого страха, потными, измученными, уже нечеловеческими лицами. А когда штабной вагон попал наконец на станцию Бейцухе, он увидел на платформе сухого, сморщенного, с мочальной бородкой старика, грозившего скрюченным пальцем и кричавшего с пеной у рта:

— Дезертиры... Мы дали вам одежду, мы дали вам хлеб, а вы нас японцу продаете? Будьте вы прокляты!... Вы и ваши дети!

Теперь — не только в Приморье, но и за Амуром, и в Прибайкалье, и за Байкалом — Кедровая речка стала нарицательным именем, символом панического бегства, трусости и позора.

Командующий фронтом посмотрел на карту. В этом злополучном краю даже военные карты были составлены неверно. Справа от ветки тянулись непролазные Хорские

болота. Верховья реки Хор и ее притоков были помечены пунктиром. Там не ступала еще человеческая нога. Плохонькие позиции перед Бейцухе занимал недавно сформированный коммунистический отряд. Половина его бойцов была набрана из ставших ненужными, за развалом частей и учреждений, военных и гражданских комиссаров. Все они привыкли командовать, не любили подчиняться и искали путей, как бы попасть в Советскую Россию.

На левом фланге на нескольких пунктах значился по штабной карте 22-й Амгуньский полк. Связь с ним была еще плохо налажена. Полк считался ненадежным. Во всяком случае, это был единственный неразвалившийся полк, в порядке отступивший из-под Кедровой речки.

Командующий снова взял газету, но чтение не шло на ум. Он выглянул в окно. Везде было так пустынно, так неприглядно, что не верилось, будто на этой заброшенной станции находится главный мозг фронта. Да был ли у такого фронта хоть какой-нибудь мозг?

Из станционного здания подпрыгивающей походкой шел к вагону комиссар Соболь. Он был очень маленького роста и, шагая через прогнившие дыры платформы, в своем черном обмундировании напоминал беззаботного вишневого жучка. Но командующему он казался скорее неутомимым муравьем, несущим на себе непосильную ношу.

— Хорошие вести, — сказал комиссар, заходя в вагон. — Из Владивостока пришел тайгою на Иман матросский отряд, вот телеграммы... — Он бросил на стол пачку розовых бумажек. — На Имане восстановлен порядок, ловят дезертиров. Ревштаб извещает, что кое-какие полки удастся привести в боевой вид... Ей-богу, мы сможем выправиться на этом деле!..

— Боюсь, что нам уже ничто не поможет, — сказал командующий, прочитав последнюю телеграмму и передавая ее комиссару. — Вы читали это?

Телеграмма извещала, что пароход, эвакуировавший военные и железнодорожные грузы по реке Уссури за Амур, вышел в третий рейс. Телеграфный язык не знал правил правописания — ни больших, ни малых букв, ни запятых, ни кавычек. Подпись: «комендант пролетарий селезнев» — нужно было читать: «Комендант парохода «Пролетарий» Селезнев».

— Что ж, молодчага! — воскликнул комиссар. — Этого парня я знаю только по телеграммам, но он чертовски исполнительный человек. Можно было бы жить, если б все были такие.

Командующий смотрел на комиссара и, как всегда, удивлялся, откуда набирается бодрости эта маленькая, невзрачная фигурка. Сам он давно работал механически. Он был совсем одинокий человек, и с развалом фронта ему некуда было идти. Бывший офицер старой, царской армии, он провоевал большую часть своей жизни, из которой почти три года пришлось на борьбу за Советскую Россию. Теперь она маячила перед ним как последнее и единственное убежище.

— Дело не в исполнительном человеке,— сказал он сухо, — дело в эвакуации. Когда этот пароход пошел в первый рейс, я сразу понял, что дело пахнет ликвидацией. Ревштаб вывозит все, что можно. Приморье спело свою песенку. Нам тоже пора кончать. Я так думаю.

— Ну, и плохо, что вы так думаете! — вспылил комиссар. Ему надоели вечные толки о ликвидации, за которыми шел неизбежный разговор о Советской России. — Наша беда и заключается в том, что так думают почти все, начиная от командующего и кончая дезертиром. Но ведь нам, черт возьми, предписано держаться, а не ликвидироваться!.. Вы думаете, мне не хочется в Советскую Россию? Вы думаете, я не устал от всей этой чертовщины? — Лицо комиссара невольно сморщилось в жалкой гримасе. — Но вы помните, я говорил, что нам надо идти против течения? Какой я, к черту, комиссар фронта? Я вам говорил, что я просто токарь военного порта. Но раз я поставлен комиссаром, я должен им быть: не спать ночей, стрелять дезертиров, ругаться с полками, реквизировать хлеб, бороться до тех пор, пока меня самого не сволокут в придорожную канаву... Я начинаю и кончаю свой день с этой мыслью. Я подвинчиваю себя каждый день невидимыми гайками до последней степени, до отказа... Я все время иду против течения и тащу за собой всех, кого только можно тащить при помощи слова или нагана... Черт возьми!.. Я буду идти и тащить, покуда хватит моих сил. Я уж вам не раз говорил об этом.

Командующему хотелось сказать: «Я тоже старый солдат и исполняю свой долг», но эта фраза показалась ему слишком напыщенной при Соболе.

— Я привык к организованным войсковым единицам, — сказал он извиняющимся тоном.

Соболь ничего не ответил.

Неловкую тишину одиноко прорезал отдаленный гудок паровоза. Оба ощутили легкое, едва заметное дрожание штабного вагона. Судя по гудку, паровоз шел с тыла.

— Это наш броневик, — сказал командующий.

— Наконец-то!

Соболь швырнул телеграмму и, жуя на ходу вытащенный из кармана хлеб, вышел на линию.

Из темного провала сопок, раскидывая по откосам клочья тяжелого дыма, несся к штабу новенький бронепоезд.

Из бронированного паровоза, смеясь, выглядывал седенький машинист. Соболь заметил у его пояса пару английских гранат.

Поезд остановился за станцией, у стрелки. Из вагонов одна за другой выскакивали серые фигуры. Впереди шел начальник штаба фронта и его помощник. За ним виднелись еще знакомые и незнакомые лица.

— Черт возьми!.. Шептало! — воскликнул комиссар, узнав среди штабных начальника бронепоезда.

Черные, закоптелые лица обступили комиссара со всех сторон. Они радостно трясли ему руки и что-то кричали наперерыв. Двое из вновь прибывших, в одинаковых чистеньких френчах и кожаных галифе, остановились поодаль и улыбались.

— Не все сразу, — с нарочитой строгостью сказал комиссар. — Сначала о деле. Идите все на свои места, потом поболтаем. Шептало и вы, — он посмотрел на отдельно стоящую пару, — пойдемте со мной.

— Рассказывай, — обратился он к Шептало, когда они зашли в купе. — А ты все такой же, — перебил он себя, невольно переходя с официального тона на дружеский. — Ну, ну, рассказывай...

Шептало сообщил, с каким трудом удалось ему сформировать бронепоезд. Он постоянно сбивался с тона и, брызгая слюной, возбужденно передавал не относящиеся к делу подробности.

— Понимаешь, все уже было сделано! — кричал он на весь вагон. — Уж и орудия поставили, а ни один машинист не соглашается... Кстати, насчет орудий: эта трусливая никольская артиллерия никак не хотела отдавать.

Рабочие из мастерских даже депутацию к ним посылали. «Мы, говорят, маялись, делали, а вы удрали с фронта, да еще орудий не даете». Ни черта не помогает... Тогда уж и я разъярился. «Не дадите, говорю, начну садить по лагерям из пулеметов...» Все-таки отдали...

Он весело засмеялся, и, глядя на боевые искорки в его зеленовато-серых глазах, так же весело завторил ему Соболь. Двое в кожаных брюках скептически переглянулись.

— Так вот, машиниста, — продолжал Шептало. — Я уж, брат, все службы — тяги, пути, движения и еще, черт его знает, какие службы облазил. Никто!.. Наконец, этот старичок. «Мне, говорит, все равно умирать...» И поехал. Ей-богу...

Соболь смотрел на исхудавшее белобрысое лицо начальника бронепоезда и думал, что из этого парня будет толк. «Ничего, что немного звонит. Зато делает дело...»

— Ребята у тебя надежные? — спросил он вслух.

— Ребята — что надо! — восторженно воскликнул Шептало. — Большинство со Свиягинской лесопилки. Есть трое батраков из Зеньковки. Тут, брат, комедия... Один из них рассказывал, что после Кедровой речки он дезертировал домой. Так, понимаешь ли, собственная баба в избу не пустила. «Иди ты, говорит, ко псу, сметанник». Ей-богу, так и сказала: «Иди ты ко псу». Сам рассказывал. «Стало, говорит, мне соромно, я и вернулся...»

— А вы как к нему попали? — обратился Соболь к парням в кожаных брюках.

— Они не ко мне, — сказал Шептало. Его потрескавшиеся губы скривились в насмешливую улыбку. — Это так... случайные...

— У нас разрешение в Советскую Россию, — сказал один из них. Это был молодой белокурый парень с тонкими и правильными чертами лица.

— Так, — сказал комиссар. — Ну, мы еще поговорим. Шептало, можешь идти.

Он долго и пристально разглядывал оставшихся в купе. Его маленькие черные усики странно топорщились. Все трое молчали.

Соболь хорошо знал обоих по совместной работе во Владивостоке. Белокурый был матросом из музыкантской команды Сибирского флотского экипажа. Его товарищ,

горячий, неутомимый латыш, слесарил во временных мастерских. В те времена это были на редкость хорошие ребята.

— Как же вас выпустили из Владивостока? — спросил комиссар пытливо.

Белокурый звучно рассмеялся:

— Там сейчас такая неразбериха, что кого хочешь выпустят. Везде хозяйничают японцы. Наши прячутся по слободкам. Старик Крайзельман совсем потерял голову. Когда мы ему подсунули бумажку, он сразу подписал. Я еще сказал Артуру, что, подсунь ему его собственный смертный приговор, он бы так же подписал. Факт!

При его словах латыш нервно дернулся на койке.

— Разве у нас вожди?! — резко закричал он. — У нас сапожники! Все потерьяли голову, мечутся, как угорелеватые. Мы думали, шьто хоть на фронте порьядок, а тут у вас тоже... Скорей бы уйти к черту из этого краю...

Он выразительно махнул рукой, и вся его мускулистая, чуть сгорбленная фигура, казалось, говорила о том, что он не желает больше об этом разговаривать.

— Так, — снова сказал комиссар. — И что же вы думаете делать в Советской России?

Его голос чуть заметно дрожал.

— Я проберусь в Латвию, — буркнул латыш.

— А я пойду по культурно-просветительной части. До японского выступления я уж ударял по этому делу. Хоть я и матрос, но ты знаешь, что из меня плохой вояка. А каковы твои планы на будущее?

— Я думаю всю свою дальнейшую жизнь посвятить военному делу, — насмешливо процедил Соболь. — Ну, покажите, какую вам дали бумагу...

— Ерунда, обыкновенный мандат. — Белокурый полез в бумажник. — А ты зря идешь по военной, — сказал он с сожалением. — Приморье погибло уж для Советской России, а в центре нужны люди для мирного строительства. Вот она...

Соболь взял протянутую бумажку и сунул, не читая, в карман.

— Теперь послушайте меня, — сказал он, неожиданно меняя тон. — Вы обманным путем ушли из Владивостока, забыв свой долг и бросив массы в самую тяжелую минуту. Я отдал бы вас под суд, ежели бы они у нас не развалились. Я застрелил бы вас сам, ежели бы у нас

хватало толковых людей. Я жалею, что не могу сделать ни того, ни другого... Но я предлагаю...

— Это плохие шутки, Соболь, — недоуменно перебил латыш.

— Молчать!.. — не выдержал комиссар. Он выхватил наган, и голос его звякнул, как лопнувший станционный колокол. — Сидеть смирно и слушать! Я предлагаю вам вот что: или вы пойдете в коммунистический отряд, дав мне слово, что не убежите, или я вас посажу под арест и не буду кормить до тех пор, пока вы не дадите мне этого слова и не пойдете в отряд.

— Соболь, что с тобой? Ты с ума спятил? — удивленно забормотал матрос.

— Одна минута на размышление, — сказал комиссар, выкладывая часы.

— Не пойму... — В глазах белокурого померк мягкий и теплый свет, и вся его фигура выразила удивление, беспомощность и вместе с тем сознание своей правоты.

— Я буду жалеться в обласком! — вскипел латыш. — Это свинство!

— Когда будешь в Советской России, можешь пожаловаться в ЦК — там разберемся.

— Л...ладно, — сказал матрос после непродолжительного раздумья. — Мы можем, конечно, пойти и в коммунистический отряд. Но с твоей стороны это превышение власти. Ты определенно закомиссарился, ты за это ответишь. Я тебе говорю...

— Двадцать секунд осталось, — холодно обрезал комиссар.

— Да я же сказал, что мы пойдем!

— Товарищ Сикорский! — крикнул Соболь, открывая дверь. — Выдайте этим двум удостоверения в комотряд... рядовыми бойцами, — добавил он после некоторой паузы.

— Эх, Соболь, Соболь... — с грустью протянул белокурый.

— Канцелярия направо, — сухо сказал комиссар. — Я вас не задерживаю.

— Гас-тро-леры, — промычал он с непередаваемым презрением, когда оба спутника возмущенно выскочили из купе. Ему казалось всего обиднее то, что один был слесарем временных мастерских, а другой — матросом революционного экипажа.

3

Соболь беседовал у бронепоезда с народоармейцами, когда всадник на взмыленной густогривой лошади выскочил из кустов и, быстро осмотревшись по сторонам, поскакал к штабному вагону.

«Это еще что за личность?» — подумал Соболь. Но когда всадник соскочил с седла, он сразу узнал в нем Челнокова. До этого ему не приходилось видеть его на лошади.

Приезд Челнокова был слишком необычен. Соболь оборвал свою речь на полуслове и не пошел, а побежал к штабу. Комиссар Амгуньского полка угрюмо поджидал его, прислонившись к вагону. Видно было, что он страшно устал. Его лошадь тоже понурила голову и застыла.

Соболь с силой сжал протянутую ему руку и несколько секунд не мог выговорить ни слова.

— Ну?! — прохрипел он наконец.

— Амгуньский полк ушел с позиции, — тихо проговорил Челноков.

— Тсс! — прошипел Соболь, до боли стиснув зубы. — Никому ни единого слова об этом. Здесь воздух полон паники. Идем в вагон.

Но когда они вошли в купе, комиссар фронта не мог больше сдерживаться. Он яростно вцепился в грязный челноковский френч и, дрожа от переполнявших его существо бешеных противоречивых чувств, закричал тонким, надорванным фальцетом:

— Как же ты допустил?.. Надо было держать з-зубами!.. Да что же у вас там... Челноков?!

— Я сделал все, что мог, — угрюмо пробормотал тот. — Но я не сумел убедить...

— Убедить?! — яростно повторил Соболь. — Комиссар! Надо было не только убеждать, надо было стрелять!

— Дело так сложилось, что я не мог даже вытащить револьвера... Они направили на меня винтовки...

— Какое мне до этого дело?.. Ты должен был удержать, понимаешь? До-олжен... Меня не интересует, убили бы тебя или нет!

Соболь выпустил френч и возбужденно забегал по купе. Его маленькая растрепанная фигурка, мечущаяся

в тесной и пыльной кабинке, как-то не вязалась с рослой, окаменевшей на месте фигурой Челнокова.

— Ты знаешь, что нужно сделать с тобой? — спросил вдруг Соболь, круто остановившись перед полковым комиссаром.

— Знаю, — сказал Челноков.

Соболь опустился на койку и сидел молча несколько минут. Слышно было, как в канцелярии кто-то неумело стукал на машинке.

В этой тишине слова комиссара прозвучали совсем по-иному.

— Федор, — тихо позвал он Челнокова, — ты не забыл, как мы пять лет работали у соседних станков?

Челноков вздрогнул, и странный мягкий звук сорвался с его уст. Соболь нервно хрустнул пальцами и так же тихо продолжал:

— И ты... не сумел удержать полк?

Комиссар Северного фронта не смотрел на своего подчиненного, но в его словах слышался такой же тихий, как его голос, укор.

— Я не сделаю тебе ничего, — продолжал Соболь, — потому что у нас мало таких людей, как ты, а мы милуем кой-кого и похуже. Но мы должны исправить положение. Ты понимаешь, Челноков?

Комиссар Амгуньского полка медленно поднял голову. Его смущенный взгляд встретился с серьезным и решительным взглядом Соболя, и в обоих мелькнуло нечто большее, чем простое взаимное понимание. Это была дружеская симпатия, может быть даже нежность. Но она показалась только на одно мгновение.

— Пойдем к командующему, — сказал Соболь.

Им требовался быстрый и правильный рецепт. Но что мог дать человек в старом полковничьем мундире, привыкший к организованным войсковым единицам? Он уныло посмотрел на обоих сквозь потные очки в черной, почти траурной оправе и не сказал ни слова.

— Если бы у меня было тогда с пяток надежных ребят, я бы удержал весь полк, — пояснил Челноков. — Но теперь его не возьмешь и с пятью десятками. Он выйдет к реке и укрепится. Семенчук — старая лисица!

Он вопросительно взглянул на командующего, но тот по-прежнему молчал. Когда-то точная и исполнительная машина теперь отказывалась работать. Соболь схватил

телеграфный бланк и, вырвав из рук командующего карандаш, стал быстро писать, нагнувшись над столом.

— Подпишите! — сказал он, подсовывая исписанный бланк. — Челноков, я сообщаю о происшедшем в ревштаб и прошу прислать один из матросских батальонов в твое распоряжение. Ты сейчас же сядешь на дрезину и поедешь на Вяземскую. Там встретишь эшелон и вместе с отрядом пройдешь трактом к Аргунской. Я думаю, к завтрашнему вечеру ты уже будешь там. Семенчуку больше некуда деться. Я даю тебе все права и полномочия, какие только потребуются.

— А если он успеет погрузиться на пароход?

Соболь схватил другой бланк.

«Станица Орехово. Коменданту «Пролетарий» Селезневу.

Никаких частей без моего ведома не грузить.

Военком фронта СОБОЛЬ».

— Орехово выше Аргунской, — пояснил он, — там тоже есть телеграф. Селезнев зайдет в Орехово за динамитом. Ну... иди, брат... ждать некогда...

Они вместе вышли на линию. На привязи у вагона все в том же положении стояла лошадь Челнокова. Из ее грустных полуоткрытых глаз сочились мутные слезы усталости и голода. Челноков ласково потрепал ее по шее.

— Ты позаботься о моей лошадке, — сказал он Соболю. — А потом... — Он на мгновение замялся и странно дрогнувшим голосом докончил: — Может, у тебя найдется кусок хлеба... для меня?

Только теперь Соболь заметил, что Челноков бледен, как песок. Кожа стянулась на его лице, резко обозначив скулы и челюсти. Под глазами выступили расплывчатые синие круги, и веки чуть заметно дрожали.

Соболь убежал в вагон и через минуту вернулся с ковригой гречишного хлеба и с большим куском нутряного сала.

— Есть сумка, куда положить? Нет? Ну, возьми мою!

Он снова сбегал в вагон и принес походную сумку японского образца.

— Носи за мое здоровье! — сказал он шутливо.

Пароход «Пролетарий» имел свою историю. Когда Иманский ревштаб пришел к необходимости эвакуировать за Амур все, что поддается эвакуации, он столкнулся с рядом непредвиденных затруднений.

Прежде всего требовалось судно, на котором можно было провозить эвакуированные грузы. Нужен был твердый и исполнительный человек, способный взять на себя такое опасное и ответственное дело. И, наконец, необходим был новый путь для эвакуации, так как Уссури впадала в Амур возле Хабаровска, а в последнем сидели японцы.

В течение нескольких дней штабная канцелярия занималась отыскиванием нового пути. Были извлечены из старых переселенческих архивов изъеденные мышами, пожелтевшие от времени географические карты, из которых ни одна не походила на другую, хотя все изображали одну и ту же местность.

Комендантская команда ловила на побережье загорелых рыбаков и хитрых, предприимчивых скупщиков меха, могущих дать хоть какие-нибудь сведения по указанному вопросу.

И путь был наконец найден.

Это была Центральная протока, вытекавшая из Амура в пятидесяти верстах выше Хабаровска и впадавшая в Уссури верст на сорок выше того же города. Пароход должен был спускаться по Уссури до устья протоки и, свернув в нее, идти против течения до тех пор, пока не попадет в Амур. Таким образом, Хабаровск оставался в стороне. По свидетельству рыбаков, то была глубокая протока, хотя по ней не плавало еще ни одно паровое судно.

С пароходом дела обстояли хуже. В Иманском затоне находилась старая баржа в сто тонн водоизмещения и маленький поломанный пароходик, насчитывавший пятьдесят восемь лет производственного стажа. Когда-то он назывался «Казаком уссурийским», а баржа — «Казачкой», но после Февральской революции его переименовали в «Гражданина», а баржу — в «Гражданку». При Колчаке на нем вылавливали в тростниковых зарослях Сунгача беглых большевиков и красногвардейцев. Пароход был заново перекрашен и перекрещен в «Хорунжего Былкова», а баржа — в «Свободную Россию». По мнению

знающих людей, он теперь ни к чему не годился. Но председатель ревштаба осмотрел его самолично и нашел, что «можно починить». Нужен был только человек, способный взяться за это дело.

Стали искать человека. Он должен был, во-первых, хоть немного понимать в пароходном деле, во-вторых, отличаться поистине дьявольской настойчивостью, и в-третьих, его глаза не смели косить в сторону Советской России. Иначе он мог исчезнуть в первом же рейсе, как только попадет на Амур.

Надо сознаться, таких людей на Уссурийской ветке было очень мало. И все-таки его нашли. Он командовал комендантской ротой города Имана и, по имевшимся сведениям, плавал раньше на торговых и военных судах.

Председатель ревштаба занимался у себя в кабинете, когда дверь отворилась без доклада и в комнату вошел плотный чернявый человек среднего роста, в короткой гимнастерке полузащитного цвета и простых кожаных брюках, заправленных в грубые сапоги.

— Что вам угодно? — спросил председатель сухо.

В эти дни у него бывало излишне много посетителей, и вошедшего он видел в первый раз.

— Я Никита Селезнев, — просто сказал вошедший. — Меня вызвали по делу эвакуации.

— Садитесь, — сказал председатель, указывая на стул. — Это очень серьезное и ответственное дело. Мы предлагаем вам отремонтировать пароход в две недели. Ни в коем случае не позже — в порядке боевого приказа.

Излагая Селезневу, в чем состояла задача, он пристально изучал его внимательное, спокойное лицо и плотную, резко очерченную фигуру. У Селезнева были сильные челюсти, прямой и крепкий нос, темные, почти черные волосы на голове и такие же подстриженные по-английски усы. Одна из его бровей поднялась чуть выше другой, и из-под обеих смотрели острые, проницательные глаза цвета полированной яшмы. На вид ему можно было дать около двадцати семи лет.

— Нам требуется строгая точность и исполнительность в этом деле, — говорил председатель. — Вы сами знаете, что теперь творится. Можно сказать заранее, что вас толпой будут осаждать дезертиры с просьбой перевезти за Амур. Они будут угрожать вам оружием и, очень возможно, отправят вас на тот свет. Но мы все ходим под

этой угрозой... Что вы предполагаете сделать на первый случай?

Селезнев несколько секунд молча теребил фуражку и, внезапно надев ее на голову быстрым, решительным движением, сказал:

— Ежели готов мандат, я приду к тебе через неделю и скажу, что́ я уже сделал.

Он сказал председателю «ты», как говорил всем людям, с которыми встречался хотя бы и в первый раз. В его тоне чувствовалась врожденная незлобивая грубоватость.

— Мандат сейчас заготовят, — сказал председатель. И, тоже переходя на «ты», спросил: — Ты коммунист?

— Да.

— Можно надеяться, что ты сам не сбежишь за Амур?

Он ожидал, что Селезнев обидится на этот вопрос и скажет какую-нибудь резкость. Но Селезнев просто ответил:

— Можно.

Вопрос был исчерпан. Через полчаса Селезнев ушел из штаба с длинной инструкцией, ни один пункт которой не понадобился из-за ее нежизненности, и с таким же мандатом. Последний тоже не нашел себе применения, так как оборудование парохода нужно было проводить отнюдь не мандатом, а либо уменьем убеждать, либо силой кулака и нагана.

Прежде всего Селезнев взял себе помощника — взводного командира Назарова, из комендантской роты.

Это был необычайно рослый волосатый человек, угрюмый и несуразный, как выкорчеванный пень. Когда-то он работал на Сучанских угольных копях и вынес с той поры редкие качества: никуда не смотреть, все видеть и в течение нескольких дней не произносить ни слова. Несмотря на это, а может быть, благодаря этому, он имел верный глаз на людей и умел их отыскивать.

— Вот что, Назарыч, — сказал Селезнев, — ты достань мне одного писучего, другого хозяйственного человека! А потом натаскай ребятишек для пароходной комендантской команды! Работнем — куда ни шло...

Сам он пошел в типографию «Рабоче-крестьянской газеты», и на следующий день были расклеены по городу приказ и воззвание: «Всем, служившим когда-либо на пароходе «Хорунжий Былков» и барже «Свободная Россия»,

явиться к коменданту указанного парохода т. Селезневу, в контору на берегу, 22 апреля, к 8 часам утра».

Первым явился на зов маленький кривоногий старичок во главе небольшой кучки веселых загорелых парней в засаленных блузах и широких брезентовых штанах навыпуск. Он оказался судовым машинистом, а сопровождавшие его ребята — матросами с парохода.

Они произвели на Селезнева самое хорошее впечатление. У старичка были длинные, опущенные книзу хохлацкие усы и густые седоватые брови. Он, видимо, любил поговорить и после каждой фразы как-то особенно щурился. Морщины на его маленьком шершавом лице, черные от въевшейся копоти и машинного масла, делались при этом еще чернее и глубже.

— Ты видел ево... пароход-от, голова? — говорил он с добрым затаенным смехом в глазах. — Дрянь посудинка-то, ну? Ничево-о, голова! Нала-адим. Там в машине малость частей не хватает, дак в депе можно раздобыть — пойдет...

— Как же тебя записать? — спросил Селезнев. — Машинистом?

— Люди механиком звали, а хошь — пиши машинистом... Нам все едино... Мы народ не гордый...

Он засмеялся мягким, беззвучным смехом, похожим на шорох дыма в пароходной трубе.

— Механиком и запишем, — серьезно сказал Селезнев. — А матросы тут все?

— Пятерых нет, — сказал «механик», — удрали.

— Босотва! — презрительно добавил нескладный чубатый парнишка. — Трусят...

— Перело-овим! — уверенно загудели остальные.

Селезнев отвел ребятам место в конторе и выписал им паек.

Работа пошла веселее.

В тот же день пришел капитан парохода — костлявый мужчина лет сорока, одетый, несмотря на стоявшую теплынь, в теплую казачью шинель и такую же папаху. Он относился к своей судьбе со странным безразличием, и Селезнев долго не мог отгадать, каково его действительное настроение. Они вместе прошли на пароход, где уже возились маленький механик и раздобытые им неизвестно откуда слесаря и плотники. Увидев, что работа кипит, капитан несколько оживился.

— Пятьдесят восемь лет посудинке! — сказал он с неожиданными ласковыми нотками в голосе. — Отец мой сорок лет на ней плавал. На Ханку и к Николаевску ходил. Тогда тут еще маленький поселочек был, а теперь — город...

Последнее слово капитан произнес с легким оттенком неодобрения и даже досады.

— Тебя как звать? — спросил Селезнев.

— Усов, Никита Егорыч.

— Тезка, значит? Ладно. Так вот, Никита Егорыч, назначаю тебя старшим по ремонту. Понял? Все, что требуется, докладывай мне. Срок — неделя.

— Недели мало, — сказал капитан, снова переходя на безразличный тон.

— Неделя! — решительно отрезал Селезнев.

Капитан помялся, потеребил выцветшие казачьи усы и, как-то сбоку глядя на Селезнева, сказал тем же безразличным тоном:

— Попробуем. Я хочу вам сказать, что я, конечно, не интересуюсь политикой. Но японцы тоже не по мне. Я не стану тормозить дело.

— Еще бы ты стал тормозить! — с обычной грубоватой и вместе с тем незлобивой насмешкой воскликнул Селезнев.

Но он понял капитана очень хорошо. Старый речной судак действительно боялся политики и предпочел бы сидеть дома. Но раз его сволокли с нагретого места, он решил работать не за страх, а за совесть, как работал на «Хорунжем Былкове», когда тот вылавливал большевиков.

На другой день Назаров привел «хозяйственного человека».

Более странного и подозрительного типа Селезнев не видел никогда в жизни.

Его лицо, волосы, шея, кисти рук с неимоверно длинными пальцами были ярко-рыжего, огненного цвета.

Веснушчатый нос чуть вздернулся кверху и совсем не вязался с горестной и немного ядовитой складкой тонких обветренных губ. При всем том «хозяйственный человек» имел очень жуликоватый вид, усиливавшийся потрепанным клетчатым пиджаком с воротником, загнутым кверху, указывавшим на знакомство с последней модой амурских «налетчиков».

Неприятно поразили Селезнева уставившиеся в него

немигающие белужьи глаза с длинными, почти белыми ресницами.

Фамилия «хозяйственного человека» оказалась Кныш.

Он должен был добыть весь необходимый материал по оборудованию парохода и заготовить продовольственные запасы для матросов и комендантской команды.

Однако он не выразил никакого испуга или протеста, узнав про трудности своей будущей работы.

Селезнев не решился сразу ввести его в курс и велел ему прийти на следующее утро.

— Назарыч! — недоуменно воскликнул он, когда Кныш вышел из конторы. — Ты промахнулся на этот раз, старый братишка. Ну, скажи мне: ну, что это за фигура?

Назаров вытащил из кармана голубенький кисет и, распустив завязку, достал из него кусок газетной бумаги и щепотку крупного коренчатого табаку. Свернув папироску, он протянул кисет Селезневу и, по обыкновению, не глядя ни на кисет, ни на Селезнева, сказал спокойным и ровным тоном:

— Это жулик. За ним придется присмотреть. Только для нас... — тут Назаров сделал маленькую паузу и тем же спокойным тоном докончил: — Это самый годящий человек.

Чувствуя, однако, что для Селезнева его слов недостаточно, он продолжал:

— Нас он не надует — факт. А других — сколько угодно. Он тебе самую последнюю гайку, хоть из-под земли, а доставит моментом. В живом виде.

Селезнев решил не спорить, а посмотреть. Но он не оставил Кныша без контроля и, дав ему на другой день задачу добыть в Иманском депо необходимые для машины части, написал бумажку от себя, в которой точно указал, какие именно части были нужны.

— Сходи в ревштаб, пущай председатель наложит резолюцию — «выдать».

Кныш оказался талантливее, чем предполагалось. В первый раз он действительно сходил в ревштаб и получил требуемую резолюцию. Однако он сразу увидел, что это очень длинная, волокитная история, а главное — никому не нужная. Развалившиеся части и учреждения не обращали никакого внимания ни на бумагу, ни на резолюцию ревштаба, а всюду приходилось действовать самому. Тогда он засел за работу и в пять минут разучил

подпись председателя как нельзя лучше. На всех следующих бумажках, выдаваемых Селезневым, он накладывал резолюцию собственноручно и, раздобыв требуемую вещь всякими правдами и неправдами, возвращал бумажку с надписью «исполнено».

Если ему не удавалось перехитрить тех, от кого зависела выдача необходимого продукта или материала, он старался его украсть. У него было неисчислимое количество «друзей», способных за незначительное вознаграждение выкрасть с неба апрельскую луну.

Неизвестно, какое количество различных ценностей Кныш употребил в свою пользу, но к указанному Селезневым сроку он не только достал все, что требовалось для парохода, но и нагрузил его более чем достаточным количеством муки, сала, печеного хлеба, солонины, гнилой копченой рыбы и даже липового меда.

Приведенный Назаровым «писучий человек» оказался вихрастым синеглазым мальчуганом лет пятнадцати, служившим до этого поваренком в одном из полков. Он совсем недавно бежал из родительского дома и жаждал более авантюристических похождений.

— Переезжай ко мне со всем имуществом, — сказал ему Селезнев. — Будем друзьями.

Имущество синеглазого парнишки выразилось в маленьком вещевом мешке, в котором, кроме смены белья, хранилось «Руководство для кораблеводителей», издания 1848 года, сломанный детский компас и старый заржавленный пугач без единого патрона.

Как бы то ни было, но работа в затоне закипела с лихорадочной быстротой. И каждый новый человек, каждый фунт краденого сала, каждая маленькая ржавая гайка, попадая на пароход, чувствовали на себе острый, распорядительный глаз Селезнева и его твердую, в железных мозолях, руку.

Через девять дней после начала работы Селезнев явился к председателю ревштаба и доложил ему, что «все готово». Пароход и баржа были заново отремонтированы, покрашены и в четвертый раз в своей жизни переименованы. Теперь пароход назывался «Пролетарий», а баржа — «Крестьянка».

К этому времени сформировалась комендантская команда. Это была разноликая, разношерстная «братва». Тут были рослые крепкоскулые пастухи с заимок Конрада и

Янковского — задумчивые ребята в широкополых соломенных шляпах, с неизменными трубками в зубах. Были замасленные и обветренные машинисты уссурийских паровозов, с черными, глубоко запавшими глазами, похожими на дыры, прожженные углем. Были тут и разбитные парни с консервной фабрики, с острыми, ядовитыми язычками и жесткими ладонями, порезанными кислой жестью.

Они безропотно грузили все, что им прикажут, и в жгучий полдень, и в слизкие, дождливые ночи, задыхаясь под тяжестью массивных станков и несчетного количества орудийных снарядов. Они несли бессменную вахту у пулеметов, с минуты на минуту ожидая выхода японских канонерок, чтобы перерезать им путь, и дрались смертным боем с бесчисленными толпами дезертиров, грозивших либо овладеть пароходом, либо «разнести в дресву паршивую посудину». Днем обстреливали их китайские посты, как только пароход приближался к китайскому берегу, а ночью леденил холодный туман, и сумрачный стлался вдоль границы Китай, суливший нежданные хунхузские налеты.

За Амуром у каждого оказались друзья, предлагавшие не ехать назад, в «чертово пекло», обещая «устроить» на более спокойные места без всякого риска. Но, справив дела, они неизменно возвращались обратно, шли, стиснув зубы, надвинув шапки на брови, снова вверх и вверх против течения — для новых вахт и драк, за новым драгоценным грузом.

И не знавший правил правописания, бесстрастный телеграф слал по линии одну за другой деловые телеграммы со странной, непонятной подписью: «комендант пролетарий селезнев».

5

Этот день был несчастлив с самого начала.

Около трех часов ночи пароход «Пролетарий» сел на мель верстах в двенадцати выше станицы Орехово. Чувствовалась несомненная халатность, так как речной фарватер был изучен до тонкостей в прошлые рейсы.

Кривоногий машинист свел Селезнева в трюм и, приподняв половицу, показал ему, чем угрожает подобный опыт в следующий раз.

— Глянь, голова, — сказал он, добродушно щурясь

в темноте, — днище-то на ладан дышит, насквозь проржавело. Еще разок сядем и — каюк.

По счастью, мель оказалась не широкой, и баржа, шедшая с пароходом «под ручку», остановилась на глубине. Вся пароходная команда, за исключением капитана и машиниста, перебралась на баржу. Нагруженная до отказа, подталкиваемая течением, она сволокла пароходик собственной тяжестью.

Селезнев вызвал капитана в каюту и, глядя в упор в его водянистые глаза, сурово сказал:

— Мы больше никогда не сядем на мель. Понял?

Разумеется, капитан был очень понятливым человеком. Но все-таки вместо четырех часов ночи они пришли в Орехово к девяти часам утра.

Измученный бессоньем, Селезнев едва стоял рядом с Усовым на капитанском мостике. Боясь уснуть, он заставлял себя изучать то неясные очертания далеких сопок, то прибрежные зеленеющие холмы, то притулившиеся к ним разбросанные избы станицы. Они все тонули в молодых вербовых зарослях. Весенний клейкий лист играл на солнце, как олово. Из кустов возле телеграфа вился кверху белесоватый, смешанный с паром дымок. Казалось, что вместе с ним тянется оттуда жирный запах сомовьей ухи. В ту весну по Уссури то и дело сплывали книзу безвестные трупы, и от них сомы жирели, как никогда.

Наконец пароход причалил, и Селезнев пошел на телеграф. За ним на почтительном расстоянии шагал «писучий человек» с тощей порыжевшей папкой под мышкой. Кстати сказать, в ней не имелось ни одной бумажки, и вряд ли она вообще была для чего-нибудь нужна. «Писучий человек» переоделся в ватные шаровары и просторную солдатскую гимнастерку. Ему пришлось подвернуть рукава, а похожая на блин фуражка покоилась не столько на его голове, сколько на ушах. Тем не менее он чувствовал всю важность и ответственность своего положения.

В конторе Селезневу передали телеграмму Соболя. Она удивила его и заставила насторожиться.

— Чудасия, — сказал он «писучему человеку», — кажись, мы ничего не делаем без приказу. Что-нибудь тут неспроста.

Около кустов, из которых тянулся заманчивый кухон-

ный дымок, их остановил полный человек в коричневом пиджаке и жесткой соломенной шляпе.

— Товарищ Селезнев, здравствуйте! — сказал он с виноватой, несколько заискивающей улыбкой.

Селезнев узнал председателя партийного района, в котором он состоял во Владивостоке.

— Здорово. Ты как сюда попал?

— Да вот... попал... — неопределенно пробормотал тот.

— Что делаешь?

— Да ничего. Так вот — туда, сюда. Неразбериха.

— Будет врать-то, — раздался из кустов хриплый насмешливый голос. — Скажи: младший гарнизонный повар. Потому, мол, ни к чему другому способностей не оказал.

Селезнев посмотрел на руки председателя района и заметил, что его пальцы порезаны и желты от картофеля.

— Что ж, и это дело, — сказал он, зевая.

Председатель покраснел и спрятал руки в карман.

— Товарищ Селезнев, — начал он, нервно мигая глазами, — не перевезете ли вы меня... за Амур?

— Разрешение есть?

— Разрешения нет, но... что ж я тут... верчусь — так, зря?..

«А ведь казался хорошим партийцем...» — в недоумении подумал Селезнев.

— Без разрешения не перевезу, — сказал он сухо.

— Товарищ Селезнев... — В дрожащем голосе председателя послышались умоляющие нотки. — Я вас прошу... в память нашей совместной работы... Я... измучился, я не могу больше работать здесь.

— Слушай, брось ныть, — устало перебил Селезнев. — Я не возьму без приказу. Прощай.

Он круто повернулся и пошел к пароходу. «Писучий человек» с любопытством наблюдал за обоими.

— Не берет, — сказал председатель со смущенной улыбкой.

Губы «писучего человека» задрожали мелкой смешливой дрожью, но он удержался от смеха. Кинув на председателя истинно комиссарский взгляд, он небрежно произнес:

— Подайте заявление и анкету в двух экземплярах. А впрочем, я вам не советую ехать. На нашем пароходе оч-чень опасно.

Комендантская команда грузила динамит. Из продол-

говатых ящиков тянулся легкий дурманящий запах, от которого кружилась голова. Несмотря на усталость, Селезнев присоединился к работе. Глядя на него, примкнули и матросы, хотя погрузка не входила в их обязанности.

Потом, лежа в каюте, Селезнев думал о странной телеграмме с фронта, и, даже когда совсем засыпал, ему казалось, что неугомонная пароходная машина выстукивает те же слова: «никаких... частей... не грузите...»

6

Он проснулся оттого, что кто-то настойчиво тормошил его за плечо.

— Товарищ комендант! Товарищ комендант!

Он вскочил на ноги и протер глаза.

Перед ним стоял «писучий человек» с беспокойным, несколько растерянным выражением лица.

— В Аргунской стоит какая-то часть...

Селезнев надел фуражку и стремительно побежал наверх.

Извиваясь меж холмов, стлалась вниз сверкающей лентой река. Впереди, на голом безлесном мысике, лепилась маленькая станичка, необычно кишевшая народом. Вся комендантская команда высыпала на палубу. Многие, чтоб лучше видеть, забрались на снарядные ящики, не уместившиеся в баржевом трюме и аккуратно уложенные наверху.

Селезнев посмотрел в бинокль и без труда различил на людях вооружение и походную амуницию. Он сразу почувствовал какую-то связь между ней и полученной им вчера телеграммой.

— Товарищ Усов, — сказал он, быстро оборачиваясь к капитану, — на этот раз мы не зайдем в Аргунскую.

— Нельзя не зайти: дрова на исходе.

Селезнев послал Назарова проверить. Дров действительно оказалось мало. Он знал, что на всем остальном пути их негде будет достать, а следовательно, вопрос решался сам собою.

— Команда... в ружье! — крикнул он жестким, отвердевшим голосом. — Пулеметчики, на места! Живо!

Не глядя на побледневшее лицо капитана, он перешел на баржу и, отозвав Назарова в сторону, велел занять ему место у сходен.

— Как сходни перебросим, ухо держи востро. Никого не пущай. Полезут силом — стреляй.

— Кныш, иди-ка сюда, — позвал он «хозяйственного человека». — Сегодня тебе будет большая работа. Ты, говорят, мастер заговаривать зубы. Как только причалим, слезай на берег и начинай тереться промеж братвы. Разговор заводи посурьезней: что-де, мол, пароходишка-то чуть жив, того и гляди, на дно пойдет, в протоке, мол, обстреливают каждый раз из орудий, прошлый раз, мол, сорок человек из строя выбыло... Да что тебя учить — сам грамотный! Одним словом, прикинься хорошим дружком, а сам пугай.

Кныш тотчас же выразил свое согласие, как соглашался и раньше на все, что ему предлагали.

— Только смотри, — предупредил Селезнев, — если какая дурь взбредет в голову...

Тут он выразительно хлопнул по карману с револьвером, и его лицо приняло черствое, почти жестокое выражение.

— Не взбре-дет, — засмеялся Кныш, — дело знакомое.

Пароход подходил все ближе и ближе, но на берегу не чувствовалось никакого волнения. Теперь простым глазом можно было различить в толпе не только оружие, но даже выражение лиц. Они смотрели с любопытством и ожиданием, но без всякой враждебности.

Пароход медленно повернулся против течения почти у самого берега.

— Отдай якорь! — хриплым, не своим голосом скомандовал Усов.

— Здорово, ребя-аты! С приездом! — кричали на берегу.

Селезнев снял фуражку, помахал ею в виде приветствия. Выражение его лица было приветливо и беззаботно.

Покачиваясь на собственных волнах, пароход подошел к пристаньке. Тотчас же двое ребят соскочили на берег и закрепили концы. Чьи-то сильные загорелые руки перебросили сходни, и по ним врезалась в толпу частая матросская цепь. Двое с винтовками впереди расчищали дорогу к дровяным штабелям, а за ними несколько смущенно и неуверенно тянулись остальные. Впрочем, никто не оказал им никакого сопротивления.

Стоявший наготове Кныш незаметно юркнул в толпу.

— Что за часть? — спросил Селезнев, спускаясь на берег.

— Мы семенчуковцы... — раздалось несколько голосов.

— Слыхал, слыхал... Молодцы, — похвалил Селезнев, — боевых сразу видно...

Широкоплечий скуластый мужчина в тигровой тужурке выдвинулся из толпы и подошел к нему.

— Я командир отряда, — сказал он, протягивая руку.

— А я комендант парохода, — отрекомендовался Селезнев.

«Ну и ряжка», — беспокойно подумал он, изучая наклонившееся к нему лицо.

— Мне тебя и надобно, — продолжал Семенчук, — насчет нашей погрузки.

— Идем на пароход.

Когда они проходили мимо окаменевшего у сходен Назарова, Селезнев пропустил Семенчука вперед и, незаметно тронув взводного за рукав, шепнул:

— Пошли одного парня к моей каюте. Пущай станет у дверей и ждет, пока позову.

Он с удовлетворением отметил, что погрузка дров идет полным ходом, и, подхватив Семенчука под руку, вместе с ним спустился в каюту. «Главный выигрыш — время», — думал он, шагая по шатким ступенькам.

На берегу мирно дымились бивачные костры. Кныш быстро втерся в одну из компаний, отыскивая земляков.

— Так, так, — говорил он, хитро прищуривая глаза. — Амурцы, значит? Стало быть, землячки?.. Так, так... Каких уездов?

Оказалось, что тут имеются люди со всех концов Амурской области. Кныш знал ее вдоль и поперек и, таким образом, с первых же слов обнаружил себя вполне своим человеком.

— И давно вас сюда передвинули?

— Сами пришли. Нешто кто передвинет? Ка-ак же!.. Держи карман шире... Тута все продано до последнего человека... Ежели командующий золотопогонник, какая тут война?..

— Это верно, — согласился Кныш. — Нашего брата везде надуют... Это уж как было, так и останется. Землю пашем мы, а хлеб кушает дядя... Куда же вы теперь?

— Домой.

— Та-ак...

Кныш подбросил в огонь несколько щепок и с видом человека, который говорит истинную правду, но в общем не заинтересован в том, как ее примут, спокойно произнес:

— Только домой вам не попасть, вот.

— Чего так?

— А за Амуром, братишка, такой порядок: приезжает человек — к нему сейчас же начальство: «Ваш пропуск?» Пропуска нет — чик... и готово... в Могилевскую губернию. Это, брат, там моментом.

— Расска-азывай! — недоверчиво протянул кто-то. — Нас целый отряд, а не то што какой один.

— Что ж, что отряд?.. Вот прошлым рельсом тоже перевезли один батальон. Нам, натурально, все едино, а у его приказу не было. Так за Амуром сейчас же орудия, пулеметы... Наставили: чик-чик-чик... — Кныш выразительно повращал белками и, безнадежно сплюнув в сторону, добавил: — Подчистую.

Его слова действовали самым убийственным образом, но он и привык работать наверняка. Умение провоцировать входило составной частью в его многообразную профессию. Он обходил кучку за кучкой, то выпрашивал табачку, то отыскивал двоюродного брата и всюду рассказывал о том, как «прошлым рельсом» они отбивались от японцев в протоке ручными гранатами, или о том, что стоять в Аргунской тоже далеко не безопасно.

— Вот дня четыре тому назад... японская канонерка версты на три досюда не дошла. А мы от их всякий раз бегаем: служба такая...

В каюте Селезнев потребовал от Семенчука приказ о погрузке.

— Видишь, какое дело, — ответил Семенчук, — отправили нас срочно и писанного приказа не дали. Командующий на словах передал: «Идите, говорит, там погрузят».

Он хитро мигал глазами и крякал после каждого слова.

— Как же мне быть? — нерешительно мямлил Селезнев. — Ну, ты сам командир, — понимаешь, в чем тут загвоздка?.. Ну, как бы ты сам поступил?

— Да ясное дело, как! — воскликнул Семенчук. — Омманывать я, чай, не стану. Тут дело верное.

— Давай лучше вызовем к прямому проводу штаб, — предложил Селезнев.

— Телеграф не работает, я уже пробовал, — соврал Семенчук. — Да ты что, не веришь, что ли?

Теперь Селезнев не сомневался, о ком говорила полученная им телеграмма. Ждать дальше не имело никакого смысла. Как бы в раздумье, он прошелся по каюте и, поравнявшись с дверью, выхватил из кармана браунинг.

— Не шематись! — крикнул тугим и звонким, как натянутый трос, голосом. — Руки на стол! Ну-у! Поговорим по-настоящему.

— Ты что? — прохрипел Семенчук, бледнея. — Ты что!.. Ах ты, с...

— Цыть! — оборвал Селезнев с мрачной угрозой. — Только пикни! Дыр наделаю — не сосчитаешь! Эй, кто там? Сюда иди!

Стоявший у дверей народоармеец ворвался в каюту.

— Обезоружить!

В несколько секунд Семенчук лишился всех знаков своего командирского звания.

— Вот теперь погрузился и сиди, — мрачно пошутил Селезнев. — Все равно, где расстреляют: здесь или за Амуром.

Он вышел из каюты и запер Семенчука на ключ.

— Иди на берег, — сказал народоармейцу, — и позови Кныша. Скажи, мол, комендант и Семенчук зовут узнать насчет продуктов. Да пошли ко мне Назарова!

Он еще не знал точно, что ему делать в дальнейшем, но первая позиция была занята почти без боя.

— Назарыч! — сказал он, когда взводный спустился вниз. — Всю команду незаметно разложи по борту. Усову скажи, пущай приготовится. Как кончат грузить дрова, скажешь мне, а кого другого пошли отдать концы. Если спросят на берегу, зачем отвязывает, пущай скажет, что грузить, мол, вас будем у второго причала, выше...

«Может, выйдет, а может, и нет», — подумал он, провожая взводного глазами. Во всяком случае, ему самому не следовало вылезать наверх без Семенчука.

Минут через пятнадцать пришел Кныш.

— Ну, как там? Что говорят?

— Да что, товарищ комендант, народ серый... — Кныш презрительно почесал за ухом. — Я им наговорил страстей — до будущего года хватит. Придет, говорят, Семенчук, будем митинговать. Только злы они — это верно.

— Ладно. Больше на берег не ходи. Ступай.

Когда Селезневу сообщили, что погрузка окончена, он не пришел еще к ясному решению. Туго перетянув пояс и надвинув фуражку на лоб, взбежал на палубу и, пригибаясь к доскам, почти ползком перебрался на баржу. Нудно скрипела ржавая цепь, и где-то внутри медленно стучала машина, подталкивая судно навстречу якорю.

Весь Семенчуковский отряд сгрудился у второго причала. Бесформенная, обезглавленная масса зловеще чернела на светло-зеленом фоне берега, но Селезнев чувствовал всем своим нутром, что она сплошь состоит из усталых, растерянных и обманутых людей.

Лежа между снарядными ящиками, он слышал, как пароходные лопасти со звоном раскалывали воду, и думал, как поступить. Он мог бы просто миновать второй причал, дав судну полный ход. Но тогда люди на берегу почуют измену и откроют стрельбу. Он не имел права идти на такой риск, чувствуя под ногами семьдесят пудов динамита. Одной пули в трюм было бы достаточно, чтобы от гнилой посудины не осталось и следа. Значит...

Лицо Селезнева стало коричневым и жестким, как ржавое железо. Он медленно повернул голову и тихим, оледеневшим голосом бросил припавшим к борту людям слова, простые и безжалостные, как камни:

— Взвод, слушай... мою команду... Пулеметчики, приготовься... По Се-мен-чу-ковскому... отря-аду... постоянный прицел.... Взво-оод!

С берега доносился разноголосый человеческий гомон, и густо и ровно стучала машина, как настороженное сердце зверя.

— Пли!

В первое мгновенье никто на берегу не понял, что это смерть. Но залп следовал за залпом. Тогда, бросая винтовки, скатки, патронташи, сумки — все, что мешало бежать, — сгибаясь к земле, люди ринулись прочь от берега. Они падали в траву безжизненными кулями мяса, не издав предсмертного стона, а раненые впивались в землю костенеющими от страха пальцами.

— Вверх стрелять! — кричал Селезнев. — Довольно по людям! Усов, давай полный!

Пароходик рванулся книзу и, кутаясь клубами дыма, разбрасывая в стороны белые пласты кипучей холодной пены, помчался прочь от Аргунской.

7

Челноков прибыл на станцию Вяземскую поздней ночью. Матросский батальон ждал его на перроне в полном боевом снаряжении. Батальоном командовал рослый сивоусый матрос с миноносца «Гроза». От него Челноков узнал историю похода матросских батальонов из Владивостока на Иман.

Когда японцы врасплох напали на владивостокский гарнизон, доблестные моряки под перекрестным пулеметным огнем высадились с миноносцев на берег и, преодолев восемь рядов проволочных заграждений, вырвались в тайгу. Окольными тропами, продираясь сквозь валежник и чащу, они в двенадцать суток сделали около пятисот километров и утром вошли в город Иман, усталые и загоревшие, с песней:

По морям, морям, морям,
Нынче — здесь, а завтра — там...

На рассвете батальон под командованием Челнокова выступил в направлении станицы Аргунской. Две ночи батальон провел в тайге. На третьи сутки высланная Челноковым разведка сообщила, что Аргунская близко и что Амгуньский полк еще находится в станице.

— Что-то, товарищ комиссар, неладно у них, — сказал разведчик, отирая рукавом пот и улыбаясь. — Баба в крайней избе говорит, будто приходил пароход и командира увез у них... Большая, говорит, стрельба была, есть убитые и раненые...

— А часовые у них расставлены? — удивленно приподняв брови, спросил Челноков.

— С этого краю часовых нет...

Оставив батальон в лесу, Челноков с двумя разведчиками взобрался на сопку. Станица Аргунская лежала внизу в вербовых зарослях. Далеко видна была извивающаяся лента реки, отливавшая серебром и весенней синью.

Посреди станицы, у церкви, виднелась большая толпа вооруженных людей. Семенчуковский отряд митинговал.

Люди, лиц которых нельзя было разобрать, сменяя один другого, взбегали на паперть, игрушечно размахивали руками. Иногда до Челнокова докатывался гул голосов.

Коренастый человек, сильно прихрамывая, взошел по ступенькам. По его фигуре и хромоте Челноков узнал

в нем командира первой роты Буланова, бывшего пастуха. Буланов постоял на паперти, потом поднял руку, и тотчас же лес рук вырос над толпой. До Челнокова чуть долетел голос команды. Толпа закипела и распалась — Семенчуковский отряд начал строиться.

— Ну, вот что, ребята, — дрогнувшим голосом сказал Челноков, — бегите к командиру, скажите, чтобы строил батальон в колонны и шел к церкви, а я сейчас к своим пойду...

И, к величайшему удивлению разведчиков, он побежал с сопки в станицу.

Пробежав переулком, у выхода на площадь Челноков замедлил шаг и спокойной, твердой походкой направился к шеренге.

В тот момент, когда он вышел на площадь, шеренга рассчитывалась на двое:

— Первый... Второй... Первый... Второй...

Но в этот же момент вся шеренга увидела Челнокова, — счет перепутался, шеренга дрогнула и замерла.

Командир первой роты Буланов удивленно обернулся и застыл.

Челноков медленно подошел к нему.

— Товарищ комиссар! — неожиданно взвизгнул Буланов. — Мы...

Вдруг рябое лицо его исказилось, он схватился руками за голову и заплакал.

Челноков некоторое время сурово смотрел на него. Было так тихо, что слышна стала возня голубей на колокольне.

— Товарищи! — обернувшись к шеренге, спокойно сказал Челноков. — На ком остановился счет? Продолжайте...

Несколько секунд еще стояла тишина, потом кто-то сказал почти шепотом:

— Первый...

— Второй... — хрипло отозвался сосед.

— Первый... — смущенно откликнулся третий.

— Второй... — уже более уверенно подхватил четвертый.

— Первый... Второй... Первый... Второй...

По главной улице, вздымая клубы пыли, мерно шагал матросский батальон на соединение с Амгуньским полком.

ОДИН В ЧАЩЕ

Глава из повести «Таежная болезнь»

1

«Старик» проснулся на таежной прогалине — в багряной, облитой солнцем траве.

Он не удивился, что лежит один на незнакомом месте. Но прошлое, такое недавнее и близкое, было подернуто туманной дымкой, будто отодвинулось вдаль, стало чужим. Он ощущал *новое* в себе и вокруг. Оно слагалось из тончайших неуловимых переживаний, которым нет имени, но самым важным, существенным, незабываемым было ощущение себя и, прежде всего, своего тела. Он чувствовал, как живет, как дышит в нем каждый атом, каждая клетка. Казалось, стоит хоть немножко пошевелиться — и заиграют, запляшут насыщенные живым и горячим мускулы. Он осязал даже мельчайшие неровности почвы под собой. Когда закрывал глаза, на каждой ресничке чувствовал солнце и вбирал, ловил его жадными веками. Где-то у виска размеренно билась тоненькая жилка, и, казалось, впервые он ощущает ее биение. Будто не было тут раньше никакой жилки!.. Даже ласковый шорох засыхавшего пырея проникал не только в уши, но во все поры тела, ощущался всем существом от пяток до кончиков волос.

Старик живо приподнялся на локте, тряхнул головой, осмотрелся. Таежная прогалина ничем не отличалась от

тех, на которых частенько приходилось спать в последнее время. Но она показалась ему необыкновенно, несказанно красивой в золотисто-желтом уборе осеннего листопада. Это впечатление было тем более странным, что раньше он либо не замечал окружающей природы, либо она имела для него чисто практический интерес.

Старик происходил из той породы неугомонных людей, жизнь которых богата внешними и внутренними переживаниями и ощущениями. Но *эти* были новы и особо значительны для него. До сих пор он слишком мало — гораздо меньше, чем это допускал даже его род деятельности, — обращал внимание на себя. Всю сознательную жизнь он, почти забывая о собственном существовании, занимался другими людьми — людьми своего класса. И в этом занятии, заключавшем основной смысл и неосознанную радость его жизни, участвовала гораздо больше голова, чем тело. Проснувшись на заброшенной таежной прогалине, Старик впервые почувствовал, что кровь играет в нем, как свежий кленовый сок, а жилы туги и звонки, как тросы.

В первые минуты он не подумал о том, хорошо ли это или плохо. Может быть, в новых ощущениях крылись неведомые опасности, но он не мог знать этого теперь и просто, бесхитростно наслаждался.

Ему вспомнилось почему-то, как с неделю тому назад у речного откоса подошел к нему тонконогий Федорчук и, насильно перебирая трясущимися губами, сказал:

— Что нам теперь... — Он замялся, очевидно отыскивая наиболее значительное и безнадежное слово для выражения своей мысли, и, не найдя его, снова повторил: — ...что нам теперь... делать? Или уже все кончено?..

Справа от них тянулись нависшие над пересохшим оврагом густые вербовые заросли. Оттуда доносилась бойкая ружейная трескотня, и пули с визгливым чмоканьем проносились над головами.

Впервые разглядев как следует безвольную, опущенную фигуру Федорчука, Старик подумал, как неосмотрительно областной комитет распределяет людей. Человека, годного самое большее к расклеиванию прокламаций, он прислал в качестве организатора партизанских отрядов. Надо же было, черт возьми, иметь голову на плечах!

Но растерянные, опустошенные глаза Федорчука робко просили о поддержке. И хотя Старику не верилось, что кто-нибудь выберется живым из этой гиблой, изрезанной

летними водами долинки, он бодро хлопнул парня по плечу и пошутил, как всегда добродушно и весело щурясь:

— Дурило! Мы еще только начинаем. Неужели ты думаешь, что *они,* — тут он неопределенно ткнул пальцем в вербовые заросли, — полезут за нами на Эрльдагóускую тропу?.. Нет уж, брат, дудки, этот номер не пройдет!..

Федорчук не знал, что на свете не существует никакой Эрльдагоуской тропы, и немножко приободрился.

В тот момент ничего похожего на переживания сегодняшнего дня у Старика не было и не могло быть. Тогда он ни разу не подумал о себе, — наоборот: больше, чем когда-либо, забыл про свое существование. Хотелось только утешить Федорчука и других, таких же как Федорчук, с такими же бледными и растерянными лицами. Все они жадно прижимались к земле, казавшейся им последним убежищем до и после смерти, и бестолково стреляли по вербовым зарослям сквозь плохо прикрывавший их обнаженный и колючий кустарник. Старик замечал, как некоторые украдкой срывали с фуражек красные бантики.

Не было этих переживаний и потом, когда в течение недели их гнали все выше и выше, пока не стиснули совсем в паршивой деревушке в верховьях Эрльдагóу. Там, на прокуренном и заплеванном постоялом дворе, даубихинский спиртонос Стыркша сообщил последнюю новость: голову Старика оценили в тысячу рублей. Походная типография атамана Калмыкова сотнями разбрасывала по падям листки с приметами Старика и обещаниями всевозможных благ (на том и этом свете) за поимку живого или мертвого.

Старик почувствовал, что на него устремились десятки испуганно-вопросительных глаз. Но не только потому, что на него смотрели другие, а и потому, что собственная личность меньше всего интересовала его в эти дни, он стал беспечно шутить и смеяться.

— Вот не было печали, — сказал он, приподымая насмешливо прямые жесткие брови. — Додумались же, сукины дети! Чудаки, право...

Но его никто не поддержал. Стыркша вынул изо рта обгорелую трубку с чубуком в виде оскаленной собачьей пасти и, сплюнув желтую от никотина слюну, сказал:

— Смеяться тут нечего. Мою голову оценяли и в старое и новое время. Не скажу, чтоб уж очень дорого, но жить даже с дешевой бывает несладко.

Он по привычке погладил против шерсти растрепанные, лишайного цвета усы и, снова зажав трубку зубами, пояснил:

— Вы и без того бегаете, как зайцы, а тут гайка совсем заслабит. Потому — соблазн! Знает тебя всякий мальчонка, а тысяча рублей — пущай «сибирками» — деньги немалые.

Утром их вышибли из деревушки, прижали к таежному хребту, и Старик почувствовал на собственной шкуре, что спиртонос был прав.

Это последнее бегство сохранилось в памяти наиболее четко и, как видно, имело для Старика наибольшее значение.

Бежало около сорока человек. Но Старика узнали по плотной угловатой фигуре, по крепкому затылку, по буйным седеющим волосам. Его сразу выделили из всех. Назойливые свинцовые мухи затенькали, завизжали над ним обильней и яростней, чем над всеми остальными вместе. Казалось, весь огонь, вся злобная ненависть людей под горой сосредоточились только на нем. Ощущение было, будто пули задевают волосы, даже пушок на ушах. Их визгливое сюсюканье зловеще отдавалось в мозгу.

Он бежал в гору через валежины, разрывая цепкий широколистый виноградник, захлебываясь росистой паутиной, проваливаясь на каждом шагу в гнилую древесину. Залпы летели широкие, раскатистые, рассыпчато-гулкие, как горные обвалы. Привычным ухом он различал, как в перебойный треск винтовок вплетался округло-четкий плач японских карабинов. Огненными нитками — настойчиво, жестко, бесстрастно — строчили бездушные пулеметы. Казалось, пули дробятся в ветвях на мириады электрических искр, насыщают воздух колюче-ржавой пламенной пылью, и ею дышат люди, обжигая легкие.

Последний человек, которого он увидел недалеко от себя, была отрядная сестра. Окруженный смертельным свинцовым роем, Старик чувствовал, что все инстинктивно сторонятся его. Но сестра по неопытности держалась близко. Ее матово-смуглое, красивое лицо перекосилось от ужаса. Спутавшиеся каштановые волосы непослушно трепались на ветру. Она цеплялась юбкой за корявое ломье и несколько раз падала с жалобными возгласами.

Даже в тот момент, когда все, казалось, желало *его* смерти, Старик прежде всего подумал не о себе, а о дру-

гом человеке, который мог погибнуть возле. Он крикнул:

— Не приближайтесь ко мне!.. Вы слышите?.. Не теряйте из виду остальных!..

Сестра вскинула на него глаза, наполненные слезами и жутью, и сказала не столько ему, сколько себе:

— Мы не уйдем отсюда живыми...

Старик почувствовал, как что-то суровое и нежное, неизбывно жалостливое рванулось и затрепетало в сердце. А когда через несколько секунд он посмотрел в ее сторону, она лежала, опрокинувшись через бревно, уткнувшись головой в пропахший спиртом, прелый листозём, и ее гибкое тело исходило последней дрожью.

Старик понял, что это смерть и что смерть ужасна. Но еще лучше понял он, — вернее, почувствовал всем нутром, — что *жизнь* прекрасна и радостна и что он любит жизнь, — хочет и будет жить во что бы то ни стало, ибо самое страшное — лежать вот так, опрокинувшись через бревно, уткнувшись носом в мертвую землю, и знать, что через несколько секунд тебя не станет. И потому, что сердце Старика работало неутомимо, как машина, а ноги стихийно, стремительно, мощно несли над землей послушное тело, и потому, что все его насыщенное волей и бегом существо напряженно рвалось к жизни, молило о жизни, цеплялось за жизнь мельчайшими клеточками, фибрами, жилками, — он выдержал этот полуверстный пробег под огнем на вадыбленные кручи Али́ня. Это был пробег израненного зверя через чащу, бурелом, карчи. Но он вырвался все-таки на хребет... вырвался — взмыленный, изодранный и ярый, но живой!

Напрягая последние силы, перевалился через мшистый, изъеденный козьими тропами гребень и, полный неутолимой злобы, свалился у подножий густоиглого пихтача. Он весь дрожал от напряжения. Жилистое, исцарапанное тело изнемогало в бессильной ярости. Он сам не мог бы сказать, чего в нем больше: усталости, торжества или бешенства. Хотелось снова высунуться за гребень и выхаркнуть двуногому зверью в желтых околышах:

— Смотрите! Вот моя голова!.. Вы оценили ее в тысячу рублей! Но она никогда не достанется вам — она сидит еще слишком крепко для вас!..

Он насильно разжал судорожно стиснутые зубы и затих, прижавшись к земле разгоряченной щекой.

За хребтом глухо рычали автоматы. Пули с визгом буравили повисшее над хвоей осеннее, голубовато-серое небо. Старик чувствовал, как в прижатом к земле ухе копошится какой-то надоедливый жучок, которому, очевидно, не было никакого дела до всего происходящего, а другим настороженно ловил каждый звук за хребтом.

Стрельба нарастала, как прибой.

Старик превозмог усталость и, крепко сжав винчестер, откидывая корпус назад, чтобы не упасть, побежал под гору. Когда ввалился в сырое и темное ущелье, с гребня снова трахнуло тяжелыми гулкими залпами и... «та-та-та»... — залился хриплым безудержным лаем пулемет.

Яростно закусив губу, Старик помчался вниз по ключу. Ущелье раздалось неширокой лесистой долиной. Он вымок от росы, отяжелел и фыркал, как изюбрь. Инстинктивно огибал выраставшие перед глазами осенне-алые кусты, прогнившие валежины, затаившие испуганный мышиный писк, навалы сухостоя. Ноги спотыкались о вросшие в землю, проржавевшие мохом и плесенью коричнево-слизкие валуны.

А со всех сторон обнимала его хвойноиглая, златолистая, сухотравная, напоенная осенней тишиной тайга. За желтым ветвистым кружевом уж не таился зверь. (Незнаемыми тропами ушел он к главному становику, в далекие дебри Садучара.) Трепетной утренней бирюзой играли ключи под нежарким солцем. Печально и тихо, как слезы, звенели по листьям янтарные ро́сы. Засыхавшая осока шуршала в заводях зазывно, маняще-таинственно. В золотистом таежном увядании, в запавшей в паутине грусти, в унылых и скорбных, опустевших, забытых зверем чащах хотел жить, казалось, только один измученный и загнанный человек.

Он бежал до тех пор, пока не смолк позади ружейный говор, пока хоть каплю сил мог выжать из себя. А исчерпав последние, приткнулся в траву взлохмаченной потной головой и, слушая идущие будто из-под земли толчки чужого неугомонного сердца, заснул.

И, видно, в те минуты, когда шелестело на висках свинцовое дыхание смерти, когда лежал на хребте, прижавшись к хвое чутким, настороженным ухом, когда ломился без дороги в лесном багряном золоте, а после спал в облитой осенним солнцем траве, все его существо не-

зримо перерождалось. Но, проснувшись, Старик впервые почувствовал, что кровь играет в нем, как свежий кленовый сок, а жилы туги и звонки, как тросы.

Он сидел на прогалине с сурово сжатыми губами, а внутри, прорываясь сквозь смутную тоску одиночества, крылато и бурно, как вспуганная птица, полыхала необъятная радость, радость здорового, оставшегося в живых тела. Он вытянул вперед руку, с силой напружил мышцы и с какой-то детской радостью подумал: «А ведь я чертовски здоров!..» Было так приятно сознавать это, что он даже удивился, как не замечал раньше. Ему стало смешно и даже обидно, что у него в тридцать лет седые волосы и его зовут «Стариком». «А ведь как бежал... бежал-то как?.. Ах, дья-а-вол!..» Он засмеялся с мальчишеским задором, наслаждаясь, как ребенок, сознанием своей силы. Несколько раз сгибал и выпрямлял ногу. Она ныла слегка после чрезмерной работы. Где-то у таза играл твердый, мускулистый шарик, сквозь кожаную штанину проступали мышцы, упругие и крепкие, как корни. Положительно, он никогда не замечал этого раньше! Он действительно переродился наново.

Старику не хотелось уходить, солнце пригрело его, он готов был весь день провести на этой прогалине. Лежа на спине с закрытыми глазами, нарочно отгонял мысли о будущем и думал о том, как это хорошо, что он все-таки остался жив, какая хорошая и приветливая попалась ему прогалина и как хорошо, светло и чудесно кругом, несмотря на осень. Он думал также, что если бы раньше в каждый час своей жизни он испытывал то необыкновенное радостное чувство, которое владело им на этой прогалине, то его работа и вся его жизнь, и без того казавшаяся неплохой, были бы еще интересней и привлекательней.

Наконец он заставил себя подняться. Тщательно подвел итоги имуществу: провизии нет, теплой одежды нет, шапку потерял... спички?.. Испуганно схватился за карман. Здесь! Достал коробку и бережно пересчитал: семнадцать штук. При внимательном отношении хватит дней на восемь.

Вскинул винчестер за плечо, постоял несколько секунд, прислушиваясь к себе и вокруг, и, бодро насвистывая, зашагал книзу.

2

Утреннее, нарочито веселое настроение долго не покидало Старика в пути. Непролазно-цепкий кустарник загораживал ему дорогу, но он уверенно раздвигал его крепкими руками и неутомимо шел вперед. Ноги упруго тонули в мягком настиле опавших листьев, каждый шаг отдавался во всем теле хмельным и радостным зудом. И мысли Старика были необычайно просты и примитивны — исключительно практические мысли о том, как лучше пройти. То он пролезал, согнувшись, под поваленным деревом и думал: «Вот отогну еще эту веточку, а потом шмыгну вправо — там меньше кустов». Или: «...нет, лучше пролезть по ту сторону ясеня... Перейду овражек по бревну и прямо двинусь вдоль ключа». Старик знал, что нарочно думает о таких вещах, отгоняя беспокойные заботы о будущем, которые своим неопределенным содержанием («...куда я выйду? Да выйду ли я вообще отсюда? Что ожидает меня в ближайшем жилье? Может быть, то же, что осталось позади?..») могли нарушить его душевное равновесие.

Через некоторое время захотелось есть — первое, что омрачило его бездумное и беззаботное состояние. Он подобрал с земли несколько кедровых шишек и уселся на камне возле ключа. Заходящее солнце било откуда-то сбоку тепловато-осенним светом, и под ним таежный лист и мох, устилавшие ключевую низину, отливали червонно и бархатно. Склонившись над ключом, Старик долго разглядывал свое лицо. За последние недели оно заросло жесткой чернявой щетиной, где-то под глазами залегли усталые складки. Но все же это было мужественное, энергичное лицо, и оно понравилось Старику. Раньше он никогда не интересовался им, месяцами не заглядывая в зеркало.

Снова любовное ощущение своего тела овладело им. Он сидел, раскинувшись широко и вольно, и гордился тем, что заросшее мужественное лицо, пытливо смотрящее из воды, принадлежит ему. Но когда раздался вблизи какой-то шорох, Старик отскочил в сторону, не помня себя от испуга. И хотя тут же заметил, что тревога была ложной, насилу удержался от непреодолимого желания спрятаться за ближайшим кустом. Сердце, сорвавшись с тормозов, зачастило короткими и быстрыми ударами.

...Так вот как! Оказывается, сегодняшний день принес ему не только безмятежное любование собой, но и голую, неприкрытую боязнь за жизнь? Так, значит, в том, что он приобрел на таежной прогалине, таятся не только прекрасные возможности, но и кой-что другое, враждебное всей его природе? Ведь раньше он не знал страха, а теперь жаль было лишиться сильного тела и никогда не увидеть «мужественного» лица, которым только что восхищался?!

Старик не успел еще разобраться в нахлынувших вопросах, как новая мысль помимо воли сковала его члены. Он вспомнил, что карательные экспедиции водят с собой собак-ищеек, и в ужасе оцепенел. Разве не могла увязаться за ним одна из таких ищеек, и все нечеловеческое напряжение сегодняшнего утра окажется напрасным?! Он боязливо прислушался и осмотрелся по сторонам. Но лес стоял безмолвен и неподвижен, только ручей звенел по камню тихим серебряным звоном да где-то далеко посвистывал одинокий рябчишка. Тогда Старик опустился на камень и засмеялся чужим, враждебным смехом — прерывисто, хрипло, зло.

Тайга шутила с ним злые, нехорошие шутки, это она смеялась над ним беззубо и мертво, грозила корявыми пальцами обомшелых елок. Но она не знает, видно, с кем имеет дело! Человек, способный руководить сотнями и тысячами *людей*, не может и не должен бояться таежных шуток! И, насильно заглушая всякие проявления страха, Старик начал доказывать себе так же логично и несокрушимо, как это он делал в свое время другим людям, что если бы у преследовавшего его отряда были собаки-ищейки, то они нашли бы его, еще когда он спал на таежной прогалине. «Допустим даже, что их привели позднее, — наставительно и строго рассуждал Старик, как будто он говорил все это Федорчуку, — но тогда, сколько ни волнуйся, они рано или поздно все равно найдут тебя. Так уж лучше вести себя спокойно и не праздновать труса, чтобы не потерять к себе всякого уважения...» Он не замечал, что во время этих рассуждений его уши чутко ловили каждый шорох. Он ужаснулся б, если бы знал, что они приобрели способность шевелиться, как у зверя!

И когда он тронулся в путь, казалось, что кто-то неведомо страшный норовит вцепиться ему в спину, и мелкие мурашки бегали по спине. Но он упорно боролся с этим

ощущением, — то замедлял шаги, то принимался петь, то останавливался, как бы поправляя обувь, — не оглядывался до тех пор, пока привычный ритм ходьбы не вернул ему душевного равновесия.

Вечером Старик снова испытал смутную тревогу человека, не привыкшего к лесному одиночеству. Нужно было разводить костер, но он заранее содрогался от мысли, что это будет единственная светлая точка во всей тайге. Казалось, враждебные ночные силы уставятся на нее тысячами глаз. А без огня с таинственно-мохнатых елей стекала в сердце тоскливая жуть, тело зябко ежилось от сырости. Собирая хворост, Старик нарочно как можно сильнее трещал ломьем, с грохотом разбивал его о стволы. Гнетущая ночная тишина окутывала, засасывала, давила его. Но Старик не хотел подчиниться тишине! Он ломал даже те сучья, которые не тяжело было дотащить целыми; несколько раз, изменяя своим целомудренным привычкам, похабно и скверно выругался.

А потом, тоскливо сидя у огня, грыз набившие оскомину орехи и думал, что если бы удалось опустошить даже весь кедровник, и то б он не смог насытиться такой мелочью. Он злобно швырнул шишку в огонь и, безнадежно обхватив колени липкими от смолы руками, задумался...

...Интересно, как теперь в городе? Сенька Данилов из Центрального штаба должен поехать скоро для связи. Старик ясно представил себе Сеньку Данилова с его сухим, казенным лицом, редкими усиками и безразличными, неизвестного цвета глазами. Ночью, крадучись по темным слободкам, он проберется на квартиру к Крайзельману. После обычных приветствий и поцелуев, во время которых все его лицо распустится неожиданно в доброй и светлой улыбке, он снова оденет на себя сухую, казенную личину, начнет рассказывать без всякого выражения, почти газетным языком:

— Такого-то числа части атамана Калмыкова совместно с японцами и чехословаками предприняли общее наступление на наши отряды...

Будет перечислять по очереди: такого-то числа разгромили такой-то отряд (тут он покажет по карте, где этот отряд стоял), такого-то числа — такой. Наконец, дойдет до Старика. В этом месте предупреждающе замигает веками, и снова лицо его станет живым, грустным и добрым. Дрогнувшим, изменившимся голосом он забормочет:

— А еще, брат Крайзельман, паршивая новость... Старик пропал без вести... Дурацкая там какая-то история вышла... Голову его оценили — вот у меня листок...

И, странно смутившись, он полезет за пазуху. А Крайзельман, схватившись за голову, опустится над столом и будет причитать:

— Что вы наделали... ай-я-я-яй, что вы наделали...

Он наверняка прослезится, может быть достанет платок. А потом, разнервничавшись, забегает по комнате — маленький, толстенький, лохматый, — начнет кричать:

— Как же вы не сумели уберечь? Вот и посылай вам членов областкома!.. То небось грязью обливали, — члены, мол, областкома пороха боятся... А вот как уберечь... разявы!..

Успокоившись, он будет раза три предупреждать, чтоб Данилов больше никому не рассказывал.

— ...Знаешь ведь, какое тут настроение? Упадок! Ребята в десятках только на Старика и надеются. Это *партийные* ребята. А что на заводах?.. — Тут Крайзельман по склонности преувеличивать выпалит что-нибудь оглушающее: — Там на него молятся! Если до них такая вещь дойдет, так ведь тут какой провал?! А мы забастовку Временных мастерских облаживаем... Нет, нет! никому не рассказывай, пусть один комитет знает...

Но сам он не выдержит первый и под величайшим секретом выболтает обо всем «Соне Большой». (В инвентаре областного комитета числится еще «Соня Маленькая».) В ближайший вечер соберется у «поэта Миколы» на 6-й Матросской вся партийная молодежь. Чех — Ма́лек, разумеется, «совсем случайно», притащит несколько банок спирта, и, когда заложат основательную толику (сколько раз Старик убеждал их не пить, но они всегда сваливали на «тяжелую обстановку»), Соня не утерпит:

— Это, ребята, конечно, большой секрет, но... в сопках дела швах... Старик пропал без вести...

И хотя почти ни у кого не остынет желание попеть и повеселиться, несмотря на грустную новость (народ все молодой, а близкие люди гибнут уже не в первый раз), но все будут стыдиться перед собой и перед другими такого скверного чувства, будут пить молча, угрюмо, сосредоточенно, пока с Малеком не сделается припадок. Он грохнется на пол и, разрывая на груди рубашку, начнет кричать:

— Под-дайте мне Массарика — я его з-зарежу!!

А на завтрашний день к вечеру вся организация и все заводы будут знать о тяжелом положении в сопках и о пропаже Старика.

Он представлял все, до мельчайших подробностей, — тесная, плотно набитая людьми каморка на 6-й Матросской вставала перед ним во всей своей неприглядности: душно, накурено, наплевано, налито на столах. У людей потные, возбужденные, пьяные лица. «Там, в городе, — думал Старик, — люди живут нервами и головой, и более слабых тянет к вину, к дурману (он вспомнил, что Малека жена нюхает даже кокаин), чтобы забыть про нервы, про голову, как будто можно в вине и в дурмане найти отдых и забвение...»

— А здесь?.. — неожиданно спросил он вслух. И, оторвавшись от своих мыслей, вопросительно посмотрел вокруг.

Стояла ровная, невозмутимая тишина. Чуть-чуть шипели в огне мокрые валежины, багрово-красные искры рассевал костер. Со всех сторон обступала густая, непроглядная и непролазная темь — непоколебимая темь, как стена. И оттуда, из темноты, тянуло здоровым, крепким и свежим, медвяно-спиртовым запахом хвои, прелого листа, теплой осенней ночи. Осень стояла сухая и пахучая. В той самой тишине, которая несколько часов тому назад, казалось, заглушала всякие проблески жизни, Старик почуял вдруг мощное и плавное дыхание вечно живого тела.

«Какой контраст!.. — подумал он с непонятным ему ощущением тоскливой, щемящей грусти. — Все-таки в городе очень сумбурно, а главное, чувствуется в людях усталость, и это очень опасно для них и для дела. А здесь — покой и первобытная тишина. Она пугала меня весь день. Но здесь свежо и здорово, здесь нет усталости, и, несмотря на осень, несмотря на ночь, — неслышная и незримая для непосвященного, — идет вечная, негасимая жизнь...» Он бросил в огонь хворостинку, и яркая вспышка смолистой хвои обдала его теплом и горьким, щиплющим глаза дымом. «Но ведь в городе не только дурман и усталость? — подумал он, обтирая слезы, невольно выступившие на глазах. — И почему мне вспомнилось именно то, как выпивают ребята, и вся скверная обстановка их частной жизни?.. И что это вообще происходит со мной сегодня?..» Старик не поспевал осмыслить того неясного

процесса, который происходил в его душе, рождая совершенно незнакомые, чуждые его натуре переживания и ощущения. «Там, в городе, тоже идет своя, насыщенная живой человеческой кровью жизнь и борьба. Эта жизнь есть в то же время и моя. И откуда это, — почему это нужно было противопоставить то, что происходит в городе, здешней тишине и покою?.. Нет, не в том дело, что нужно,— как узнать теперь, что нужно и не нужно? — это пришло само, но почему пришло?.. *И это очень опасно для меня»*, — вдруг подумал он, сразу испугавшись новой мысли и заминая ее другими.

Ему представлялось теперь, как известие об его исчезновении попадет на судостроительный завод, где после семилетнего перерыва он снова работал в последнее время, скрываясь от колчаковской контрразведки.

Утром, с опозданием на пять минут, «поэт Микола» прибежит в инструментальную. (Такое опоздание Микола называл «академическим», хотя за него вычитали из получки, как за целый час.) Разумеется, он, как всегда, в засаленной, наполненной стихами робе и в широченных джутовых галифе. (Из этой материи обычно шьют мешки под бобовые орехи.) Из одного кармана торчит у него газета, а из другого вобла, колбаса или что-нибудь в этом роде. Он лихо вытащит из кармана коробку первосортного «Триумфа», долго, с «фасоном», будет стучать по крышке, и, только когда откроет, обнаружится, что в коробке — махорка. Усатый Кунферт, залезая в нее чуть ли не ногами, из вежливости спросит:

— Это у тебя какая? «Казак» или «Золотая рыбка»?..

Но Микола окинет его многозначительным взглядом чудных, огромных глаз и, склонившись к уху, шепнет:

— Старик наш без вести пропал... Вчера у меня ребята были, так сказали. Голову его какой-то чудак оценил в пятьдесят тысяч рублей, — факт!.. Только это большой секрет... понял?.. Усатый черт.

Кунферт, долго не понимая, в чем дело, будет без толку закручивать и снова раскручивать тиски, неизвестно для чего поковыряет ногтем ржавую плашку, вопросительно поплюет по сторонам махорочными крошками. Потом он подымет голову и скажет:

— Микола!.. Ты знаешь, — они продешевили...

Первый же токарь, пришедший сменить резец, или слесарь — за метчиком или плашкой, уйдет посвященным

в тайну самим Миколой, разумеется, с напутствием, «что это большой секрет», и т. д. И к обеденному перерыву о событиях в сопках узнают решительно все, начиная от опутанного огненными змеями сопливого и вихрастого вальцовщика Федьки и кончая угрюмым сталеваром Денисовым. Одни будут радоваться, другие горевать, третьи бояться даже одной той мысли, что им что-то известно о находящемся в немилости у начальства Старике. Но подавляющее большинство примет это известие с угрюмой сосредоточенностью и еще сильнее уйдет в себя, где неустанно, невидимо происходит большая и скрытая коллективная работа. Эти не выскажут никакого суждения, — выслушают и отойдут молча. А потом под урчанье станков, под злобный шелест трансмиссий, под лязг и грохот прокатных станов, под львиный, адовый рык мартена они будут сверлить, строгать, вальцевать, плавить и думать не только о Старике, но о многом-многом другом.

Старик сидел, согнувшись у костра в безнадежной позе, и душа его по-прежнему ныла от непонятного, щемящего, тоскливого чувства, как будто все то, о чем он думал, было и родным, и душевно близким ему, но уже почти невозможным для него, потому невозвратно далеким. Он снова вопросительно посмотрел вокруг, но темь стояла по-прежнему глухая и сытая, несокрушимая, как стена. И небо с неведомо куда ведущим Млечным Путем смотрело нерадушно и молчаливо.

3

Утром Старик поднялся с мучительным ощущением голода. Желание и способность съесть в любой момент все что угодно стало с этой минуты его неотъемлемым свойством. Он беспрерывно жевал кедровые орехи, виноград, виноградные листья, попаренные над огнем грибы, какие-то неведомые корешки — и все-таки не мог насытиться. Порой удавалось подстрелить белку или рябчика — он неумело поджаривал их на угольях и съедал полусырыми, — но проходил небольшой промежуток времени, и снова мучительно, жадно, неутолимо хотелось есть.

Но зато не менее мучительные, противоречивые мысли и настроения совсем покинули его. Если бы он не был так голоден, можно б было сказать, что он сроднился с

новой обстановкой. Вкрадчивые лесные шорохи больше не пугали его. Темнота не казалась страшной, ноздри привычно вбирали пряные таежные запахи. И мысль больше никогда не возвращалась к прошлому, как будто жизнь Старика началась с пробуждения на таежной прогалине, а до этого ничего не было.

Иногда неясные видения прошлого вставали перед ним во сне. То он переживал свой первый арест, то бегство из чехословацкого лагеря. Почему-то особенно часто рождалась в сонном мозгу картина обыска, рыжий длинноусый чех с бородавкой на щеке вынимал из шкафа томики энциклопедии Брокгауза и Ефрона и, обнаружив аккуратно уложенные у стенки трехлинейные патроны, кричал другому:

— Братче, подпоручику!.. Здесь цела купа па́тронов!

Старик нервно вздрагивал во сне, но, просыпаясь утром, не помнил ничего; судорожно ежился от крепкого утреннего холодка, быстро умывался в ключе и тотчас же принимался за поиски пищи.

Ему казалось, что он идет уже очень долго, — он потерял бы счет дням, если бы количество израсходованных спичек не указывало на пройденное время: Старик тратил ежедневно по две — в обед и вечером, — и спичек осталось девять. Он так привык к однообразному ритму ходьбы, что постепенно стал забывать окружающее. На пятый день пути попались старые порубки. Хвоя уступала место лиственяку, кустарник заметно редел. Но Старик не замечал этих перемен, пока смутное, беспокойное ощущение чего-то нового под ногами не заставило его очнуться. Он остановился, окинул тайгу недоумевающим взглядом и, наконец, понял, что уже с полчаса идет по тропе.

Сердце его заколотилось бурно и радостно. Он сорвался с места и почти побежал. С каждым шагом чувствовал прилив свежих, неуемных сил, снова каждая жилка заиграла в нем, и даже мучительные ощущения голода потеряли свою остроту.

Так дошел он до редкой березовой рощицы; стройные стволы берез чернели широкими опоясками ободранной коры. Старик понял, что где-нибудь неподалеку находится дегтярный завод. Пройдя еще с сотню саженей, почуял горький запах кедрового дыма, а через несколько минут стали доноситься ядреные и сочные удары топора по дереву. Крадучись вдоль кустов, он проковылял еще

несколько шагов. В просвете меж деревьев замаячила чья-то голова в коричневой, выжженной солнцем войлочной шляпе. Старик спрятался за деревом и осторожно выглянул.

На вытоптанной, обрамленной березками лужайке стояла под навесом из кедровой коры дегтярная печь с трубой и узеньким деревянным желобком. Она, как видно, не работала. Горький кедровый дым сочился из земляного бугра над смолокурной ямой. Рослый, сутулый и кривоногий мужик с лицом кирпичного цвета, обросшим волнистой светло-русой бородой, степенно и неторопливо рубил кедровое смолье. Веснушчатый курносый парнишка без шапки сидел неподалеку возле шалаша и тоже что-то строгал.

Старик бесшумно вышел на лужайку и, громко крикнув, сказал:

— День добрый!..

Мужик испуганно поднял голову и выронил топор. Парнишка шмыгнул глазами на вновь прибывшего и замер на месте в том положении, как его захватил Старик, — с согнутой рукой и ножиком под недоконченной стружкой.

— Ну, чего испугались? — сказал Старик, стараясь придать голосу хоть оттенок приветствия. Но язык и гортань не повиновались ему, и голос звучал враждебно и глухо.

— Смолу гоните, что ли?.. — продолжал он, чувствуя, что только разговором можно доказать свое человеческое происхождение.

Кирпичное лицо с волнистой бородой вернулось к жизни. Мужик опустился на обрубок; не глядя на Старика, попробовал улыбнуться, махнул безнадежно рукой, снова попробовал улыбнуться и снова махнул и, наконец, тяжело переведя дух, сказал:

— Ф-фу... твою мать!.. Ну, напугал...

Покачал досадливо головой в войлочной шляпе и, все еще не придя в себя, повторил:

— Н-ну, напугал... ей-богу... Вот напугал!..

И, вскинув на Старика маленькие зеленоватые глазки, в которых играли и насмешка — досада на себя, и неприязнь — обида на непрошеного гостя, он хмуро и укоризненно спросил:

— Откедова это тебя, черта патлатого?

Никто не учил Старика, как нужно вести себя в тайге при встрече с незнакомыми людьми, но он усвоил это стихийно, как все, что приходилось делать за четыре с половиной дня таежного пути. Не своим — грубым, хриплым и резким голосом сказал:

— А ты поговори еще немного!.. Где был, там нету...

И откровенная грубость эта к человеку была так же необычной, непрошено новой, как все, что он переживал в эти дни.

— Пожрать давай, — продолжал он, с непонятным удовлетворением наблюдая, как мелкоглазое лицо мужика принимало приниженное и подобострастное выражение. — Четыре дня не жрал, это тебе не деготь гнать!..

Сидя на обрубке дерева, он жадно, по-волчьи, почти не жуя, глотал сало, картошку, соленые огурцы, песочные гречишные лепешки, крепко зажав винчестер между колен и бросая вокруг исподлобья сторожкие, недоверчивые взгляды. Длиннобородый смолокур стоял, растерянно опустив руки, не зная, куда девать свое несуразное тело, и его зеленоватые глаза смотрели ждуще-покорно, как будто так и нужно было, что неизвестно откуда пришедший человек распоряжался его добром, как своим. Было во всей его рослой, но сутулой и обобранной фигуре — в волнистой светло-русой бороде, в грязных полотняных штанах с отвисшей мошонкой — что-то унизительно-жалкое, но Старик не чувствовал этого: ему теперь тоже казалось это естественным.

Только веснушчатый парнишка был чем-то несказанно доволен и смотрел на Старика с нескрываемым любопытством и восхищением. Он долго вертелся вблизи, наконец, осмелев, ткнул пальцем в заржавевший винчестер, спросил неуверенно:

— Дальнобойная?..

— Не тронь! — сказал Старик сурово. — Деревня далеко? — спросил у смолокура.

— Девять верст, — ввернул веснушчатый парнишка. — Ариадной звать...

— Что?

— Деревню звать Ариадна, — пояснил смолокур, наклоняя голову и шпырнув парнишку глазами.

— Отряд какой в деревне стоит или нет?

— Не знаю, давно не был...

— Стоит отряд, я знаю! — снова ввернул парнишка, млея от радости. — Дубова отряд, я знаю... Пятьдесят два пеше, шишнадцать конно!..

Старик расспросил еще о японцах и казаках. О японцах никто ничего не слыхал, а казаки стояли в Ракитном — в двадцати верстах от Ариадны.

— Это пиджак чей, твой? — кивнул вдруг Старик, заметив возле шалаша потрепанный надёван. — Я возьму его...

Он сказал это совершенно спокойно, как будто иначе и не могло быть. На самом деле это тоже было ново: раньше он никогда не взял бы чужого *лично для себя* и притом — насильно. Может показаться, что в подсознании Старика шевельнулось: «Пиджак, мол, нужен мне для поддержания моего существования, а я — человек, нужный для большого, не личного своего дела»?.. Но нет, — он взял пиджак просто для себя, взял потому, что был гол. И — что всего важнее — *он сам знал это*.

Когда напяливал старенький надёван, веснушчатый парнишка отвернулся в сторону, и Старик заметил: на курносом лице играла лукавая и ехидная, относящаяся к смолокуру улыбка.

— Мальчишка — сын твой? — спросил Старик, впервые улыбнувшись сам за четыре дня.

— Нет, нанятый... сирота он...

— Тятьку казаки вбили, — вставил парнишка, сияя васильковыми глазами, — в партизанах был. А мамку изнасилили и тоже вбили...

Старик подарил ему патрон от винчестера и, попрощавшись, заковылял по тропе, все учащая шаги и не оглядываясь.

Он вышел из тайги так же неожиданно, как и вошел. Она раздалась перед ним совсем внезапно, необъятной небесной ширью, неохватным простором убранных полей. Налево, куда хватал глаз, стлались скошенные, не поосеннему жаркие нивы. Далеко, у кудрявой ленты вербняка, загородившей гурливую речонку, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя — веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина, из куржавого облака блесткой половы и пыли вырывались чуть слышные голоса, сыпался мелкий бисер возбужденного

девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты. Через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена бело-розовых облаков — соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко.

Ласковый ветер, пахнущий сеном и скошенной рожью, обнял Старика, закурчавил волосы, защекотал лицо — и необъятное, неизбывное чувство простора охватило его. Никогда еще не испытывал он такой безграничной любви к этой широкой, родящей хлеб долине, к звонкому солнцу, к тихому бездонному небу. Слезы навертывались на глаза, хотелось пасть на землю и крепко, не чувствуя боли, прижаться к жесткой ржаной щетине. И когда он шагал по накатанной дороге, ему казалось, что жизнь впервые разворачивается перед ним, широкая, светлая и радостная, и душа его ликующе пела и об этой неисчерпаемой радости, и о несказанной красоте мира.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

1

В 1920 году по условиям перемирия, заключенного с японским командованием, части Приморской группы отошли на тридцать километров от железной дороги, за нейтральную зону. Второй Вангоуский отдельный батальон отошел в глубокий таежный тыл, в село Ольховку. Батальон должен был построить там зимовья и склады на случай новой партизанской войны.

Наступил август. Давно уже были построены зимовья и склады, а никто не вез ни продовольствия, ни снаряжения. Про батальон точно забыли. В течение месяца бойцы получали по горсти пшена на день.

Решили тогда послать двух отделенных командиров, Федора Майгулу и Трофима Шутку, в ближайшую хлебородную долину — просить помощи.

Федор Майгула и Трофим Шутка были уроженцы южных уссурийских районов, односельчане и одногодки. Они дружили между собой. Это были настоящие парни — рослые, как ясени. Майгула любил помечтать. В свободное время он мог часами лежать на траве и смотреть, как облака плывут по небу, как играет солнце на стволах деревьев, как падают тени утром, в полдень и вечером и меняются краски. А Шутка все хотел знать, что от чего происходит, и любил всякое мастерство, и всякое мастерство спорилось в его быстрых руках. Он был подвижной и веселый, как его фамилия.

Чтобы не заблудились они в окружных болотах, их пошел проводить до правильного ключа местный тигролов и партизан Кондрат Фролович Сердюк — старик ростом с Петра Великого, но куда пошире и бородатый. Русая борода его была поразительной мощности и непомерной длинноты.

К тиграм он относился ласково, но без уважения, называл их не иначе, как «котами». За жизнь свою он не менее тридцати «котов» скрутил живьем, а переколотил их, как сам говорил, «и счету нет». Живых тигров он поставлял торговой фирме Кунста для германских зверинцев, а убитых — китайским купцам на лекарства.

Все тело и лицо Кондрата Фроловича было в шрамах и царапинах, правая рука между локтем и кистью сплошь искромсана тигровыми зубами. Как-то с двумя сыновьями он выследил самку, водившую трех полувзрослых котят. Охотники преследовали зверей недели три, не давая самке поохотиться. Под конец котята вовсе обессилели. Самка, отбиваясь от собак, вертелась вокруг да около по тайге, никак не удавалось ее пристрелить. До сумерек повязали двух котят и хотели третьего, да сгоряча, не разобрав в темноте, Кондрат Фролович вместо котенка налетел на самку. Он наскочил на нее сбоку с веревкой в руках и грудью сшиб старуху со всех четырех лап, — опомнился только тогда, когда ее оскаленная пасть возникла над ним и страшный рев едва не оглушил его. Старику ничего не оставалось, как загнать собственную руку в разверстую перед ним пасть поглубже. Тигрица, стеня и задыхаясь, грызла его руку, а сыновья Кондрата Фроловича, боясь стрелять, чтобы не попасть в отца, по очереди били ее винчестерами по голове, пока не сломали винчестеры. И уж сам старик, изловчившись, с левой руки запустил ей кинжал под сердце.

Вынужденный месяцами молчать в лесу, Кондрат Фролович любил поговорить на людях и всю дорогу занимал Шутку и Майгулу степенным своим разговором.

Разговор начался с того, что Майгула спросил:

— И как это ты, дед, тигров не боишься? Ведь злые!

— А чего мне их бояться, коли я знаю, они больше меня боятся, — сказал старик. — Правда, охотнички наши любят порассказывать: мол, на того кот напал, на того — медведь, да то все не истинно. Самый дикой зверь норо-

вит от человека уйти. Зверь напротив человека идет, уж когда ему деваться некуда. Страшней зверя, как человек, в тайге нет.

Тут Кондрат Фролович от зверей перешел к человечеству, и выяснилось, что о человечестве он самого тяжелого мнения.

— Люди не только зверю, они друг другу страшны, человек сам себе страшен, — говорил старик. — Годов тому двадцать водил я экспедицию — один образованный полковник места наши на карту снимал. Раз он мне говорит: «До чего ты, Кондрат Фролович, простой, как ребенок, у тебя и глаз детский». А я ему говорю: «Что ж глаз, когда в сердце у меня коршун». — «Нет, говорит, человек ты очень благородный, а все оттого, что ты на природе живешь». А я ему говорю: «От природы в нас не может быть благородства. Когда б мы, мужики, над ней господа были, может, и было б в нас от нее благородство, а мы по ней ходим. По будням ворочаем пни до кровавого пота, а в праздники с устатку водку пьем, а к вечеру друг друга режем, — тоска да ненависть в нас от нее, а благородства нет». — «А посмотри, говорит, на гольдов: совсем дикой народ, а живут на природе, как дети, разве нет в них благородства?» — «Благородство в них есть, — это я ему говорю, — да это, говорю, потому, что у них промеж себя братский закон, а природа для них — мачеха, и они ее боятся». Так и не переговорил он меня. Да и правда: плохо, очень плоховато мы живем. И сколько ни бьемся за правильность, а оно все на старое. Землетрясение, что ли, какое на людей напустить? Пущай бы уж всю землю перетрясло. Поди, те, кто живы б остались, по-новому жить начали. От страху, — пояснил старик и, посмотрев на парней серыми своими глазами, улыбнулся.

Так дошли они до ключа и сели под кедром перекусить перед тем, как расстаться. Поели, и вдруг Кондрат Фролович говорит:

— А не завидую я вам, ребята. Страшная ваша путь-дорога. Ведь это какая тайга? Это тайга мертвая. Тут ни птица, ни зверь не водится, и ветр сюда не достигает. Тишь-то какая!

Он снял шапку и прислушался, и глаза у него стали какие-то лешачьи. Майгула и Шутка тоже подняли головы и прислушались. Непролазная чаща, как стена, стояла

перед ними, ни один лист не шевелился — ни дуновения, ни шороха, только ключ слабо звенел. Парни покосились на старика, потом друг на друга и, по молодости лет, рассмеялись.

2

А правда, чаща тут была такая, что солнце редко где пробивало ее. Тысячи лет стояла она так, нерушимая. Не шевелясь, как изваянные, высились кругом папоротники в рост человека. Воздух был душный, влажный. Почва вся состояла из павших от старости гнилых, обомшевших деревьев. Иной раз Майгула и Шутка по пояс проваливались в *труху*.

Они шли и все говорили о том о сем. Вначале они говорили оттого, что вырвались из скучного сидения в Ольховке и им было весело. А потом стали говорить оттого, что страшно было молчать: такая немыслимая стояла кругом тишина.

Ночью они долго сидели у костра, глядя в огонь.

Утром Майгула пошел набрать в котелок воды для чая. Спустился к ключу, только хотел нагнуться — и задрожал. Через ключ перекинулось, в плесени, дерево, а на дереве, свернувшись кольцами, выложив на них круглую плоскую головку, лежал громадный полоз и смотрел на Майгулу. Кольца у полоза были все в изумрудах. В глазах его, застывших на Майгуле, стояли две золотые точки. Все молчало вокруг, только ключ чуть слышно звенел.

Майгула трясущейся рукой зачерпнул воды и пошел к стану, удерживаясь, чтобы не побежать. Подумал было взять винтовку, вернуться и убить полоза, но не смог заставить себя: уж очень страшно было возвращаться к ключу.

Вечером парни неожиданно для себя поссорились. Шутка начал разводить костер, а Майгула сказал, что не надо разводить костра. Он сам не знал, почему ему не хочется, чтобы горел костер. А боялся он костра потому, что ему казалось: как только огонь разгорится, станут они оба на виду, и вся сила тьмы и тишины обрушится на них и задавит их. Но Шутка знал, что в тайге всегда вернее с костром.

И они стали спорить, не замечая сами, что спорят не в голос, а шепотом.

Майгула шипел:

— И так тепло. Завернемся в шинельки, да и уснем.

А Шутка шипел в ответ:

— С огнем надежнее. И чего ты боишься?

Майгула злился, что его обвиняют в трусости, и шипел:

— Это ты, видать, боишься без огня. А и так тепло.

— Вот не знал, что ты эдакий! — сердился Шутка. — А с огнем надежнее.

Костер они все-таки развели, но кашу поели, не глядя друг на друга, и легли не вместе, как в прошлую ночь, по разные стороны костра. Утром встали с опухшими глазами, злые.

Весь день они боялись разговаривать, чтобы не поссориться, и не глядели друг на друга. В этот день они перевалили две больших сопки. А вечером уже и Шутка не стал разжигать костер.

Майгуле хотелось сказать:

— Ага! Стало быть, и ты такой, как я. Небось теперь видишь, что страшно?

Но ему не хотелось признаться в том, что ему самому страшно, да и боялся он, что Шутка из упрямства разожжет костер, и тогда обоим станет еще страшнее.

Они легли по разные стороны лесины, завернувшись в шинели, и всю ночь ворочались без сна, поводя ушами, как звери.

Утром обнаружилось, что Майгула на вчерашней дневной стоянке забыл топорик, и они снова поссорились.

— Не знал я, что ты такой раззява! — злобно говорил Шутка.

Майгула смотрел на него темными от ненависти глазами и говорил:

— Ты ж сумы увязывал... Это ж ты, ты сумы увязывал!

И стали они друг другу вконец отвратительны. Шутке казалось, что Майгула много ест (так что им на дорогу не хватит), и губы у него толстые, противные, и что Майгула ленится и все приходится делать ему, Шутке, — и костер в обед разводить, и котелок мыть, и сумы увязывать. А Майгуле было ясно теперь, что Шутка только прикидывался веселым, а на самом деле был хитрый человек, подлый человек. И Майгула все вспоминал, что семья Шутков слыла на селе за воров.

Они теперь совсем не говорили друг с другом. Ненависть их росла день ото дня, но они боялись сцепиться. Они боялись того, что в ссоре один убьет другого, и тогда оставшийся живым погибнет в этой чаще от тоски и страха. Ночами они ложились порознь и не спали, — кое-как отсыпались днем. Казалось им, идут они уже целый век. И когда однажды к ночи, задыхаясь от усталости, влезли они на знаменитый по крутизне и дикости Бархатный перевал, оба не поверили: открытое звездное небо раскинулось над ними. Дул ветер. Тайга лежала глубоко внизу, в звездном свете.

Едва дождавшись утра, они начали спускаться с перевала. И только спустились к другому ключу, как что-то зафырчало в ольховнике, и оба шарахнулись в стороны, — таким ужасным показался им этот внезапный звук после стольких дней тишины. Это вылетел из кустов табун рябчиков. Шутка и Майгула с недоверием смотрели на этих живых тварей.

Тут тайга стала редеть, и к полудню они вышли в долину, залитую солнцем. Веселая речка преграждала им путь. На той стороне расстилались поля под синим-синим небом. Бабы жали пшеницу.

Парни разделись и кинулись купаться. Они долго барахтались в холодной воде, фыркая и улыбаясь про себя. Потом Шутка *сказал:*

— Выбрались все-таки, а? — и засмеялся.

Они впервые за всю дорогу посмотрели друг другу в глаза и заметили, как оба похудели и пожелтели. Майгуле стало жаль Шутку, — он замигал и отвернулся.

3

В долине, куда вышли Майгула и Шутка, стоял Сучанский полк, и этот полк окружным путем доставил продовольствие Вангоускому батальону.

А потом началась новая партизанская война, и длилась она до 1922 года, пока ни одного вооруженного японца не осталось на нашей земле. В этой войне бились до конца и Шутка, и Майгула, и Кондрат Фролович Сердюк.

Когда война кончилась, Кондрат Фролович вернулся в Ольховку и стал по-прежнему ловить тигров, только уже не для германских, а для советских зверинцев. А Шутка и Майгула пошли учиться.

Прошло еще двенадцать лет.

И Кондрат Фролович, и Шутка, и Майгула начинали свою жизнь как люди незаметные, простые. А теперь все трое стали большими людьми, известными всей стране.

Тигров, которых ловил Кондрат Фролович, можно было видеть в зверинцах и зоологических садах Москвы, Ленинграда, Харькова, Тифлиса. И дети, когда ходили смотреть зверей, уже знали, что вот этот тигр пойман знаменитым уссурийским охотником Кондратом Фроловичем Сердюком, колхозником села Ольховки.

Шутка стал строителем железных дорог. Он строил их и на Урале, и в Казахстане, и на Хибинах, и на Кавказе. По его дорогам ездили люди, многие из которых в жизни не видели железных дорог: вотяки, казахи, карелы, лезгины. И на начальных станциях каждый мог видеть Доску почета, где среди других фамилий значился и Трофим Шутка.

А Майгула научился писать красками картины на полотне. Картины его выставлялись в Москве, в Баку, в Горловке, в Магнитогорске. И всюду говорили, что его картины воспитывают людей в духе новой жизни.

В 1934 году, осенью, Майгула поехал на родину.

Он не узнавал знакомых мест, да и люди стали другими. Вдоль старой Уссурийской дороги на сотни и тысячи километров прокладывались вторые пути. Ночами Майгула, не отрываясь, смотрел в окно, и видел огни тракторов, и слышал урчание, заглушавшее шум поезда, — тракторы подымали зябь.

На станциях было много войск. Бойцы ладно одеты, обуты. Когда поезд долго стоял на станции, Майгула подходил и смотрел, как бойцы учатся. Они учились хорошо. Парень, недавно из деревни, мог разобрать и собрать пулемет и назвать каждую его часть, знал обязанности бойца в бою и был готов к самопожертвованию.

Над огромными пространствами тайги реяли самолеты. Их мощный клекот то и дело врезался в шум поезда, тени самолетов скользили по желтым колхозным полям, по синим водам рек и озер. Самолет стал такой же принадлежностью родного пейзажа, как жаворонок или голубь.

Майгула смотрел на все это влажными глазами и думал: «Вот она, та земля, которую корчевали мой отец, братья, я сам, — земля, смоченная нашим потом, нашими

слезами, нашей кровью. И вот люди стали жить на этой земле хорошо...»

Волнение его достигло предела, когда поезд подошел к той самой станции, от которой отступил когда-то в Ольховку Вангоуский батальон. Майгула выскочил на перрон и вдруг увидел перед собой Трофима Шутку — в синих галифе, с орденом Ленина на груди и в тапочках на босу ногу.

— А, Федя, — сказал Шутка так, как будто они расстались не двенадцать лет назад, а сегодня, — ты куда едешь?

— А ты как здесь? — вскричал Майгула.

Они спрашивали, но не успевали отвечать: целовались и встряхивали друг друга за плечи. Они по-прежнему были здоровые парни, только Шутка начисто облысел, — одни рыжеватые бровки, как кусточки, торчали на его лице, а у Майгулы голова пошла сединой, как у бобра.

Наконец Майгула сказал, что он едет навестить стариков, а Шутка — что он строит здесь новую железную дорогу. Тут Майгуле стало ясно, что ничего не сделается со стариками, ждавшими его двенадцать лет, если они подождут еще несколько дней. И он слез с поезда.

4

Дорога, которую строил Шутка, проходила через ту самую мертвую тайгу, где четырнадцать лет назад Шутка и Майгула хотели и боялись убить друг друга. Она была готова почти до Бархатного перевала, а должна была пройти до самого моря.

Думали ли парни, когда стояли под звездным небом на гребне Бархатного перевала, что одному из них предстоит уничтожить этот перевал начисто? А между тем это было так. Шутка готовился взорвать Бархатный перевал. Он заложил в него двадцать шесть вагонов аммонала — случай, невиданный за все время существования людей на земле. Перевал, знаменитый на весь край, стоял начиненный, как пирог с капустой, и только ждал, когда его съедят. Прибыл даже человек с двумя аппаратами, большим и маленьким, чтобы заснять этот взрыв на кино и потом показывать его всем людям.

Вечером они втроем поехали в закрытой дрезине по дороге, построенной Шуткой, а к утру уже были

в Ольховке: они наметили прихватить с собой Кондрата Фроловича.

В Ольховке как раз шло распределение доходов. По пыльной улице двигался обоз с зерном — пятнадцать подвод, и на каждой по шесть, а то и по семь мешков. Все это зерно заработала семья колхозника Ивана Прутикова.

Позади обоза перед группой колхозников шел оркестр в пять труб. Каждая труба играла по-разному, так что нельзя было идти в ногу. Но на трубах пышно сверкало солнце, на возах полыхали кумачные флаги, и всем было очень весело.

Когда обоз подкатил ко двору Ивана Прутикова, председатель колхоза кинулся отворять ворота, а оркестр заиграл громче — каждая труба по-разному. Семья Прутиковых — шестнадцать душ вместе с детьми — высыпала из избы на двор. Иван Прутиков — мужичок рябенький, как наперсток, выбежал к воротам, остановился и прижал к груди сплющенные кулачки.

Председатель достал бумажку и начал читать, сколько семья Прутикова выработала трудодней и сколько ей причитается хлеба. Но Иван Прутиков не слышал председателя, а все прижимал к груди сплющенные кулачки и спрашивал:

— Это мне? Это все мне?

Он был так испуган своим богатством, что все, даже собственные дети, стали смеяться над ним. Кинооператор, вынув из чехла маленький аппарат, стал наводить его то на обоз, то на оркестр, то на Ивана Прутикова. А Майгула стоял, утирая слезы, и думал о том, как трудно все это передать красками на полотне: в жизни все изменялось, все двигалось вперед, а на полотне все получалось неподвижным.

Они застали Кондрата Фроловича дома. Кондрат Фролович, в очках, сидел за столом и разглядывал детский глобус. Старик повертывал его из стороны в сторону обеими руками, как врач повертывает голову больного, рассматривая больное горло или глаз.

Услышав приветствия, старик снял очки и сказал:

— Гости-то какие!..

Он был еще могуч, только борода его сплошь взялась сединой, и он, чтобы по ночам не пугать детей, укоротил ее почти втрое.

— Видишь, какой он стал благородный! — сказал Шутка, подмигнув Майгуле.

— Теперь я могу быть благородным, — степенно согласился старик и даже не улыбнулся. Потом, ткнув глобус огромным указательным пальцем, он сказал: — Я все гляжу, сколько морей на сей планете. Очень их многовато. Нам подводные лодки надо строить. Побольше подводных лодок... — И он так крутнул глобус, что все великие моря и страны слились в одно пестрое.

К Бархатному перевалу они ехали уже вчетвером. Ехали медленно, — тут рельсы были уложены только начерно.

Конечно, теперь ничего нельзя было узнать от прежнего. Мертвая тайга вдоль всей дороги была порублена, побита взрывами так, что одни щербатые пеньки торчали, как гнилые зубы. Дрезина то углублялась в темное ущелье, то ползла по каменным насыпям такой высоты, что пространства с обеих сторон казались пропастями. Все тот же бежал ключ, но берега его оголились. Там, где его пересекала дорога, прокинулись деревянные мосты. Даже смешно было бы искать то место, где Майгула видел полоза!

Уже стемнело, когда они сошли с дрезины. Они пошли по грязной дороге вдоль неоконченной насыпи. Возле бараков и палаток горели костры. Строители ужинали. Впереди ревел застрявший в грязи грузовик, и фары его ярко светились в ночи.

— Распугали тигров твоих, дед! — сказал Майгула.

— Ничего! Мой век уже кончился, — спокойно отвечал Кондрат Фролович.

5

А наутро погиб Бархатный перевал. Майгула и старый тигролов наблюдали взрыв на расстоянии двух километров, с небольшой сопки, из-за укрытия, откуда видны были и седловина перевала, и вся тайга вокруг в желтых и синих пятнах. На этой же сопке примостился и кинооператор с большим аппаратом на треноге.

Они видели суетню людей на ближних оголенных сопках, слышали голос Шутки, который ругал кого-то на чем свет стоит. Потом суетня прекратилась, люди спрятались, стало очень тихо.

И вдруг вся масса Бархатного перевала стала медленно расти в воздухе, а в том месте, где была седловина перевала, стремительно взнялась к небу тяжелая черная

туча. Вначале туча столбом поднялась вверх, а потом медленно стала раздаваться вширь. И только тогда послышался звук взрыва, и в лицо ударило воздухом, и видны стали отдельные глыбы, летящие в пыли и в дыму.

Звук взрыва не был похож на пушечный выстрел или удар грома — нет, это был глухой, подземный гул, наполнивший собой все пространство вокруг и волнами прошедший под землей так, что Майгула и Кондрат Фролович ощутили его не только ухом, а и всем телом. Вырвавшиеся из тучи камни, как ядра, начали крушить деревья под самой сопкой, за которой прятались Майгула и Кондрат Фролович. Весь воздух наполнился тарахтящими и свистящими звуками, в которых точно слились вместе и конский топот, и стрекот молотилок, и свист каких-то гигантских прутьев. Отдельные камни стали попадать и на их сопку, один с силой врезался в землю, метрах в двух от кинооператора. А тот, весь в поту, в мыле, все крутил и крутил ручку своего аппарата.

Когда все кончилось, в воздухе долго стоял желтовато-серый туман, более густой у самого места взрыва. Потом туман развеялся, и стало видно, что края седловины широко раздались, осели и в самой середине ее зияет глубокий провал, в котором громоздятся развороченные груды камней; за ними проступала дальняя небесная голубизна.

Тайга вокруг бывшего Бархатного перевала была начисто разметена, разнесена в щепки. Вся местность лежала голая, в серой пыли, осыпанная камнями и огрызками стволов. И даже по склону сопки, где укрывались Майгула и Кондрат Фролович, у многих деревьев были срезаны вершины.

Но самое удивительное выяснилось на третий день после взрыва. На строительство приехал степенный седоватый старичок, оказавшийся профессором, заведующим сейсмической станцией. Станция отметила землетрясение в этом районе, и профессор приехал выяснять причины. Он долго не мог поверить, что землю по собственной воле потряс Трофим Шутка, а когда поверил, обрадовался, как ребенок.

Профессору подарили мешок кедровых шишек и вместе с Кондратом Фроловичем отправили домой на дрезине. Старики, подружившись, всю дорогу высовывали из окна седые головы и были так похожи друг на друга, что обоих можно было принять и за мужиков, и за профессоров.

О БЕДНОСТИ И БОГАТСТВЕ

Этой осенью исключили мы из партии Николая Камкова, работника по лесному делу.

Отец его, лесничий Иван Степанович Камков, был в свое время человек богатый, имел большую заимку и дом по соседству с нашим селом Утесным, где теперь колхоз «Красный партизан». Заимку забрали мы у них только в 1922 году, когда закрепилась в нашем крае Советская власть. А самого старика не тронули за то, что в годы войны прятал у себя партизан и славился в крае как ученый лесовод.

Исключили мы Николая Камкова за пьяный дебош в колхозе. Приехал он осенью на побывку к отцу — отец и сейчас лесничествует в наших местах — и как раз попал к празднику распределения доходов. И тут это с ним случилось.

Когда стали разбирать эту его историю, вызвали и нас, выходцев из села Утесного, членов партии, разбросанных по краю. Николку в юности нашей все мы хорошо знали и верили ему, а после гражданской войны потеряли его из виду. А тут мы увидели, что и раньше нельзя было верить ему, и даже удивились, как по тем временам могли мы ошибаться в людях и как такой человек до сих пор продержался в партии.

В прошлое время образование нам было недоступно, и очень пленяло нас, мужицких детей, что сын известного всему краю ученого барина, Николка Камков, водится и дружит с нами.

Как только приедет он на побывку из школы, сейчас ружье за плечи — и к нам. И уж целые недели и месяцы с нами. Вместе и на поле, и по рыбу, и па охоту, и на вечерку, и из одной миски едим, и одежду он носит такую же, как мы.

По праздникам ходили мы иной раз стенка на стенку, — один край у нас был бедняковский, а другой богатенький, — и всегда, помню, Николка Камков был с нашим, с бедняковским. Он и в юности был большой, грузный; брови у него были густые, голос как из трубы. Валит, бывало, всех подряд, пока не соткнется с мельниковым сыном Алексашкой Чикиным. Тот был ловкий, быстрый и глазом и на руку, и чистый зверь. Уж если изловчится ударить, бил в самые страшные места и без пощады. Бились они едва не по часу, потом Камков первый протягивал руку.

— Хватит. Уважаю, — говорил он.

— То-то, барин! — смеялся Алексашка. — Да уж если по чести, я и сам не против.

Был еще у нас такой мужичок, Гурьев Антон, бродячий человек, еще по тем царским временам не признававший ни бога, ни попов. Не было у него никакой скотинки, даже птицы, — изба, чуть прикрытая соломкой, без всяких пристроек и загорожи, стояла одна на самом краю.

Работы он никакой не признавал. «В том одном, — говорил он, — я с господом богом нашим Иисусом Христом согласен», — и целыми месяцами не было его в селе. Работала одна, без кровинки в лице, работала и на чикинских и на камковских землях, жена его, а детишки его — была их тьма — побирались.

Вернется, бывало, Гурьев Антон с бродяжничества своего, ходит по селу чуть не в чем мать родила, голова без шеи, прямо на плечах лежит, тулово короткое, ноги длинные, лицо в рыжих клоках, важное — и все болтает.

— Придет скоро великое поравнение людей. Готовьтесь!

— Какое такое поравнение, Антоша?

— Имущество хозяев земли делить будем поровну.

— Да нешто на всех хватит? Людей на земле, поди, не мене, чем звезд на небе.

— На одежду, на питание хватит, а там будем все жить по-бедняковски, — важно говорил он.

С этим Антошкой Гурьевым больше всего и дружил Николай Камков, частенько у него и ночевал под стрешками на чердаке. Напьются, бывало, оба, сидят, свесив ноги с избы. Антошка невесть что несет, а Камков обнимает его и поет, весь в слезах:

...Россия, нищая Россия,
Мне избы бедные твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви.

А и в самом деле, убогое было село наше! От железной дороги двести верст, кругом тайжища, болота. Месяцами сидели без керосина, без соли. В праздник под вечер идешь с охоты, подойдешь к парому, а за рекой стон стоит над селом, — так много пьяных. Детишки лет по пяти — и то любили играть в пьяниц.

И много было у нас нещадной бедноты в селе Утесном: Блинковы, Комлевы, Анчишкины, — да разве перечислишь нас всех, людей великого труда, горькой и злой жизни. Но была и у нас своя тайная гордость за то, что своими руками проложили мы дорогу сюда, раздвинули эти страшные леса, подняли горькую эту землю, несчетно побили лютого зверя и сохранили совесть и пламя в сердце.

И когда вернулись с германского фронта первые наши солдаты-большевики, поняли мы, что заслуживаем лучшей доли на земле.

В гражданскую войну бо̀льшая часть села нашего пошла в партизаны. Пошли мы все — Блинковы, Комлевы, Анчишкины, — несть нам числа. Пошел и Гурьев Антон. Пошел с нами и Николай Камков. Уже вот сейчас, когда разбиралось дело Камкова, вспомнили мы, старые бойцы, что были у них, у Гурьева да у Камкова, и тогда свои заскоки.

Займем, бывало, усадьбу, мельницу, станцию, Гурьев кричит:

— Попалить все к чертовой матери!

Скажут ему:

— Зачем палить? Это все мы сами сделали, это все наше. Разъясни ему, Николай, раз ты образованный человек при трудовом крестьянстве.

А Камков задумается, говорит:

— А может, он и прав? Зачем нам все это? Я, — гово-

рит, — на себе испытал, что̀ такое богатство и сколь от него вреда на земле.

Гражданская война многих из нас поставила на настоящий путь. Как вспомнишь славных боевых товарищей-друзей, где они, — а уж это все большие работники, знатные люди, люди с образованием. Колхоз мужики ставили уже без нас и бились не хуже, чем мы в гражданской войне. Когда сковырнули Чикиных, долго еще мешали жить их последки. А сколько горя хватили, пока научились честно работать в колхозе на всех и на себя! Ведь столько отравы оставалось еще в душе у каждого от старого времени.

И кто же оказался среди ненавистников колхоза нашего «Красный партизан»? Да Гурьев Антон! Может быть, он к тому времени в хозяйстве оперился и было ему что терять? Нет, все такая же стояла его изба, и работы он по-прежнему никакой не признавал, и сам он остался, как был. Старшие сыновья и дочери от него отложились и ушли в колхоз, а жена его, мытарша, померла, и взял он из неизвестных мест раскулаченную вдову с четырьмя детьми. Борода его, торчащая клоками, как у пса, поседела, и в глазах родилась злость. Целыми днями ходил он из избы в избу и говорил прибаутками:

— Здорово, работнички на Советскую власть! Наработались всласть, а в брюхо нечего класть?

В первые, трудные годы были люди, что слушали его, а потом дела переменились. С тех самых статей, что в старое время всегда были для нас несчастьем, открылось в колхозе новое богатство — липовый мед с непроходимых лесов наших и рис, тяжелый и белый, как сахар, с наших болот. И тут народ повеселел. Как раз совпало так, что кончился постройкой тракт, что связал наше село Утесное с железной дорогой и с морем. И стала черная, мокрая наша земля творить чудеса.

Пропал как-то Антон Гурьев на месяц, вернулся, и все так и ахнули, у нас уже школу-десятилетку построили, а он, бродячий человек, привез с собой попа.

— Раз я в бога уверовал, — говорит, — имею я право церковь распечатать (церковь уже лет восемь стояла заколоченная). А божьего человека привез я вам для совести, чтобы совесть имели. Вот услышите из уст его, какому братству учил нас господь наш Иисус Христос!

Но поп на другой день сбежал. Надул его Гурьев: ска-

зал, что зовет по приглашению верующих, а верующие ответили, что бог — он и так все видит и слышит.

В тридцать четвертом году вышел наш колхоз на третье место в области. И вдруг засияли на весь край имена наших людей. И не то было знаменито, что вновь прославились старые бойцы, а знаменито было то, что новые люди вышли из самой неведомой глуби, из самых безвестных фамилий, ничем не славившихся на селе ни в старое время, ни в годы гражданской войны, ни после.

Дед Максим Дмитриевич Горченко, о котором и в старое-то время не все знали, жив ли он или уже помер, дед, весь век просидевший в своем хозяйстве возле десяти гнилых колодок, вдруг несметно снял меда с колхозного улья и был назначен инспектором над всей пасекой. Агафья Семеновна Блохина, бригадирша, — эту фамилию даже я в старое время не слышал, — дала со своего участка на болоте столько центнеров доброго риса, что по науке это никак не выходило. А надо знать, что перед тем ушла она от мужа, прогульщика и пьяницы, с грудным ребенком. И столько было молока в могучей груди ее, что за год этот выкормила она не только своего, а и ребенка больной соседки.

И много их таких, больших и малых, поднялось у нас на селе в тот год. А там уж пошли расти просто люди-красавцы. Главная красота их в том, что красуются они друг перед другом трудом своим, и думают за всех, и уважают друг друга за труд и ум. И ничего на свете уж не боятся эти люди.

Да и по внешности жизнь стала краше. Стали носить наши девушки башмаки на высоких каблуках. Стали завозить к нам в село костюмы с галстуками, велосипеды, патефоны, радиоаппараты, книги, игрушки для ребят — все то, что не есть главное в жизни, а украшает ее.

Тогда Гурьев Антон запел уже по-другому.

— Ага, разбогатели, — говорит, — колхознички? Забыли про равенство и братство? Люди, — говорит, — должны быть все равны, а вы что делаете? Вы вон в пиджаки позалезли, а я в драных портах хожу!

Скажут ему:

— Кто ж тебе виноват? Иди работай с нами, и воздастся тебе по труду твоему.

А он аж зубами ляскает от злости. Стали смотреть на него, как на блажного.

И вот осенью тридцать пятого года, в год самого лучшего урожая у нас, появился в селе Николай Камков. Давненько его не видели, работал он все годы где-то не в нашем крае. Знали все, что человек он партийный, работает по лесному делу, и обиделись на то, что не остановился он ни у кого из колхозников и даже у отца не стал жить, а влез, по старой памяти, на чердачок к Антону Гурьеву.

Что их связывало — неизвестно, но все дни до праздника ходили они под сильными парами. Камков весь опух, и вид у него был какой-то потерянный.

Председатель колхоза нашего, Петр Федорович Блинков, рослый мужик, хорошей кости и красивый с лица, умный и прямо бешеный в работе — в колхозе его зовут «царь Петр», — встретил их как-то на улице.

— Что ты, — говорит, — Николай Иванович? Али что потерял?

Тот посмотрел на него из-подо лба, говорит:

— Молодость свою ищу, не видал ли?

— Каждый, брат, молод настолько, насколько он себя чувствует, — засмеялся царь Петр. — Я вроде и постарше тебя, а все молодею, а тебя вон в какую дряхлость кинуло!

— Да, я вижу, здорово вы все зажирели тут.

Ответ такой задел нашего царя Петра:

— Как это прикажешь понять?

— А так.. Тоже, поди, патефончик завел?

— А что ж? У покойной мамаши твоей даже фортепьяно водилось, да только нас, мужиков, туда не пускали.

— Слыхал? — спросил Камков у Гурьева.

Тот так и зашелся.

— Они, — говорит, — на этих штучках всю душу свою проиграли!

— Нет, — говорит царь Петр, председатель колхоза нашего, — душа наша беспроигрышная, ей цены нет. А вот у вас вместо души — винный пар, вам бы проспаться.

На колхозный обед пришел Камков без Гурьева, совсем уже пьяный.

Сначала, как полагается, премировали народ и были речи, и очень все волновались. А потом уж народ подъел, подпил, и пошли пляски, и стало весело. Видно, и Камков хватил какой-то лишний стаканчик, тут из него и прорвалось. Встал он над столом, грузный, глаза дикие, волосы, как на медведе, и начал кричать:

— Танцуете?! А Гурьева Антошку в курной избе держите? Бедняцкую совесть свою в курной избе держите!

Сначала было не поняли его, видят — кричит пьяный человек. А потом дед Максим Дмитриев Горченко, что сидел с ним по соседству, обиделся.

— Стыдно, — говорит, — тебе, Николай Иванович, кто же его в курной избе держит? Он сам сидит! А душа у него давным-давно кулацкая, коли не хуже. Какая же бедняцкая душа может быть в дармоеде?

— Ага, дорвались до хлебца! Сыты стали? — ревел Камков.

Царь Петр по горячности своей не выдержал да как закричит на него:

— Ты с чьего голоса поешь? Такие песенки только троцкисты-бандиты поют! Не у них ли научился?! Ты небось хотел бы, чтобы мы всю жизнь голодные сидели? Да чтобы всю жизнь на душе у нас мрак был, а ты тем бы любовался?

Камков к нему драться.

Стали унимать Камкова, а к нему подступиться нельзя.

— Выходи, — кричит, — на одну руку! Зови сюда Алексашку Чикина, стенка на стенку пойдем! Зови его сюда, он по людям соскучился! Он теперь самый неимущий!

Когда он эту фамилию назвал, сразу все притихли: еще как раскулачивали, Алексашка Чикин убил секретаря комсомольской ячейки и бежал, и до сей поры не было о нем ни слуху ни духу.

Пока крутили Камкова, Сергей Максимович Горченко, председатель сельского совета нашего, смекнул послать людей к Гурьеву в избу, и там у него на чердаке обнаружили мертвецки пьяного Алексашку Чикина. Был он весь грязный, в коросте, в ужасной бороде: никакого человеческого облика в нем уже не было.

Когда исключали Николая Камкова, все время мы говорили: вот интересовался человек не нами, людьми, а бедностью нашей, в слезах и стихах воспевал ее. А как стали мы правомочными и полноправными на земле, рухнул весь его интерес, и он нас возненавидел, и сам опустился до зверя.

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу настоящего Собрания сочинений положено первое (посмертное) Собрание сочинений А. А. Фадеева в 5 томах, Гослитиздат, 1959—1961.

В отличие от первого Собрания сочинений настоящее издание пополнено рядом очерков, статей писателя и большим количеством писем.

В первый том включен роман «Разгром» и повести и рассказы 1924—1931 годов, во второй — роман «Последний из удэге», в третий — «Молодая гвардия», в четвертый — очерки, киносценарии, неоконченный роман «Черная металлургия», пятый и шестой тома содержат статьи и речи, заметки о литературе, в седьмом томе — избранные письма.

РАЗГРОМ

Роман А. Фадеева «Разгром» публиковался отдельными главами (за исключением последней) в периодической печати в 1925—1926 годах: в газете «Советский Юг» (1925, 19 июля; 1926, 24 января), в журналах «Октябрь» (1925, №№ 7, 12), «Молодая гвардия» (1926, №№ 7, 12), «Лава» (1925, №№ 2—3, 4; 1926, № 2). — Отдельной книгой впервые выпущен в 1927 году издательством «Прибой» (Ленинград).

Замысел «Разгрома» возник у писателя в самом начале 20-х годов, еще до опубликования повестей «Разлив» и «Против течения». А. Фадеев предполагал написать большой роман из эпохи гражданской войны, в котором должны были получить отображение события, освещенные позднее не только в «Разгроме», но и в «Последнем из удэге». «Тема «Разгрома», — рассказывал А. Фадеев в 1932 году на собрании слушателей литературных кружков Замоскворецкого района Москвы, — была задумана мною гораздо

раньше, чем я приступил к ее осуществлению. Основные наметки этой темы появились в моем сознании еще в 1921—1922 годах, а писать «Разгром» я начал в 1925 году. Темы романов «Разгром» и «Последний из удэге» в тот период (1921—1922) еще очень сильно переплетались в моем представлении: я не думал тогда, что это будут два произведения, а думал писать один роман. В процессе отбора материала я понял, что это два произведения, и сознательно начал работать в обоих направлениях, стараясь оформить главную мысль, идею каждого из них и найти средства для их художественного выражения».

Тогда же Фадеев рассказывал об окончательном оформлении темы «Разгрома» «...Я много работал. Начал писать роман «Последний из удэге», писал отдельные главы из «Разгрома», начал писать повесть, которая не увидела света. Все, что я писал тогда, меня не удовлетворяло. В результате раздумий и работы меня увлекла тема романа «Разгром», который я начал писать в 1925 году уже систематически».

Повесть, о которой упоминает Фадеев, названная им сначала «Трое», а впоследствии — «Таежная болезнь», так и осталась незавершенной. Тему же «Разгрома» первоначально предполагалось развить в повести «Враги», которую автор начал писать в 1924 году (в архиве писателя сохранилось ее начало). Впервые об этом произведении упоминается в печати 10 января 1925 года. Выходившая в Ростове-на-Дону газета «Советский Юг» сообщила, что на заседании Ростовской ассоциации пролетарских писателей А. Фадеев читал начало повести «Враги» — «наиболее значительное из прочитанной за последнее время прозы; как и прежде, отмечены неторопливая толстовская манера в развертывании событий и, что особенно удается т. Фадееву, характеристика его персонажей».

Окончил «Разгром» Фадеев в 1926 году. В письме к матери 27 октября он сообщал: «Пишу тебе из Ярославля, куда приехал... кончать повесть «Разгром». Под этим новым названием произведение и увидело свет, старое название «Враги» стало заголовком одной из глав. Фадеев называл «Разгром» то повестью, то романом, однако по своим жанровым признакам это произведение ближе к роману. Как роман оно и вошло в советскую литературу.

История создания «Разгрома» тесно связана с жизнью и деятельностью автора в годы гражданской войны. Фадеев был активным участником партизанской борьбы в Приморье летом — осенью 1919 года, когда происходили события, описанные в романе. В это время японские интервенты и белоказачьи войска

начали широкое наступление в Приморье. Партизаны были вынуждены из Сучанской долины, а также из-под Имана отступить в глубь тайги. Фадеев сражался в Сучанском отряде Петрова-Тетерина, затем — в районе Молчановка — Монакино — Вангоу, находился в отряде Мелехина и сводном отряде Спасско-Иманского района.

Прототипами главных героев романа были деятели партизанского движения, с которыми Фадеев проделал многокилометровые походы. В очерке «Особый коммунистический», опубликованном в 1938 году (см. т. 4), писатель подробно рассказывал о своем вступлении в партизанский отряд, о его командире Певзнере. «Впоследствии, — писал Фадеев, — образ этого командира много дал мне при изображении командира партизанского отряда Левинсона в повести «Разгром». Однако образы романа — собирательные, обобщенные образы, в них нельзя искать прямого соответствия реально существовавшим историческим лицам. В этом смысле очень характерен эпизод с фамилией Мечика. На Дальнем Востоке знали партизана Тимофея Мечика, честного, самоотверженного бойца, погибшего в 1919 году, и его соратники обратились к Фадееву с просьбой восстановить честь бойца революции, под чьим именем в романе изображен отрицательный персонаж, предатель. В феврале 1956 года в письме к Н. Ильюхову Фадеев объяснил, что произошло случайное совпадение имен. Имя партизана выпало у писателя из памяти, и в то же время он столкнулся в Москве со спекулянтом Мечиком. «Дело было, разумеется, не в спекулянте, когда вдруг я подумал, что фамилию эту можно использовать в рассказе или романе, поскольку она не часто встречается и хорошо запоминается, а о том, что эту фамилию носил мужественный, чистый и доблестный юноша в партизанской войне, я совершенно забыл...» Преждевременная смерть помешала Фадееву выполнить намерение — опубликовать в печати письмо с просьбой «не путать выведенный мною персонаж с действительным Мечиком». Уже после смерти писателя 30 ноября 1957 года такая публикация была сделана в «Литературной газете».

Творческая история романа — пример исключительно взыскательного отношения писателя к своему труду. Фадеев был озабочен тем, чтобы наиболее глубоко раскрыть волнующую его тему, создать яркие образы героев гражданской войны. «Какими основными принципами в работе я руководствовался? Прежде всего, в отличие от вычурности языка первого произведения («Разлив»), я старался писать как можно проще, выражать мысль наиболее ясно... Я много работал над романом, много раз перепи-

сывал отдельные главы. Есть главы, которые я переписывал свыше двадцати раз (например, главы «Пути-дороги» и «Груз»). Главы, переписанной мною менее четырех-пяти раз, в романе нет».

В ходе работы углублялась трактовка основных образов «Разгрома». Метелица был намечен как самая «десятистепенная фигура», а по ходу работы «вдруг выяснилось», что он должен занять в развитии романа очень важное место. Стремясь воплотить в нем черты характера, которых не хватает у Левинсона, А. Фадеев решил более полно разработать образ взводного командира. И это ему вполне удалось, хотя, как он считал, «эпизод с Метелицей в начале третьей части резко выделился, несколько нарушив гармоничность произведения».

Подвергся существенным изменениям и образ Мечика. Работая над «Разгромом», писатель отказался от ноток снисходительного отношения к этому персонажу, которые первоначально проскальзывали в некоторых эпизодах, и заострил социальную характеристику его, как предателя революционного дела.

«...По первоначальному моему замыслу, — говорил Фадеев, — Мечик должен был кончить самоубийством; когда же я начал работать над этим образом, я постепенно убеждался, что кончить самоубийством он не сможет и не должен... Самоубийство придало бы не соответствующий всему его облику какой-то ореол мелкобуржуазного «героизма» или «страдания», на самом же деле он человек мелкий, трусливый, и страдания его чрезвычайно поверхностны, мелки, ничтожны».

«Разгром» имел широкий успех у современного читателя, всего за какой-нибудь год он был выпущен тремя изданиями. На книгу сразу же обратил внимание М. Горький, уже в августе 1927 года в письме из Сорренто он спрашивал Сергеева-Ценского: «Заметили Вы «Разгром» Фадеева? Неплохо». В начале сентября Горький отмечает в другом письме: «Фадеев — определенно серьезный и грамотный писатель, увидите». Имя Фадеева он не раз называет и в последующие годы, считая «Разгром» одним из произведений, которые дали «широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны».

Литературная критика оценила роман как значительное явление советской литературы, подчеркнула полемическую заостренность «Разгрома» против книг, в которых советские люди, коммунисты изображались в виде схематических «кожаных курток». В критических статьях отмечалось стремление автора показать во весь рост положительного героя современности, глубоко раскрыть его духовный мир.

Роман вызвал ожесточенную полемику. Враждебная Фадееву критика пыталась доказать, что героями «Разгрома» управляет не революционный разум, а извечные «подсознательные» начала, что писатель рабски следует философии и эстетике Толстого (А. Воронский), или же выступала против психологически достоверного изображения человека революции, сводя задачу к простому воспроизведению внешних фактов (О. Брик).

Опровергая подобные взгляды, связанные с порочными теориями литературных группировок «Перевал» и «Леф», советская общественность решительно поддержала роман, стремление автора творчески развивать традиции классической литературы. Ю. Либединский, В. Ставский и другие оценили его книгу как «поэму о новом человеке».

В конце 20-х годов рапповские критики стали канонизировать «Разгром», объявляя его эталоном современной литературы. Против этой тенденции выступил сам Фадеев. В речи на шестой губернской конференции Московской ассоциации пролетарских писателей (1927) он, в частности, говорил: «В оценке «Разгрома» наши критики явно переусердствовали. О «Разгроме» пишут, что он чуть ли не «овладевает новыми реалистическими методами творчества», что он («Разгром») чуть ли не открыл «новую эпоху» в пролетарской литературе, и массу таких «хороших» и, конечно, очень приятных для писателя вещей. Но, товарищи, если бы это было так, то незачем было бы писать резолюцию о гегемонии пролетарской литературы, потому что это означало бы, что мы уже завоевали ее. С этой точки зрения мне осталось бы только умереть. Но я умирать не хочу. Поэтому разрешите посмотреть, правильно ли все это сказано?»

После опубликования глав «Разгрома» в журналах и выхода книги отдельным изданием автор не прекращал работу над текстом романа. Довольно значительные исправления вносятся в текст изданий 1928, 1932, 1936, 1937, 1940, 1947, 1949 и 1951 годов. Фадеев отказался от первоначального деления романа на три части, объединил в одну главу «Мужики» и «Угольное племя», сделал около двухсот частных исправлений, сокращений, изменений.

В результате тщательной, скрупулезной авторской работы над текстом «Разгрома» — от издания к изданию — повышалось идейно-художественное звучание романа, уточнялись, углублялись и обогащались характеристики действующих лиц, устранялись языковые погрешности и излишества.

«Разгром» выдержал у нас в стране несколько десятков изданий и переведен на многие языки мира.

Роман был неоднократно инсценирован. Одна из первых театральных постановок была осуществлена в 1932 году на сцене Малого театра.

По мотивам «Разгрома» в 1930 году был снят одноименный кинофильм (немой вариант). В 1958 году молодые сценаристы и режиссеры — студенты ВГИКа осуществили по роману А. Фадеева новую постановку фильма, на этот раз звукового, под названием «Юность наших отцов».

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

РАЗЛИВ

Повесть написана в 1922—1923 годах, когда А. Фадеев учился в Горной академии. Опубликована в 1924 году в альманахе «Молодогвардейцы».

Спустя тридцать лет А. Фадеев вспоминал: «Добрые руки — тогда это были руки писателей Либединского и Сейфуллиной — извлекли рукопись молодого автора из «потока», в котором она влачилась в течение года. И с той поры и до наших дней я храню особенную благодарность к писателям, творчество которых и прямые критические высказывания о всей моей литературной работе оказали наибольшее влияние на мое развитие как художника, — к Либединскому, Сейфуллиной, Всеволоду Иванову, Леонову, Федину, Шолохову, В. Катаеву».

«Разлив» был первым большим художественным произведением А. Фадеева, появившимся в печати. Писать же он начал очень рано: по свидетельству его сестры Т. А. Фадеевой, одиннадцатилетний Фадеев уже пробовал писать рассказы и повести. Он посещал школьный литературный кружок, сотрудничал в рукописных ученических журналах, помещая в них стихи и рассказы. В архиве писателя сохранилось начало рассказа «К свету» — о крестьянском мальчике-подростке, родные которого не понимали его стремления учиться. Рассказ был написан Фадеевым весной 1918 года.

В конце 1917 — начале 1918 года, учась в седьмом классе Владивостокского коммерческого училища, А. Фадеев сотрудничал в газете «Трибуна молодежи». 12 апреля 1918 года в «Красном знамени» — органе Приморского областного комитета коммунистической партии — была опубликована статья Фадеева «Интеллигенция и пролетариат». Статья подписана псевдонимом Булыга Курцевич (по-видимому, в ее написании участвовал Игорь Сибирцев). Приветствуя коллектив редакции газеты «Красное

знамя» в день ее тридцатилетия, А. Фадеев в телеграмме, посланной им в начале мая 1947 года, писал: «Правдивый голос газеты «Красное знамя» зазвучал в Приморье еще до победы Октябрьской Социалистической революции. Газета сыграла немалую роль в мобилизации трудящихся на борьбу за пятилетки в условиях Дальнего Востока. Желаю ей лучших успехов в деле воспитания и организации советских людей на строительство коммунизма.

Примите еще раз сердечный привет от литератора, впервые выступившего на страницах вашей газеты в 1917 году» («Красное знамя» (г. Владивосток) от 6 мая 1947 г. № 105 (8744).

Фадеев печатался также в газете «Вестник учащихся», издаваемой Центральным Комитетом союза учащихся г. Владивостока. Газета «Крестьянин и рабочий», сообщая 29 мая 1918 года о возобновлении выхода «Вестника учащихся», называет фамилии активно сотрудничающей в газете молодежи, в том числе Фадеева. В этой газете была опубликована его сатирическая повесть «Апачи и Команчи». Так в романах Ф. Купера назывались два индейских племени, враждовавших между собой. В повести действовали не индейцы, а ученики, которые вели борьбу против реакционных педагогов, сторонников свергнутого буржуазного режима и монархии. Повесть во многом автобиографична, в ней отразились события происшедшей весной 1918 года забастовки учащихся, в которой участвовал и Фадеев.

Находясь при штабе объединенных партизанских отрядов Приморья, Фадеев летом 1919 года сотрудничал в газете «Вестник партизана», размножавшейся на гектографе или машинописным способом, а в отряде И. М. Певзнера (куда Фадеев вступил осенью 1919 г.) он и его двоюродный брат Игорь Сибирцев издавали рукописную юмористическую газету.

«Как писатель, своим рождением я обязан этому времени, — отмечал Фадеев, вспоминая о годах гражданской войны. — Я познал лучшие стороны народа, из которого вышел. В течение трех лет вместе с ним я прошел тысячи километров дорог, спал под одной шинелью и ел из одного солдатского котелка.

Я впервые познал, что за люди идут во главе народа.

...Я понял значение партии для судьбы народа и горжусь, что был принят в ее среду».

Теме гражданской войны, роли партии в строительстве новой жизни посвящены первые художественные произведения Фадеева. В «Разливе» повествуется о жизни дальневосточной деревни в период между Февральской и Октябрьской революциями, воспроизведены характерные особенности классовой борьбы той

поры. Большевистская сознательность и организованность побеждают не только в борьбе против классово-враждебных сил, но и в борьбе против разбушевавшихся стихий природы. Героями повести Фадеева являются реальные люди — его земляки. Он даже сохранил их подлинные фамилии: Кирилл Неретин с тремя сыновьями, Харитон Кислый, Антон Горовой, Копай и другие — все это или чугуевские жители, или обитатели соседних деревень, которых до сих пор помнят местные старожилы; в Чугуевке и сейчас живут родственники и потомки Неретина и Кислого, а Продай-Вода, упоминаемый в повести, действительно был инструктором Приморского областного комитета партии.

Конечно, в своей повести Фадеев не копировал действительность, как художник он творчески обогащал и дополнял увиденное.

Повесть молодого автора вызвала разноречивые отклики. Одним из первых выступил в печати Ю. Либединский, который дал этому произведению высокую оценку: «Если бы в природе существовал только «Разлив» Фадеева, — писал он, — мы бы исключительно на основании его утверждали начинающийся расцвет пролетарской литературы» (Ю. Либединский, Художник-большевик, «Октябрь», 1924, № 4, стр. 164).

Позднее Ю. Либединский пояснил, почему его так увлекла и взволновала эта повесть: «Я работал тогда в редакции журнала «Молодая гвардия», два раза в неделю ездил на поезде в Москву (из Кунцева. — *Б. Б.*) и каждый раз привозил кипу рукописей, чтобы читать их дома... взялся я за чтение одной из них. Это была рукопись в буквальном смысле слова — не напечатанная на машинке, а написанная от руки очень аккуратно и старательно, разборчиво и грамотно. Называлась она «Разлив».

...Читая, я все поглядывал в окно, обтекающее дождевыми каплями, видел там кунцевскую, довольно чахленькую, дачную природу. А рукопись рисовала природу необыкновенную — с высоченными кедрами, горами-сопками, долинами-падями и буйной рекой, сокрушительный разлив которой описывался в этой маленькой повести. И люди, о которых рассказывал автор, были под стать природе: сильные и смелые, страстные и правдивые... Конечно, я и тогда заметил некоторые недостатки композиции, стилистические погрешности, но все это покрывалось общим ощущением свежести и силы юного своеобразного таланта.

...В этой повести радовало все — и то, что новый писатель еще молод, и то, что он близок к народной жизни и советской современности» (Ю. Либединский, Современники. Воспоминания, М. 1961, стр. 212 — 213).

Многие критики, выступавшие в эти же годы, уже не находили в повести тех достоинств, которые отметил в своей статье Ю. Либединский. Они утверждали, что в повести нет ясной идеи, что дальневосточная экзотика, таежные люди с их первобытной силой и дикими инстинктами заслонили собою социальные отношения, что Фадеев прославляет стихийность, «отдал дань областничеству», что образы повести схематичны, а композиция слаба, и т. д.

До 1931 года включительно А. Фадеев неоднократно издавал эту повесть наряду с другими своими произведениями, внося в нее небольшие поправки. Так, в 1929 году он снял некоторые вульгаризмы, натуралистические описания, ненужные повторы, неудачные обороты (например, «Синие глаза его испепеляли лиц-кую ночную полутьму» и т. п.).

В дальнейшем Фадеев отказался переиздавать повесть и, выступая в 1932 году на собрании литературных кружков Замоскворецкого района, резко отозвался о «Разливе», как о произведении «с неясной мыслью», «рыхлом», «неряшливом» и «написанном дурным языком».

В послевоенные годы «Разлив» был оценен более объективно в работах В. Щербины, К. Зелинского, Д. Романенко и других. Литературовед А. Бушмин писал: «Повесть свидетельствовала об одаренности автора и вместе с тем о его литературной неопытности. Появившись в начальный период советской прозы, она отразила в своем стиле разного рода увлечения писателей той поры. Показав заметную самостоятельность в идейной трактовке темы, начинающий писатель в первом своем произведении еще не выявил собственной художественной индивидуальности» (А. Бушмин, Роман А. Фадеева «Разгром», Л. 1954, стр. 14).

РОЖДЕНИЕ АМГУНЬСКОГО ПОЛКА

Рассказ написан в мае — октябре 1923 года. Опубликован в том же году под названием «Против течения» в девятой-десятой книжке журнала «Молодая гвардия». Посвящен памяти Игоря Сибирцева, который командовал описываемой в рассказе экспедицией по переброске военных грузов и промышленного оборудования из Приморья за Амур. Игорь Сибирцев «был мой первый партизанский воспитатель и учитель, и я очень любил его, так же как и его старшего брата Всеволода», — писал А. Фадеев в очерке «Сергей Лазо».

«В 1920 году, — вспоминал Фадеев позднее, — в мае, когда наши части были отрезаны японцами, сидевшими в Хабаровске

и Спасске, на участке между этими городами я совершил вместе с двоюродным братом Игорем два или три рейса по Уссури на пароходике с баржою, описанными мною в рассказе «Против течения».

...Рейсы по Уссури в 1920 году — одно из самых счастливых воспоминаний моей юности. Мне было восемнадцать лет. Я поправлялся после ранения, полученного мною под Спасском, еще хромал, но уже было ясно, что все будет хорошо. Все время стояла ясная солнечная погода, мы много ловили рыбы неводом, и я — по немощности — бывал за повара. В жизни не едал такой жирной налимьей и сомовой ухи! Постоянное напряжение опасности, наши — иногда кровопролитные — схватки с дезертирами из армии, не раз пытавшимися овладеть пароходом, чтобы удрать за Амур, — все это только бодрило душу».

Рассказ «Против течения» был оценен критикой более высоко, чем повесть «Разлив». Отмечалось возросшее мастерство писателя в изображении характеров, в построении сюжета, композиции, в использовании художественных деталей. Ясно была выражена основная идея рассказа: победа революционной сознательности и дисциплины над разгулом анархии и стихии.

В то же время критики указывали не незавершенность произведения, на то, что читатель оставался в неведении о дальнейшей судьбе Амгуньского полка.

В 1934 году Фадеев переработал рассказ, дописав главу, в которой дается завершение не оконченной в прежних редакциях сюжетной линии: Челноков — Амгуньский полк. В новой редакции обманутые анархистами люди осознают свою вину перед революцией, и бывший Семенчуковский отряд, снова ставший 22-м Амгуньским полком, выступает на фронт.

Фадеев устранил также из рассказа отдельные вульгаризмы, неточные выражения и неудачные обороты.

Переработанный автором рассказ вышел в 1934 году в Детгизе под названием «Амгуньский полк». В книге А. Фадеева «Партизанские рассказы» (изд-во «Советский писатель», 1938) рассказ напечатан под названием «Рождение Амгуньского полка».

ОДИН В ЧАЩЕ

Глава из неоконченной повести «Таежная болезнь» впервые опубликована после смерти автора в десятой книжке журнала «Юность» в 1956 году.

Над повестью «Таежная болезнь» А. Фадеев работал в 1924—1925 годах в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Повесть предшество-

вала роману «Разгром», была близка ему по своему содержанию и стилю. Это подтверждается сходством ситуаций (переход партизанского отряда из Шибишей в долину Тудо-Ваки, переправа через трясину под огнем врага, эпизод с лошадью Мечика, утонувшей в трясине, и т. д.), наличием в повести тех же персонажей, что и в «Разгроме» (Дубов, Мечик). Описание деревни в долине Тудо-Ваки, куда вышел отряд Левинсона после ожесточенных боев с белоказаками, полностью перенесено в «Разгром» из «Таежной болезни».

В настоящее Собрание сочинений включена только первая, законченная, глава. В незаконченной второй главе рассказывается о том, как партизанский отряд Дубова, переправившись через удэгинское болото, с боями прорвался к деревне Ариадна. Но и здесь отряд подстерегают опасности. В соседних селах появляются казаки.

На этом текст рукописи обрывается.

Судя по сохранившимся фрагментам, Фадеев предполагал приход Старика — героя главы «Один в чаще» — в Ариадну именно в этот момент.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Рассказ написан в Приморье в 1934 году, опубликован в газете «Правда» 19 декабря 1934 года и в журнале «На рубеже», Хабаровск, 1934, № 4—5.

С Дальнего Востока Фадеев уехал в 1921 году; его романы и повести, посвященные героической борьбе за Советскую власть в Приморье, были написаны им вдали от родного края.

Опубликовав первые части романа «Последний из удэге», писатель вскоре почувствовал, что для дальнейшей работы ему нужно снова окунуться в жизнь Дальневосточного края.

«Оглядываясь на двенадцать лет своей литературной работы, я убедился, что мною сделано мало, — писал А. Фадеев, — что — как это ни странно звучит, — когда я был на партийной работе, оставалось для писательской работы больше времени, чем в Москве. Придя к убеждению о необходимости переменить обстановку, я решил уехать на Дальний Восток... Здесь живые люди — герои моего романа, колхозники, партизаны, которые мне известны, судьбу которых я могу проследить».

Эта поездка на родину особенно была необходима писателю еще и потому, что в шестой части романа «Последний из удэге» он решил «дать картину этой же местности, тех же людей спустя десять — пятнадцать лет после гражданской войны, чтобы пока-

зать, как выросли люди за этот промежуток времени» (Мой литературный опыт — начинающему автору).

В конце августа 1933 года писатель выехал из Москвы на Дальний Восток вместе с киноэкспедицией режиссера А. Довженко, маршрут которой проходил по приморской тайге, по местам былых партизанских боев.

В январе 1934 года А. Фадеев возвратился в Москву, а в сентябре 1934 года вместе с писателями П. Павленко, Р. Фраерманом и венгерским поэтом А. Гидаш опять выехал на Дальний Восток, где прожил до 19 августа 1935 года. Рассказ «Землетрясение» был написан им во время этой второй поездки.

«Пишу тебе из санатория РККА на 19-й версте под Владивостоком, где обосновался на некоторый срок, чтобы писать роман и написать два-три рассказа для «Правды», — сообщал Фадеев 3 ноября 1934 года в письме матери — А. В. Фадеевой.

В рассказах «Землетрясение» и «О бедности и богатстве» показаны бывшие участники гражданской войны в годы мирного труда. Эти рассказы, как указывали исследователи творчества А. Фадеева, являются своеобразными «эскизами» к задуманной писателем шестой части романа «Последний из удэге». Они имеют значение первых набросков темы социалистического преобразования жизни. В них ярко проявилась любовь Фадеева к Дальнему Востоку, которая, по словам писателя Вл. Лидина, «относилась к того рода первой любви, которая, по слову поэта, никогда не ржавеет... Самый воздух Дальнего Востока, его природа, широта его людей, дыхание уссурийской тайги, великолепные по размаху и красоте ландшафты — все это глубоко лежало в душе Фадеева» (Вл. Лидин, «Люди и встречи», М. 1965, стр. 58).

В основу рассказа «Землетрясение» легли подлинные факты — строительство в 30-х годах железной дороги в Приморье, на Сучане, через тайгу и горы.

О БЕДНОСТИ И БОГАТСТВЕ

Рассказ впервые опубликован в газете «Правда» 30 декабря 1936 года. Он написан после посещения А. Фадеевым деревень Улахинской долины (в которой расположено и его родное село — Чугуевка) во время путешествия по Приморью с А. Довженко.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Александрович

ФАДЕЕВ

Собрание сочинений, т. 1

Редактор *В. Волина*

Художественный редактор *С. Данилов*

Технический редактор *Ф. Артемьева*

Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 4/III 1969 г. Подписано к печати 31/VII 1969 г. Бумага типографская № 1, 84×$\times108^1/_{32}$. 11 печ. л. 18,48 усл. печ. л. 19,156 уч.-изд. л. +1 вкл, = 19,206 л. Тираж 100 000. Заказ № 92. Цена 1 р. 25 к.

Издательство «Художественная литература» Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Измайловский проспект, 29.

1р. 25 к.